

УСТРАНЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО



Новое
Литературное
Обозрение

аркадий
драгомощенко

УСТРАНЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО

НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА 2013

ББК 84(2Рос=Рус)6-44
УДК 821.161.1-3
Д72

- Драгомощенко, А.**
Д72 Устранение неизвестного / Аркадий Драгомощенко; вступ. статья А. Скидана. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 416 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0108-6

В том избранной прозы Аркадия Драгомощенко (1946–2012) вошли романы «Фосфор» (1991, авторская редакция 2000-х) и «Китайское солнце» (1997), а также рассказы, или, по определению самого автора, «пьесы» начала 1990-х годов. Письмо А. Драгомощенко принципиально не принимает традиционное разделение на прозу и поэзию. Но это не лирическая «проза поэта». Драгомощенко исповедует контрпрустинианский, контрнабоковский тип письма, отвергающего концепцию литературы как спасения через память. Он поэтизирует теорию и одновременно теоретизирует поэзию. Этим двойным жестом, раздвигающим рамки конвенциональных представлений о прозе, отмечены все тексты, включенные в настоящий том.

А. Драгомощенко — первый лауреат Премии Андрея Белого в области прозы (1978), Международной литературной премии «The Franc-tireur Silver Bullet» (2009).

ББК 84(2Рос=Рус)6-44
УДК 821.161.1-3

© Наследники, 2013
© А. Скидан, вступ. статья, 2013
© Оформление. ООО «Новое литературное обозрение», 2013

Отступление к истокам высказывания

Письмо Аркадия Драгомощенко (1946—2012) отличается тем, что принципиально отвергает традиционное разделение на прозу и поэзию, сохраняя, да и то не всегда, лишь визуальную, графическую разницу между ними — способ записи. Возьмем, например, отрывок из романа «Расположение среди домов и деревьев» (Премия Андрея Белого за 1978 год в номинации «Проза», вместе с Виктором Кривулиным и Борисом Гройсом в номинациях, соответственно, «Поэзия» и «Критика»): «Игла невидима. Она прекрасна. Остывает, будучи совсем ледяной, становится совсем холодной, умирает игла, тускнеет, и нет ее. Дыши. Вечер, разрушенный солнцем, небо, кто-то»¹. Эти строки легко представить записанными в столбик или лесенкой. И наоборот, начиная с поэмы «Ужин с приветливыми богами», опубликованной в первом номере «Митиного журнала» (1985), Драгомощенко вводит в стихотворную ткань обширные прозаические куски, образующие с «основным» текстом своего рода симбиоз, обволакива-

¹ Напечатан в приложении к самиздатскому журналу «Часы» (1978). Позднее автор переименовал его в «Расположение в домах и деревьях» и, после нескольких попыток переписывания, отказался от републикации в полном виде, но использовал отдельные куски в «Китайском солнце» (1997) и книге «Безразличия» (2007). Здесь цитируется по изданию: *Драгомощенко А.* Расположение в домах и деревьях // Премия Андрея Белого: 1978—2004: Антология / Сост. Б. Останин. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 36.

ющие его коконом метаязыка (комментария), в то же время оставаясь самоценным фрагментом, дополнительно проблематизирующим статус поэтического/прозаического высказывания. Отметим, что этот жест неразрывно связан с вопросом о пишущем «я», о субъекте; так, эпиграфом к «Ужину с приветливыми богами» стоят слова Ролана Барта: «Я, которое приступает к тексту, само представляет собой множество других текстов из бесконечных ходов, чье начало теряется».

И все же, дабы не потеряться окончательно, сохраним классическое разграничение, будем говорить о прозе (в конце концов, в этом томе собрана именно проза, сколь угодно нетрадиционная). Но и тут нас поджидают трудности, связанные, прежде всего, с тем, что это и не беллетристика, и не лирическая «проза поэта» в том смысле, в каком мы привыкли говорить о прозе Цветаевой, Пастернака, Мандельштама (хотя с последним у Драгомощенко есть точки пересечения — его память также «враждебна всему личному» и «работает над ostraneniem прошлого»). Назвать эту прозу «экспериментальной» или «философской» тоже было бы натяжкой, при том что отдельные элементы того и другого типа письма в ней определенно присутствуют: нарративные элементы сведены к минимуму, персонажи либо отсутствуют, либо выступают в качестве откровенной литературной условности, грань между fiction и non-fiction демонстративно размыта, предмет повествования — как и место, откуда оно ведется, — едва уловим, жанровые границы неустойчивы и подвижны. Так, «Фосфор» — это поэтологический трактат с автобиографическими отступлениями и вкраплениями «романа в письмах», по которым можно реконструировать куски (они «фосфорицируют») «нормального» исторического романа о князе Джезуальдо да Веноза, великом композиторе и убийце (неожиданно возвратившись с охоты во дворец в Неаполе, он застал свою жену и ее любовника, Фабрицио Карафу, герцога Андрии, в постели — и заколол обоих: «Все раны княгини находились в области живота, особенно в тех местах, которым более всего должно было блюсти непосредственно верность и чистоту»). Однако в последний момент автор отказывается от выигрышного, захватывающего сюжета, вариации на тему «гений и злодейство», и именно этот отказ, о котором читатель узнает только в конце, подспудно организует фрагментарную, попятно-ячеистую структуру текста.

Некоторые критики (Анатолий Барзах, Михаил Ямпольский) обратили внимание на характерную черту — предложения у Драгомощенко, и в прозе и в поэзии, строятся таким образом, что их почти невозможно запомнить: или их синтаксис настолько запутан, что к концу теряешь нить и забываешь начало, или модальность следующего «смыкает» предыдущее. Я бы развил это наблюдение. С конца 1970-х Драгомощенко разрабатывает контрпрустинианскую, контрнабоковскую стратегию, подрывающую концепцию литературы как спасения через память и направленную против метафизики присутствия. В эссе с красноречивым названием «Эротизм за-бывания» он писал: «...в русском языке “запамятовать” — означает выйти за память, за ее пределы, следовательно, за границы “я” то есть, “Я”, “имени”, “само-собственности”. Но что же может располагаться там, “за”? Только ли “отсутствие определенности”? Длительности? Связности? Всего того, из чего привычно складывается мир в пропозициях и модальностях? Просто “отсутствие”? Или же — поставим вопрос по-иному, — что происходит в самом акте “забывания”? Не указывает ли сам язык в своем этимологическом свечении, что за-бывание буквально есть трансгрессия, то есть преступление забывания, трата резерва, а иначе, бывшего бытия как *отглагольного сущестительного*, иначе — вдвойне остановленного настоящего?»¹ Отсюда и парадоксальное определение поэтической речи как преступления собственных границ, как (само)стирания.

Другой основополагающий принцип поэтики Драгомощенко, распространяющийся и на его прозу, — паратаксис, или бессоюзие. Смысловые отношения при таком способе связи предложений (без участия союзов) «остаются невыраженными, поскольку формирующие их факторы (самая последовательность предложений, их строение, морфолого-синтаксические признаки), как в отдельности, так и в комплексах друг с другом, в большинстве своем полисемантичны, т.е. не закреплены за строго определенными видами отношений и недостаточно регулярны... В системе синтаксических связей Б. противостоит подчинению как имплицитная связь эксплицитной, тогда как по отношению к сочинению Б. “симультанно”, т.е. совмещено с ним...»². Пара-

¹ Драгомощенко А. Фосфор. СПб.: Северо-Запад, 1994. С. 156.

² Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 74 (статья «Бессоюзие»).

таксис подразумевает стремительные, не мотивированные сюжетом или психологией «персонажей» переходы от одного восприятия к другому, броски мысли на огромное расстояние, любые отступления, в том числе — к истокам высказывания. Из «Китайского солнца»: «Каждое высказывание не имеет причины, так как оно возникает, не имея никаких предпосылок, а главное, никакого будущего, оно появляется, будто перечеркивая привычный уклад временного распределения, идя рядом, а иногда порознь, но подчас с ним сливаясь, что создает качественную иллюзию намерения высказаться, иллюзию предмета высказывания, его объективности, постепенно заражающую хаотическое (но имеющее собственную несомненную логику) мерцание реального вирусом надежды на то, что говорящий, пишущий не случаен по отношению к отражающим друг друга знакам, в жизнь которых он вовлечен собственным намерением перемнить их “состояние”; более того, он производит их, как, в свою очередь, производит история его, исходя из представлений, предшествующих первым его движениям пишущего животного, не подозревающего, что в акте мнимого высказывания происходит упразднение его же самого, уповающего если не на утверждение себя, то хотя бы на косвенное свидетельство своего присутствия. Чашка кофе, туман, стоящий за окном, сухая трава в цветочном ящике на балконе».

По этой цитате хорошо видно, как происходит теоретизация поэтического и — одновременно — поэтизация теории. Этим двойным жестом, раздвигающим рамки конвенциональных представлений о прозе, отмечены все тексты, включенные в настоящий том. Они еще ждут своего вдумчивого исследователя (и, разумеется, заинтересованного читателя).

Два слова о текстологии. За основу взяты выправленные самим автором компьютерные файлы, любезно предоставленные Зинаидой Драгомощенко. Они несколько отличаются от публиковавшихся ранее — Аркадий постоянно что-то менял, переставлял, изымал отдельные фразы и даже целые куски, подчас используя их в других (новых) вещах. Так, в романе «Фосфор», по сравнению с изданием 1994 года, в новой авторской редакции отсутствуют стихи (правда, некоторые строки вплетены в прозаическую ткань). В том же издании 1994 года все тексты печатались по компьютерному макету, без абзацев и красных строк;

однако позднее, при публикации «Китайского солнца» (1997) и сборника «Безразличия» (2007), в котором перепечатаны некоторые «пьесы» начала 1990-х, Аркадий вернулся к эдиционным нормам — мы следуем здесь его воле (единственное исключение сделано для романа «Фосфор», структура которого, на наш взгляд, требует именно такой — жесткой — разбивки).

Александр Скидан

Китайское солнце

Нередко, даже находясь в воде,
они не выпускают из рук
музыкального инструмента.

Джан Франческо Браччолини

I see the Error screens that come up every
once in a while
to be flash backs to the love.

David Hendler

Узор травы определяет контуры «будущих костров». Возникает «вопрос» (и точно так же исчезает. Вина не доказана) — знаем ли мы то, что мы знаем, либо что «узор травм определяет узор будущего». Были также и другие. “ ”, блуждающих глаз эха, обращенных к истоку и устью, истечению темных спиралей, сворачивающихся в массивы ускользающего узнавания. Воспоминание — прямая речь, возведенная в степень незавершаемой косвенности. В ту пору я жил беспечно и рассеянно. Кого только не спрашивали, никто толком и не сказал, из чего состоит грязь. Мы слагались из зеркальных брызг, проточной воды, глиняного ила и тяжелых ночных слов (мы — это ты), на сферических поверхностях которых медленно, подобно тому, как идет августовский ветер по садам, выступал кристаллический пот вереницы лун. Счет дням велся посредством яблок. Но видели при этом, как они портятся, жухнут, гниют, исчезают, бросая тень сомнения на числа, безмолвно вращавшиеся вслед за ними вокруг своей оси, подобно утренним серебряным книгам, любовно исклеванным кочетами, источавшим жаркий дух предчувствия и неисполнимости. Жернова невообразимого. На этот счет существовало множество точек зрения. Каждый кристалл заключал в себе следующий, вмещающий в себя предыдущий.

Карусель проносила мимо наблюдателя различные предметы, и цель состояла в том, чтобы угадать их назначение. Одна из точек зрения рассматривала грязь как условную риторическую фигуру, необходимую для некоторых расчетов (во многом остающихся и по сию пору неясными) коэффициента горения льда в нижних областях ада; тогда мы были уверены в том, что лед — это белый уголь. Точности не избежать. Жара пришла в город, как в ненастную ночь ребенок к порогу — взгляните на его зубы, говорят одни. Вы только посмотрите! — что напоминают вам они, что? Укусы снега? Укуса? Цветными шелками неба, перьев и горящих растений затканы зеркала затонов. Голоса других были не слышны из-за воздуха, несущегося по лабиринтам слуха. Смерч и хруст. Хруст первого листа под ногами в июле расстилал карту путешествия, из которого возвращались не те, кто в него уходил. Я намеренно, невзирая на дым, которым тянет от тлеющих болот, отмечаю границы повествования конкретными датами (60-е, 80-е, 90-е; при желании можно продолжить в дальнейшее, оттеснив условное настоящее нескончаемым сослаиванием будущего, устремленного в отрицание еще более разреженным будущим), затем, чтобы не придавать событиям, о которых пишется, характер универсальности, что в свой черед, — прибегни я к этому средству, — окрасило бы повествование в тона сомнительной поэтической вневременности. Несомненно, она испытанно сообщает чарующую необязательность суждениям и, паче того, воспоминаниям, но за нее приходится расплачиваться многим. Впрочем, иногда непонятно — чем именно. Смещение планов в оптике опыта. Невообразимыми маршрутами значимость перемещается от события к его неотступной тени, к — намерению. На первой стадии мы можем исключить цвет. Не затруднит также исключение предчувствий и соединительных союзов. Есть — означает неустанную переходность. Исходная точка условна в той же мере, как грязь под ногтями, бессмертие, копошение личинок в

груде гнили и свечение контура предметов, живущих в норе сознания.

Предпочтительней писать о том, чего никогда не было, — о детстве, или о том, что никогда не случится: о смерти. Таковы автобиографические следы (срезы). Следы отсутствия, тающие на вещах. Таковы вещи, стирающие себя в умножении и отголосках имен, некоторые из которых, если не большинство, обречены произнесению.

Прежде мое существование всяческими отнюдь не загадочными способами распространялось в различные области. Наверное, я хотел этого. Еще я хотел множества слов. Сегодня я не могу сказать, зачем это мне было нужно. Глупость приходит как запоздалое утешение. Понимать то, что понимают они, чтобы в краткие мгновения чистейшего, как зола, бессилия соединять свой голос с голосом другого, свое безмолвие с безмолвием тысяч других, — появляется и такой вопрос. Пафос уничижителен. Мы услышим это на крыше. Когда, например, Диких поднялся с пола и вышел на чердак? Кто он? Болят ли у него зубы? Любит ли он детей? Жертвует ли он деньги на возведение Храма? Переступая через трубы коллектора, отводя от лица полуистлевшие бельевые веревки, глотая духоту, он шел к тусклому окну на крышу.

Какой год стоит на дворе? Какое время года? Кто управляет церемониями смены сезонов? У чердачного окна Диких поставил ящик, встал, подтянулся. Серый воздух ночи коснулся лба. Действительно ли душа забыла прежнее существование, очарованная воплощением? Перед ним простиралась пологая крыша шестиэтажного дома. Тишина казалась тонкой, как натянутая фольга. Сколько стоят деньги? Дребезжание не занимало много места. Нужно ли это знать? Направо от Диких на стуле расположился человек средних лет в отменно пошитом костюме. На глазах сидевшего были легкие дымчатые очки без оправы, на носу выступали красные жилки. За спинкой стула стоял китаец с раскрытой книгой в руках. Легкий ветер шевелил страницы.

— Я уже где-то все это видел, — заметил Диких, надменно выставя палец в сторону китайца.

— Это вопрос или утверждение? — Человек на стуле приветливо улыбнулся.

— Не знаю... насколько вопрос может быть утверждением.

— Ну, это никак не относится к сфере моей компетенции.

Диких опустил на крышу. Превозмогая нахлынувшую вялость, заметил:

— Крыша нагрелась, изрядно.

— Никому, — усмехнулся сидевший, — уверен, никому это не нужно. Мне в первую очередь. Я коммерсант. Я люблю то, чего не любите вы. Я люблю, скажем так, прибавлять одно к другому. Вы же, не сомневаюсь, предпочитаете другое, — в голосе зазвучали оперно сумрачные ноты. — Хотя, может быть, вам нравится, к примеру, воровать... Нет, я ничего не имею против. Однако мне это определенно кажется примером убогого случая, который также не исключает *соби- рания* — да? — или, если угодно, полноты, а ей, как вы понимаете, безразлично, сколько от нее убудет в тот или иной раз.

— Я понимаю, — кивнул Диких.

— Нет, — сказал тот. — Вы решительно ничего не понимаете.

— Нет, я понимаю, — повторил Диких. — Во всяком случае, догадываюсь.

— Вот именно! — прервал его собеседник. — Все происходит как бы в виде сонной догадки, состояния или, если угодно, места, которому не описать собой ни результата, ни предпосылок, и, знаете, главное: эта, собственно, сонная заинтересованность, может быть, даже безразличие протекает из самой себя, из этой же сонной догадки, в которой ничего, кроме «вдруг» не случается, а остальное — только преткновение, изводящее догадку из сна в угадывание, в явь мгновения, считываемого в... скажем, противоположную сторону, откуда снова начинается приближение к обнаружению собственного «вдруг», к непросчитываемой ча-

сти сомнамбулического любопытства. Поверьте, ни единого утверждения, ни одного отрицания, вот что привлекает внимание.

Диких почесал ногу босой пяткой.

На лице сидевшего, на лиловой кофте китайца, стоявшего позади стула, на летавших по кругу с крепдешинным треском страницах его книги и коврах, устилавших крышу, играли аметистовые отсветы. Диких подошел к краю и глянул вниз.

По Фонтанке плыла та же, что и тогда, когда он переезжал, яхта, но на этот раз с поднятой мачтой и парусами. Яхта двигалась, охваченная бесшумными языками холодного пламени. Пылающие на палубе люди приветственно и нежно махали руками, проплывая.

— Вот видите... огонь. — Сидевший на стуле снял очки и с видимым удовольствием подставил лицо отсветам, плававшим в воздухе.

— В вашем рассуждении присутствует некоторая неясность, мне хотелось бы ее как можно скорей устранить... — тихо сказал Диких.

— Иван Иванович, — представился человек и подмигнул Диких: как старому другу, как приятелю добрых старых времен.

Некоторое время человек, а теперь уже Иван И., словно бы раздумывал, склоня голову над якобы представшим ему ответом, после поднялся и оперся на плечо китайца. Держа перед собой книгу, китаец наставительно произнес: «Слушание — ступень смелости, и слабых к ней допускать нельзя. Он, изумленный, погружен в море созерцания».

— Да, в море, — подхватил И.И. — именно в море, а не в океан или реку, и состояние его подобно состоянию женщин, порезавших свои руки бечевой при созерцании красоты рыб. Помните, их изумление было столь велико, что они утратили способность не только чувствовать, но и мыслить.

В конце сентября Диких стучал в дверь бани на Фонарном. Было раннее утро, около шести утра. Во дворе, за шта-

белем труб, уже начала осыпаться единственная липа. Под липой стояли проржавевшие проволочные стулья. Дверь легко подалась, что несколько насторожило Диких. Его шаги гулко звучали по коридору; миновав гипсовую мать с младенцем и медведя с пограничником, Диких остановился и крикнул: «Кто тут?!» Ответа не последовало. Диких двинулся дальше вдоль стены, стараясь ступать на носках. Конечно, как вы догадались, он и думать забыл об Иван Иваныче. Под подошвами скрипел песок. Пора ремонта описана в другом месте с заслуживающими внимания подробностями касательно замены многих частей необходимой материальной части.

Потом, словно из приемника, к нему стало доноситься пение. По мере того как Диких двигался дальше, пение звучало сильнее и вдохновенней. Диких прошел буфет, пустую раздевалку и вышел в зал с бассейном, уставленный великим множеством аквариумов, в которых плескались диковинные радужные рыбы. Обстановка комнаты очень проста. В ней почти нет мебели, если не считать большого количества украшенных сквозной резьбой и латунными гвоздями дверей, некоторые из них обращены к Ка'бе. В очаге горит благовонное дерево гротта. Можно было только изумиться резной штукатурке стен... Молись, о могилах, молись, но не смотри туда! Нырять и плещась в бассейне, пел Витя-татарин, известный завсегдатаям этого райского уголка под именем Ломброзо.

Витя-татарин булькал водой и пел. Свою прозвище он заслужил, когда, преступив собственные правила, вмешался однажды в разговор посетителей, обсуждавших выдвижение на пост полуглавы великой страны очередной персоны. «Не нужно быть Ломброзо, чтобы врубиться, что к чему», — сказал тогда Витя и плюнул под ноги. Иногда он подплывал к краю бассейна, наливал из бутылки, стоявшей там же, подымал к свету бокал, любовался цветом содержимого, тягуче и медленно пил и снова пел. Вверху, под высокими сводами, призрак эха был заключен в формулу пристальной

смальты, в бассейне, в кафельном индиго вились стайки золотых рыбок. Ломброзо понимал толк во многих вещах, и рыбки не были исключением.

Диких возвратился в раздевалку, пересек коридор, вошел в женский пустой класс, открыл дверь в подсобку. Синяя занавеска на окне едва пропускала слабый осенний свет. Диких подошел к топчану, опустился на колени и взял за руку Соню. Ее кисть вздрогнула, но лицо осталось в тени сна. Диких снял плащ, положил его поверх одеяла и лег рядом. Но только его глаза закрылись, лишь поползли в них фиолетовые спирали все тех же невразумительных солнц, собирающей себя по зернам материи зрения, как вновь, словно сквозь проем медленно приотворившейся двери, увидел он как бы знакомую комнату, человека с открытыми глазами, лежавшего недвижимо на диване, и какие-то фигуры, обступившие лежавшего и будто бы даже склонившиеся над ним.

Это видение посещало Диких во снах не всегда. Но когда оно приходило, сердце Диких в мановение руки охлаждалось от чувства какой-то бессмысленной и необратимой потери, что, по-видимому, могло объясняться непредсказуемостью виденного им, а также и легкостью исчезновения видения. Бреясь наутро, он говорил себе в таких случаях перед зеркалом, что *этот* сон (часть его, часть части его и т.д.) является чисто случайным сочетанием разрозненных атрибутов, каждый из которых сам по себе что-то, вероятно, когда-то и значил в его жизни или в жизни других, — поскольку они с равным успехом могли принадлежать не обязательно ему.

Допустим, рассуждал он, комната могла сниться одному, диван и человек на нем — другому, фигуры, стоявшие вокруг дивана, по полному праву могли принадлежать самому Диких, а вот все вместе — оказывалось роговыми вратами, в которые нещадно дул ветер, истоки которого были неведомы.

Сумма чего неизменно обескураживает, невзирая на то, что религии и политика притязают на противоположное и очевидно преуспели в последнем.

Не помню, вероятно, я тоже хотел быть вместе, то есть в одном и том же месте с другими, вопреки тому, что воображение поныне отказывается представить его каким бы то ни было образом. Однажды в метро, перечитывая короткое стихотворение Витгенштейна о замерзшем море и сновиденьях креветки, я отвел глаза от строк к ряду летевших назад на стене тоннеля ламп.

Мы еще покуда не подошли к иллюстрации, на которой некто в твидовой кепке стоит, запрокинув голову, держа в руке дрожащую бечеву воздушного змея. Тусклая медь путешествия, сросшаяся с кожей руки. Лампы складывались в подобие завораживающей, непрерывной ленты, по которой неутомимо скакала электрическая лошадь, пытаясь обогнать уходящее в изогнутую перспективу дерево. Являются ли близнецы причиной изобретения зеркала, способно ли было знание того, что зеркало управляет нами, вызвать к жизни феномен близнецов? Или же близнецы — суть *мират хадратейн* — зеркало двух присутствий, Божественной готовности — долженствования и возможности, легкой стопы и нерастолкованного сна. Так в детстве во тьме летних вечеров мы вращали вокруг себя (едва ли не танцуя, под стать хасидам, на одной ноге) зажженный камыш, наслаждаясь иллюзией непрерывно изменяющего себя в воздухе узора, длительности единичного, а может быть, попросту того, что заведомо случайно, разорвано и разобщено, но повинуетя руке, вожделеющей непонятно зачем целокупности. Кто скажет, насколько глубоко таилось тогда подспудное желание соединять то, что даже детскому рассудку казалось лишенным поверхностной связности? Или же дело обстояло в «медлительности» зрения, в заданности телесного несовершенства, предназначение которого и состояло в том, чтобы не пропускать опыт далее положенного ему предела? Темные шумерийские липы матово освещали кронами границы «в/наверху». Каждое дерево издали — неряшливый рисунок на полях тетради, даже если ему предназначено играть центральную роль в ходе доказательства произвольности;

итак — arbor и equus в разреженной сфере произвольности. Женева на рубеже 1908 года. Не перебивай, сделай одолжение, но никто не перебивает; нет, ты снова норовишь все испортить, начать никому не нужный рассказ о переменах во времени, о продаже прогнивших бочек, о тележках на железных кованых колесах, о цветущем каштане на углу, о том, что никого давно не интересует ни с какой стороны; но о чем, по твоему? — о чем следует говорить, когда все умолкли, будто взошло раннее утро, и свет меняет свою ткань, а в памяти гаснет ночная речь, омывавшая желание ни за что не останавливаться, не прекращать ни на секунду, потому что прекращение (иногда оно принимает форму отточия) и так далее, что-то еще, необязательное, но, безусловно, уже светлым-светло, и за дворами, где-то у реки Оккервиль, лягает трамвай, тогда как дерево (элегантный поворот, появляется дерево, — оно давно как «появляется»!) у окна теряет угрожающую четкость, под стать описанию, минующему выбор за выбором в сомнамбулическом следовании своим же следам, обнаруживаемым в ходе следования; так, в частности — *«я до сих пор не пойму, что в наших отношениях было важнее всего; то, что мы о них продолжаем говорить (нет, я не навязываю тебе свое мнение), словно безостановочно нисходя в жизнь, где словам не находится места, в преисподнюю языка, непрестанно грезящего прошлым, чьей-либо памятью, чтобы найти единственную направленность желания, избегая»* — требуют еще большего вовлечения в толкование, и поэтому куда как мало интересует: нужно или не нужно, несмотря на то что именно это может стать причиной очередного выяснения отношений на склоне ночи, когда в комнате полно народа, все выпито, а рассеивающаяся мгла не прибавляет голове ясности, и тем не менее ты опять возвращаешься к тому, что говорить нужно не о том; я не знаю, что именно нужно в этот час, ты же видишь, как сносит ветром птиц, как плодоносит вода и бестенно хлещет луна над идущим в город морем. Мне претит твой чрезмерно приподнятый тон. Я не могу слушать людей, озабоченных толь-

ко тем, чтобы им не забыть того, что они хотят рассказать. В чьих чертах умещены как бы неприятзательным примером *arbog* и *equus*, наподобие примера с полицейским, собирающим все сведения о жителях, примера, в котором карта «нигде» или «ничто» разыгрывается в виде дополнительного фактора понимания, — все примеры обречены на нигде и ничто, равно как «критяне», «ошипаные петухи» и пр.; разумеется, незначимость, семантический нейтральный модус слов, вводимых в тело примера, исподволь являют признаки сговора, слепого стяжания значений, ставящего будто бы под сомнение само промеривание, примирение с тем, что посредством такого уподобления безоговорочно притязает на свое бесспорное место. «Это так же просто, как — ...!» — фигура примера есть фигура сравнения в различии. Но при первом же замедлении «дерево» с внезапной легкостью, невзирая на сдерживающую силу «корней», прорастает сквозь пейзажи рассудка и конспекты Дегаля или Ридлингера — это я, чиновник двойного имени... не особо отчетливо помню, когда это случилось, — чтобы срастись с конем, чье изображение помещено ниже как очевидно случайное, стало быть, типическое, отнюдь не категориальное, но дело в том, что они не разделялись, не различались — конь Одина (Игга) и Игдрасил. Пожалуй, именно в этом месте начинает прогибаться фланг женевского резерва. Возможно вообразить дальнейшее смятение. Например, Одесса той же поры, 10-я или 11-я станция, на столе под раскидистым орехом множество ламп, хрусталь, графины и другие предметы. Сияет мягко чесуча... — «Ну, да ведь вам сам Бог велел! Вы-то не справитесь? Не смешите. А не получится — поможем. Господа, тут пришла в голову одна забавная идея! Но прежде — кто из вас по осени намеревается отбыть в европейские столицы?»

Однако оно отнюдь не застает нас врасплох. Сравнение дат — в 1906 году «дерево» пускает побег, а к 1908 году зрело ветвится примером в риторическом лабиринте. Поговорим о другом. Поговорим о домах и пожарах, всплывающих со

дна остановленных октябрьских дней, поговорим о пустотах, о восковых дощечках грез, к податливой материи которых, отслаиваясь, оттиск поднимается из глубин очередной поверхности. Скажем, наконец, как в том же году он оставляет Берлин, дабы обнаружить себя в Англии, в графстве Дербишир, предающимся беззвучной оргии воздушных змеев, — воздушные кони Ашвинов неминуемы, кони близнецов, небесных чад, отмеченных печатью служения. Бухари-аль-Джаухари в книге «Корона Царей» уподобляет бытие такого человека алмазу одиннадцати. В той же книге предусмотрительно не говорится о ковре-самолете, охраняемом воздушными змеями, змеями восковых сновидений, то есть самым сновидением, изначально обращенным к себе, в себя, избегающим какого-либо описания. Промедление — это первое, что необходимо освоить.

После того и другого не остается ничего, кроме «тетрадей»; и в том и другом случае исследователи классифицируют их по цвету — зеленая, коричневая, черная, синяя. Наконец, тетрадь воды и дыма. Не секрет, что в них не найти ни слова о страхе, который питал Ипполит перед своей мачехой. Ни слова, потому что не женоненавистничество, как можно было бы предположить, но, очевидно, другое наполняло его неборимым ужасом, то есть его, кто, собственно, и был конем, которого надлежало принести в жертву, разъять на части, на значения, чтобы вновь воссоединить в неисполняемое целое некоего смысла; но разве обряд Ашвемедха заключается только лишь в голом убийстве? — Воздержимся, оставим, хорошо, пусть так. Вот вы, простите, слева у окна, на котором отмечен поворот улицы к вечерней мгле, благодарю — что бы вы желали дополнить? Но тогда, говоришь ты еще тише, еще теснее приближаясь к слуху шепотом (так плющ на стене бессонно льнет к осени), они вели коня по всему царству, обходили с ним все владения, и царица ждала его, чтобы целиком принять его мощь, наделенную полнотой всей ее земли, всего ее достояния, имени,

имени, власти и непреложности. Только потом приходила пора сосредоточения в акте расчленения, распыления, рассеивания сквозь сито жертвования. По страницам тетрадей, в монотонности восхождения. И конечно же, понятным становится ночной детский страх Ипполита, и то, почему бросился он к берегу, к пескам, переплетенным лозами восходящего ветра, к морю, к колеснице, — важна последовательность, — запряженной любимыми конями, но — чужой, не признаваемый ими равным себе, — утратил природу дерева, коня и примера. Действительно, Владислав Валерьянович, именно так: «Ортигия, колыбель Артемиды, сестра Делоса, тобою хочет начать сладостная песнь моя хвалу коням, чьи ноги как буря». Накормишь обедом, расскажу, кто мне выбил глаз. Можно бесконечно долго лепить голову девочки. Глины вдоволь. Многое не учитывалось по недомыслию. Можно до смерти вместе с монахами ухаживать за розами в саду. Heisst kein Sternbulf «Reiter»? Герои укреплялись в сознании фрагментарно. В зарослях заметно движение. Ахилл.

Однако ж Рильке не любил, предпочитал Тракия.

«We have cut, we cut, we will cut!»

Forget «cutting» as a feminist activity; the motto might more properly say, «we were patient, we are patient, we will be pa-tient». But we know how to love men. So we love them. Мне хочется спать. Болят глаза. Наверное, грипп. Сегодня я выбираю любовь к Отчизне с придыханием на одном из слогов (это мой секрет, на каком) и грипп. Завтра — персидский килим. И все же — чашку граппы, то есть кофе, а перед тем как выключить компьютер, я отошлю тебе эту историю, впрочем, в нескольких словах завершая ее твоими, которые пришлось столь кстати, когда казалось, что словам нет места нигде. Хотя здесь терпение медленно превращается в страсть. ...Thu Oct 6 19:19:22 MSD 1994 To: ...@compuserve.com Message — Id:

<AAwL1b kmj0@ hm.spb.su> /Organization:World Readers/
From:DIKIKH <dik @...spb.su> /Date: Thu, 6 Oct 94 19:19:22
+0400 (MSD)/ X-Mailer: dMail (Demos Mail v1.14a) /Subject:
tree & horse.

Диких долго смотрел в окно. За его спиной располагалась комната. В комнате присутствовала обстановка, состоящая из вещей. Вещи состояли из множества состояний или, возможно, из следствий собственного происхождения — ложное предвосхищение понуждало речь обращаться к истокам желания. Каталог вещей прилагается: книжные полки, собственно книги, фотографии с изображениями человеческих лиц, карта Петербурга, испещренная пометами, нанесенными цветными карандашами, по преимуществу синим и красным (желтый едва угадывался). К каждой вещи прилагалась бирка. В комнате было довольно сумрачно об эту пору года. Стояла весна. Самолеты беззвучно падали вверх. Незвестная птица не принадлежала каталогу и пела. В комнате висело также несколько карт других городов. На столе, у пишущей машинки, стояла стопа книг. Мы перечислим их названия. Не все. Некоторые — непомерно длинны. К какому году относится эта фотография?

Возникает желание говорить о краткости именования. Тишина меньше всего занимала Диких. Действующее лицо. Да, бесспорно, его интересовали имена и действия. Он думал, думаем мы, что думаем, что имена — «суть производные вещей», но *имена собственные* суть пустые семена, несомые ветром, и не просто семена, но скорлупа, оболочка, исклеванная птицами. Он позволил поселиться ласточкам в своем доме. Главу следовало заканчивать на первой встрече с одним из действующих лиц. Об этом свидетельствовало ощущение.

Известно, чувствам нужно доверять. По окончании же главы, после спуска следовало бы написать: «Глава 14». Война длилась долго, как иллюзия четности, грязноватой красной нитью она проходила сквозь шестую, седьмую и, описав претенциозную петлю исторических параллелей,

возвращалась к первой, где на время как бы терялась под спудом. Цвел репейник, и воздух был напоен жаром разнотравья и звоном кузнечиков. Но ешь и пей, и предавайся веселью в размышлении своем, возлежи на ложе с женами и в шепоте их ищи источники влаги, как и в устах их, не отвергай также слов моих, брат мой, муж мой, ибо нет меры неизмеримому, и голос мой чрезмерно тих, рожденный в камышовых полях, где и свет, невзирая на свою причину, сумрачен как времена, оставленные за спиной навсегда. Мир не умещался в книгу исключительно из-за скверной погоды и дурного клея, не державшего корешок. К войне успели привыкнуть по причине неспособности языка описать ее невидимые перемены, прочтение которых могло бы дать некоторую картину разнообразия и слоения: так, война могла угасать, что на самом деле означало возобновление, но уже в ином направлении, на абсолютно другой плоскости, где постепенно наращивала силу звучания, обрываемого редкими, но мощными по глубине отсутствия фермато, отчего дерево решений покрывалось цветами смерти, любовно исполненными из проволоки, старых газет и марли, точно так же, впрочем, как и всякими другими. Однако музыкальная терминология не исчерпывала ей предназначенного, экраны продолжали накопление того, что затем интерпретировалось как события. Как не давали имена собственные.

В одной из ранних глав Диких с настороженностью встретил появление нового персонажа. Его вторжение происходило в рамках неизвестной до сих пор Диких стратегии: персонаж не нес в себе привычно выявленных функций, выглядел довольно вялым, хотя в его индифферентности угадывалось нечто большее, чем простое желание казаться прибавочным значением орнамента. Персонаж стал появляться чаще, привнося беспорядок и неясное беспокойство в, казалось бы, с каждым днем становящуюся все более стройной картину происходившего и выявлявшего себя в совершенном равнодушии и бесцельности. При всем том было очевидно, что с войной персонаж не имеет ничего общего.

Наступил март. Диких долго смотрел в окно, угадывая, в каком направлении происходят изменения в комнате.

Его ум медленно и настойчиво исключал вещи, каталог которых мы не выпускаем из рук. Фотография вещи тоже вещь. Потерянная фотография не существующей вещи не всегда является исключением последней из возможности. Теперь *шкаф* назывался: «как уверяла», а *пыль на деревянной шкатулке с металлической крышкой, украшенной геометрическим узором, изготовленной в Веймарской республике*: «не ездить бы этому человеку в Ибру, там его убьют». Замещения не доставляли удовольствия. Персонаж косвенно объявил о своей фамилии. Она была устрашающей. Дело обстояло следующим образом. Диких смотрел не отрываясь. Позвонили в дверь. Вам телеграмма, сказали из-за двери. Прислушиваясь к разговору, Диких затаил дыхание — там был кто-то другой. Диких намеренно попросил знакомых с почты позвонить в заведомо указанную им дверь (свою) и передать открывшему (ему) фальшивую телеграмму. «Телеграмма?! Кому? Погодите, оденусь...» — «Телеграмма на имя Драгомощенко, — сказал почтовый служащий. — Здесь ли проживает некто Драгомощенко?» — «Да, я проживаю именно здесь. Да, именно я проживаю именно здесь... насколько сегодня в этом можно быть вообще уверенным». — «Распишитесь».

В полуоткрытую дверь Диких увидел руку с карандашом, далее переднюю, а еще дальше комнату, дверь в нее была распахнута настежь, что вполне могло означать полное ее отсутствие. Параллельно, будто заглядывая из-за спины, краем глаза можно было уловить едва сдерживаемое фокусом изображение: женский силуэт, склоненный над столом, позолоченная кромка вазы, в которой клубилось солнце, неясных очертаний перстень, смутно, но в то же время необыкновенно выпукло, как прохладное небо в эту пору года, дом напротив в стиснутом времени сравнения вечернем просторе, в котором не меняет своего направления шум поворачивающих из-за угла машин и что целиком вошло во

фразу: «тебе понравится уподобление такого состояния призыванию к пределам комнаты, к прозрачным пределам, положенным каждой вещью, ищущей собственное продолжение в равенстве себе самой».

По всей вероятности, других комнат в квартире не было, невзирая на большое количество дверей, украшенных латунными гвоздями и сквозной резьбой.

На несобранной постели кто-то лежал. Мне здесь не нравится, подумал Диких, вопреки сказочному обилию света, несоразмерному количеству серебра в фиксирующем растворе. На окне хлопала занавеска. Сырой воздух весны, прогретый солнцем, я назову воспоминанием. За это мне ничего не будет.

— Вера, — крикнул Драгомощенко, — дай там денег... За телеграмму!

— От кого телеграмма? — услышал Диких простуженный женский голос.

— Я говорю «дай денег», а не «от кого телеграмма?» — сказал Драгомощенко.

Сверху летел занавес. И аист. Летел мешок, летел камень в мешок, к мешку летели ножницы. Куда ушли весеннее тепло, свет, прекрасные тихие голоса! Люди двигались к выходу. Красные буквы спасения. Чушь, подумал Диких, но тотчас переменялся в собственном мнении и подумал, что ему было нужно имя собственное, а что там за этим именем — не имеет значения (во всяком случае, в данный момент). Как и то, что новый персонаж, в прошлом без определенного рода занятий, жил на улице Чайковского, ближе к Литейному проспекту, там, где находится известный проходной двор с Фурштатской. В этот момент Диких внезапно исполнился уверенности в том, что ему улыбнулась удача. Не наше дело.

Он видел, как в промежутках между пением, танцами и застольем Драгомощенко движется по Университетской набережной. Было не разглядеть его в трех измерениях, скорее всего: 1) сутул, 2) грузен, 3) нечист на руку, 4) лжив,

5) плешив и сентиментален, что свидетельствует, по Рудольфу Местзангеру, о грязном и неуспокоенном воображении. Так, например, однажды Драгомощенко записал, что его принимают за грека (именно за грека, а не еврея), но не только, — хотя почему, спрашивается, в «Ксениях» возникает фамилия Теотокопулоса? Последующий шаг требует отстранения от теологических толкований. Отверждение ли аффрикативной, фарингальной согласной тому причиной? В комнате было тихо и душно. В безвоздушных коридорах «было». Еще бы! Монохорд мира безмолвствовал. Передвижениям незнакомого персонажа надлежало следовать неким скрытым предписаниям. Возникал вопрос: скрытым для кого? для всех ли без исключения? Или же только один Драгомощенко и никто больше будет знать, да и уже знает то, чего не знают другие? Возможно иное: Др-о как бы находится в неведении, но впоследствии, вернее по истечении некоторого (композиционные затраты) времени, или же в ходе каких-либо неожиданно ставших происходить событий, начинает догадываться о смысле производимых им действий, а именно: передвижений. Естественным будет предположить, что в результате у Др-о возникает подозрение в отчетливости замысла. Правомочно ли подозрение? Не знаю. Откуда? Из соседнего селения. Смотрит ли кто «сверху» и читает ли он то, что складывается из букв, его следов? Зависит ли значение сообщения от точки, в которой находится возможный «читатель», и, наконец, сколько точек необходимо, чтобы они стали линией? В конце концов, какого рода сообщение либо послание должно быть образовано таковым — согласимся называть его — письмом? Есть несколько привлекательных предположений.

Диких прикрыл глаза. Он представил, что передвижения некоего Др-о могут обрести смысл, если следовать его движению в течение 25 лет. У Диких закружилась голова и возникло кислое чувство нехорошей тошноты. Допустим, он выходит из дому и переходит улицу, покупает сигареты, проходит к проспекту Чернышевского и возвращается по Фурштатской. Как он на это решился?

Случайно, как все люди. Но как его звали? А вам какое дело? Какой знак образован? Неполная литера «О»? Или же фрагмент покуда не завершенной литеры, скажем, «Б»? Какова пунктуация? Как происходит разделение? Вместе с тем почему кто-либо обязан быть уверенным, будто в таком случае должен использоваться русский язык. А это не имеет значения. Не может быть, чтобы родной язык, храм души, не имел хоть какого-нибудь значения! Неужели нам останется лишь бескрайний вид равнин? А что за ними? Что препятствует считать, скажем, очертания, описывающие его движение по набережной, включая спуск к воде, буквой Гимель или Альфа? Диких ощутил, как на его висках выступил пот — воды не было, не было Невы, перед ним плотно стояли дома. Ничего не было, кроме «было». Дурная компания. Несколько раскрашенных бетонных рыб украшало детскую площадку. Наступало неотвратимое ухудшение ситуации. Диких посмотрел в сторону университета.

Фактически, продолжал рассуждать Диких, стоя у плиты на кухне и следя за тем, чтобы не сбежал кофе, мы имеем дело с высказыванием, разворачивающим себя в телесном времени, являющем из себя, пишет Диких, метаанаграмму, в которой прежде всего предстоит найти ключи от разгадки истории, загадку которой Диких искал уже второй год, определенно не зная, в чем она заключается: обстоятельства, лица, их речь, их истории, совпадения, поступки безостановочно перетекали друг в друга, не находя спасительного преткновения, которое могло бы сорвать мгновение со стебля всех сроков, чтобы дать завязь хотя бы приближительного значения пусть даже в самом невзрачном из такого рода ростков. Не исключено, проблема на время останется нерешенной. Невзирая на то, что возникают новые детали, но сказано, что персонаж движется в сторону университета? И не только в сторону, но уточним: в сторону исторического факультета. Об этом и подавно никто не заикался. А не нужно заикаться, нужно говорить внятно. Спокойно и внятно. Как ни в чем не бывало. Как будто так было всегда.

И впредь не будет, или будет. Да так, чтобы не затемнять мысль, а, напротив, подчеркивать ее основной смысл. И все же пускай эти передвижения (как принято в романах последнего времени) будут на самом деле вычерчиванием литер, которым уготовано расположение одна поверх другой — буква за буквой, день за днем. Не так ли и мы достигли истинной искренности? Персонаж не должен иметь определенного рода занятий, с тем чтобы ничто не влияло на свободу его намерений. Намерения никогда ничему не обязаны.

Мы прочтем то, что не предназначено для чтения, что в свой черед уйдет в глубины высказывания, исчезновения. Глубины есть то, что не имеет ни верха, ни низа, парение за пределами физических привязанностей. Глубина как небо, которого нет. И тогда с облегчением перечисляются изведенные имена, будто не владеем ими, словно существуем как местоимения. Что случится много позднее.

Ночь ступала без единого всплеска — вот уж кто пересекал воды яко по суху. Голоса матери, отца, гостей зыбкими островами нежной смуты перемещали случайные тени в моей комнате, окна которой по обыкновению перестраивали сумрак. За краем неясных голосов не утихал мерный глухой шум, чувство волнообразного приближения которого тогда доставляло особое наслаждение; будто близился к порогу сна, к вратам слоновой кости, исторгавшим тотчас обратно, в предвкушение блаженного мига перехода, превращения, во мгновение, вмещающее (в тройной экспозиции) и несвершенное прошедшее, и уже сбывшееся настоящее, и то, что вот-вот должно войти в тебя, заключив во всеотражающее средоточие времени, или отсутствие слова, означающего это возможное никогда, лучащееся во все стороны сиянием небывалой слепоты и всевидения, в котором не остается никаких средств, лишь одни цели и что всегда оставалось предвкушением все того же ненаступившего прошлого. Очередность знакома: вначале родители настигают тебя, затем исчезают, оставляя тебя своему явлению, а

потом ты создаешь родителей, исчезая в их последнем для тебя возвращении.

Был ли я продолжением шума, его источником, началом, — или же голосов, доносившихся снизу? Величественный, одновременно беспомощно-жалкий мир дня неторопливо поворачивал свой гигантский диск, удлинял тени, перекраивал очертания. Травы просты и простираются простыней охры к краям сознания. Как бы в последний раз (каждую ночь в новом приближении) со странно-беспричинным и сентиментальным чувством я касался стволов подсолнухов, шершавых досок забора, будто бы тесно прикипал к осязаемому бальзамическому духу сухой ромашки, воблы и, растворяясь в нем, переходил бесплотный и непобедимый пространством к латунному дребезжанию оконного стекла, изучая тиснения перепончатого перламутра французских духов, кривизну и скорость луча, типографской краски, льда игральных карт и клавиш блютнеровского рояля. Гормональное созревание. Ковры раскрывали спирали суфийских поучений, фарфор костяным шершнем жужжал у зубов, расщепляя молекулярные сцепления ореховой пыли, тогда как за окнами, выбеленное дотла полуднем, текло, подобно сухим водам Корана, половодье бабочек-капустниц, которые — теперь я уверился в этом вполне — уже никогда не оставят то время, подобно тому, как силуэты паровозов ни на секунду не оставляют картофельные циферблаты Кирико. Начало детской любви лежит в центре галактического головокружения абсолютного одиночества. Сажа. Спокойная ясность опрокидывает: пейзаж является словарем, чьи шелковичные гнезда переполняются исчезновением прикосновений его составляющих — но и тебя самого, окунувшего пальцы в морозный костер собственной тени.

Онемение струйками пузырей восходит по артериям.

В действительности корни чего бы то ни было висят в пустоте. Вакуумология и вирусология — дисциплины, которым должно объяснить сущее. И этот дар, с годами уходя-

ший неуклонно, как отлив, обнажающий неприглядность неминуемого дна узнаваемой жизни, — единственный, которым пытаешься поделиться с другими и что, как оказывается, не нужно, потому что никого не остается в сквозных клетках упразднения. Но что такое «тогда»? Смутное ли это указание на должное произойти время, исполнение или же короткий, необязательный кивок куда-то туда, назад, вспять: «тогда»? Что производит *тогда*?

Эта способность убывает с годами, и когда наступает следующий прилив, тыходишь в него избавленным от всего, что стояло между тобой и ничто (тогда). Насекомые, чьи подкрылья исписаны палевыми письменами, сухи и неприглядны. Залив, острова, снег, камень, принимающий любые формы. Не передать, как чудовищно безлюдны и скучны зимние вечера на пустынных улицах города, где прошло детство любого. Немошный электрический свет висящих где-то вверху голых ламп, сиреневые сумерки, снежная крупа, стук замерзших ветвей в разрушенных хоромах акаций. Ни теней, ни тьмы.

Мне предложили рассказать о тайных законах алфавита, о пятилетних циклах постепенного исчезновения букв с их позиций, что остается никому не ведомым, поскольку (непонятно по каким причинам) пользующиеся алфавитом в своих целях продолжают одержимо оперировать с несуществующими буквами, будто ничего не произошло и перед ними простирается не бесцветная вне времени и продолжительности пустыня, но то, к чему они, прибегая якобы к известным знакам, дают имя преисполненной тишины, где разом обретаются все смыслы будущего явления и исчезновения, включая также значение бесконечно повторяющего себя события исчезающего алфавита. Хор немых. История предлагает не только имена. Метеориты казались искрами, летящими из под стали, лезвие которой правилось на черном кругу ночи. Поэт видит один и тот же сон: говоря, он подразумевает другое, думая, он произносит противное. Различие рек, флоры и фауны. Поэт прикладывает пальцы к

губам (обычно этот жест воспринимается как знак тишины) и пытается унять в них хищную дрожь, потому что ему кажется, что он начинает непосредственно постигать иные силы, напряжения, — но сон теряется в другом, где без остатка растрачивается на таинственные превращения, до которых никому нет дела. Машинерия точно размеренных прерываний. Наивные вопросы вызывают очередные приступы головной боли. Аспирин в таких случаях бесполезен. Боль напоминает призму, в которой расщепляется на спектр монотонность всегда уже наступившего. Не притупляется с годами. Где находится «всегда»?

Этим вопросом я всегда начинал свой рассказ, когда мне предлагали повествовать о сокровенных законах, приводящих в движение жернова букв. Именно там, как я уже говорил, залив, острова, снег, камень, а позже, много спустя, свернувшаяся улиткой зноя прибрежная полоса, испытующая пурпур и ультрамарин под сетью близорукости, расправленной ветром. Но страшнее пробуждения в 6 часов утра (занятия в школе начинались в 7) ничего не было; но однажды мне пришлось столкнуться с явлением, не имевшим никакого отношения к моей обычной жизни: легко выюжило, был слабый мороз, я вышел из дому как всегда за минут десять до начала уроков (школа находилась в двух кварталах от дома) и через полчаса обнаружил себя на вокзале, вернее на улице, ведущей к нему, совершенно в другой стороне. Вечером, лежа в постели, я еще и еще пытался проникнуть в провал утреннего разрыва времени — раз за разом повторял в воображении всю цепь следовавших друг за другом примет действительного: завтрак, выход из дома; я видел поземку, я ощущал необыкновенно пронзительное прикосновение снега к лицу, запахи мерзлой сбитой земли тротуара, до умопомрачения взвешивал и умножал детали, прозревая в них еще большие множества свидетельств реальности. Несмотря на все усилия и упорство, я не мог восстановить лишь единственного мгновения — единственной

непостижимой точки потери «сознания», «перехода», которая должна была служить чем-то наподобие дверей, но куда? — к прожигающей искре, мгновению обнаружения себя? Куда ушло двадцать или сколько там минут? Где я был? Кем? Царственной, бескостной улиткой, парящей в пурпуре материнских вод? Но, исполненному безмолвия и тихого смеха бодхисатв, сколь долго суждено было восходить мне к зеркальной поверхности вне отражений, вне имен и голоса? Божественную малость этой точки ни ум, ни чаяние человеческое не способны ни уместить, ни расположить в намерении так же, как и в воспоминании, много позже скажет отец Лоб. В зябкое октябрьское утро мы будем сидеть на крыше предназначенного на снос дома, рассматривая стаканы в руке и муравьиное шевеление Сенной под нами. Память ничего не сохранила из этого отсутствия. Стало быть, я действительно отсутствовал? Где? Почему? Мог ли я впасть в обморочное состояние и в то же время идти, переходить оживавшие улицы, не привлекая к себе внимания? Возможно, я спокойно разговаривал с прохожими о птицах и елках.

В действительности существует два вопроса, между которыми колеблется наше воображение, скажет о. Лоб, известный некогда в миру как Алексей Лобов, системный программист и хакер: «Действительно ли я умру?» и «Действительно ли то, что я жил?» Оба изначально бессмысленны в симметрии, как и вообще всякие вопросы, но любой ответ разваливает их взаимное равновесие, наделяя ненужным значением. Что остается? «Тогда»?

Я лежал в постели и чувствовал, как остывает лицо — до сих пор мне не приходилось еще сталкиваться с подобной несправедливостью. Непомерность обиды была очевидна (скорее оскорбления...). На рисунке Бог представлял совершенным алгебраическим яйцом, топологическим казусом, вовлеченным навсегда в обиход литературы, но случившееся ветвилось в иное. Произошедшее зимним утром, не имея в моем словаре ни места, ни времени, ни описания, ни оп-

ределения, ни даже отдаленного сходства с чем бы то ни было в опыте, тем не менее продолжало существовать и теперь совершенно неотделимо от самого меня. Иными словами, я стал ощущать в своем существе некую, возможно чуждую мне, но нескончаемо манящую форму иного существования, открыть которое мне еще только предстояло, — во всяком случае, так думалось. Но сколько лет потом, просыпаясь зимой с радостным предвкушением возможной разгадки, я выходил из дома, пытаюсь скрупулезно повторить все особенности того утра, вплоть до поворота головы, количества шагов, мелькавших мыслей, сжимаясь в какое-то подобие шелковичного червя, шара, в фигуру абсолютного покорного ожидания (ведь мне нужно было просто понять, и только; ничего другого я не преследовал), замерзая, теряя себя, леденея от ярости, оставаясь тем не менее там, где я был: на улице, под серым небом, за стеной бесполезных и совершенно прозрачных глаз. Вся дальнейшая жизнь частью складывалась из таких же бесповоротно обреченных попыток приближения к давно миновавшему утру — книги, женщины, путешествия, простиравшие свою власть далеко за пределы вещей и снов, боль, которая, как позднее выяснилось, вовсе не принадлежит человеку, невзирая на то, что берет в нем свое «начало», так же как и все остальное, пребывающее в хрупком равновесии на краю словесного усилия, вопреки его интенсивности, и в потоке которой воображение кажется пустой горошиной, обреченной нескончаемому танцу в самообольщении невесомости и бесконечности. Отнюдь не боль принадлежит человеку, но только ее иллюзия — страдание, которое он/она присваивает с такой же корыстью, как и все остальное. И вот, если будешь упражняться в применении боевых колесниц, то будет благоприятно, куда выступить, тогда как беспорочность уйдет в созерцании скул и верного движения. Мало ли что может привлекать внимание. Оконные рамы, высушенные плоды, подсказывающие причудливость очертаний не имеющего именованя, линзы, вращающие прозрачные поля достоверности на нитях

сотканых ими лучей. В дождь человеческие запахи усиливаются. Оптика знания, не имеющая к видению ни малейшего отношения: но в поле зрения не «знание», а так... оборванный анекдот, какой-то вздор — возникает коммуна почитателей Гурджиева, эвкалиптовые рощи на бурых холмах вдоль океана между Сан-Диего и Лос-Анджелесом, хотя расследование начинается с юга России, где, в секте хлыстов, ее видели в последний раз, — но, как бы то ни было, все эти поспешные образы оказываются не чем иным, как результатом последовательности взаимосвязей черного и белого. Наступает временное перемирие. Цвет возникает из его отсутствия, подобно тому, как приходит реальность всевозможных «я», «ты», «эвкалиптов», «реальностей», «отношений» и т.п. В чем заключено бессилие отказаться от этого? Что залегает под этим слоем? Лишь одно осознание существования некой машины, живущей по своим, отстоящим от тебя законам? Трудно поверить. Но сама «машина» — что она такое? Сцепление нескольких смехотворных метафор? Возможно, просто челночное колебание сомнения в ее существовании, смирения пред ней же и, безусловно, восстания. Скрипящая дверь.

Наклоненное к стене зеркало у двери, укорачивавшее днем меня и мое время, ночью оставляет несложные уловки и дышит едва подрагивающими, уловленными месячным сиянием в безветрии облаками: «Во мне происходит несколько жизней, однако ни в одной из них мне не находится места. Я думаю, это ощущение тебе хорошо знакомо, мне кажется, оно знакомо всем». При обстоятельном разглядывании, будто проникая сквозь пленку век, зеркала запаздывали на тончайшую долю предощущения, выказывая природу жидко кристальной матрицы теней; в зазор ожидания полного схватывания, овладения отражением того, чем оно порождалось, летела пыльца бессонницы — пыль сомнения в изначальности того либо другого. Только обмен, переход, развеществление в образовании мнились су-

шественными, хотел ты того или нет. Ночью ты не спишь, избирая в качестве поводыря шепот, остывшие углы которого чисты от теней, слепяще-безучастны, и нет теней, как нет заглавных букв и знаков препинания. Страсть ли это?

Но колдовские линзы осени. Числа, отражающие себя в круглых колодцах материи, поэты с испытанными ртами и руками, сведенными судорогой смывающих друг друга формул, уголь, раскаленный тростник, звон и птицы в криптах известняка. Непроявленное невозможно забыть. Память присваивает только то, что определяет прошлое, тело, — как если бы не хватало цвета; словно моя рука, ведущая линию в размеренном сокращении пространства, «оплывала», расплзалась, подобно пятну туши на влажной бумаге, теряясь прежде всего в законах чувствования ее телесности, а затем в иное, где одно грезит двумя, но не преступает предела первоначального, но возвращения нет, и ветхий младенец не радуется собственной радости — сухие семена, вспышка холодного октябрьского ветра, отзвук голосов, никому не принадлежащих, как если бы самое «никто» могло бы быть принадлежностью, приоткрывающей сцену, на которой несколько ряженных слов, рассеянных в игре, разыгрывали бы простоватую комедию ревности, щеколки, зеркала и пудры или — первовзрыва, разделения (является ли младенец эротическим телом матери?), как в анатомическом театре. Отделение ткани, едва сдерживаемое удивление тому, что завеса ничего не сокрывает: ни голубя, ни червя, ни золотой монеты, ни — «кто ты?», ни горбуна, приводящего в замысловатые движения бессмысленные фигурки автомата.

Нас создает глаз.

Мы создаем остальное, что впоследствии будет помечено слабыми прикосновениями карандаша.

Можно сделать выбор: так ли необходимо это, настолько ли действительно требует это введения в повествование как продолжение узнаваемых линий судьбы и тающих голосов ранним утром, когда едва-едва слышно биение под стопой городских камней, и спящие под кровом продолжают

видеть огромную фигуру справедливости, облеченную в слои масляной краски. Или же вычеркнуть — отослать, сослать в поля ссылок, муравьиные царства стрекочущих ресниц, снеся в петит бормотанья ракушечной риторики. Весы умирания. Я не пленял птиц. Взвесь, оседающая на стены зренья. И то сказать, наконец стала понятна древняя хитрость — килограмм пуха оказался тяжелее килограмма железа, идущего на хлеба, сапоги и время. Потом оказалось, что деревья во дворе все срублены. Спустия еще время исчезли пни. Из квартиры этажом ниже, где всю мою бытность проживал идиот с однорукой матерью, не доносилось ни звука. Наступила и прошла жара.

Идиота и его мать, наполовину съеденных вшами и блохами, в один из дней увезли в приют для хроников. Цены на овощи поползли вниз. Близилось время жатвы. Когда взламывали дверь, говорили соседи, санитары теряли сознание. В двух комнатах все до потолка было завалено дерьмом — оказывается, сантехника давно не работала. Может быть, для них это уже не играло какой-то особенной роли. Все изменялось. Червь в яблоке умирал. Умирало и яблоко, которое по неосмотрительности червь избрал вселенной. Причем было понятно, что ни о каком выборе не могло идти и речи. Слишком плоско, неумно. Столкновение света со светом, тьмы с такой же тьмою. Да, мне известно, слова забываются, иначе зачем бы я это писал. Отпечатки тлеют на сетчатке глаза. Животное ли глаз? Или же он — плод, ягода, алгебраическое яйцо, не имеющее ничего общего с телесностью? Или же — стена, в которую заключена память? Возможно, наоборот. Даже лучше. Теперь спать. Идет снег. В предгорьях Гималаев мы разбили свой лагерь. Вода в кране. Бессмертие конечно. Снег уходит. Много людей. Меньше. Не так уж чтобы очень много, но немало. Я любил тебя. Любовь и настоящее время никоим образом не соотнобразуются. Как это там? Откуда мне знать. Конечно, банальность *всего* в первую очередь объясняется необъяснимой банальностью смерти. Не так. Банальность «всего» полагается не-

избежным «стечением» каких бы то ни было объяснений и обстоятельств в точке «сознания смерти», словно в сонной догадке... в темной ладье в шелестящей -листве.

Сон мнился продолжением всего, к чему бы ни обращались ум, воображение. Изумрудно сгорала мошкara, в миг вспыхивающей встречи с иной материей отклоняя огонь свечей от прямых осей тьмы. Машинально передвигая вилку по скатерти, отец, не поднимая глаз от рук, говорит:

— Ожерелье Индры. — Кольцо на его безымянном пальце бездымно гаснет. Вот-вот, не иначе.

— Что-что? — как бы смущенно спохватывается мама, поправляя волосы, словно освобождая их золото, все золото мира освобождая от света, летящего из кухонного окна во двор, как от чего-то заведомо лишнего, чрезмерного. Видишь, она собирает со стола? Картинка приходит в движение, но как необыкновенно безнадежно она пуста. Я вижу. Ты видишь, видят и они. Я также вижу, как она выпрямляется и прислушивается. *Кто* она? *Она* кто? Интонации. Прежде всего следует разобраться с интонациями. Ты только что сам назвал ее... Я не говорю нет, я не говорю да, но я совсем не об этом... Входит Василий Кондратьев. Он пьян, печален и под мышкой у него тяжкая, как Поднебесная, книга. Нет в этой книге никакой книги. «Возникновению подобно...» — говорит он, а дальше не разобрать. И никого не существует, кроме тех, кто нескончаемо падает в зеркальные блики обманчивой поверхности, кроме брызг неяркого света, летящих острым ветром навстречу невнятного вещества.

— Вот-вот, сеть Индры, — повторяет отец, склоняя бритую голову.

Мы движемся по кругу, на короткое время попадая в тень яблони, затмение, новолуние, холодные волосы, вода, кровь и листья. Будто ничего и не было, будто мы об этом с вами не читали! Словно мы — тогда и сегодня. Но угадай тогда, где — сегодня? Где колыбель противительных союзов? Из каких пространств перемещаемся в какие, остава-

ясь недвижимыми камнями, собственной непосильной ношей? «Неужели минута превращения желания в несколько капель пота на твоих прикушенных губах, в твою влагу, в мою сперму, в это особо волшебное прикосновение рук, — заключает в себе (потому что пропадает) все без исключения: империи, длительности, смысл которых отстоит рассудка, их не приемлющего, понимание, хруст костей, бессилие, вой, рвы, засыпанные известью, стыд за желание *быть* во что бы то ни стало (разве оно нам подвластно? Какая чушь!), нас самих, равно как и всевозможных богов, взирающих с недоумением на себя, в то время как они покидают пределы, положенные нам, вопросительный знак. Интонация.

Чего же это стоит, если в одно мгновение ока оно рассыпается, не оставляя даже понимания того, что испепеляет это, носящее высокомерное в собственной неуязвимости имя реальности? Ломаного гроша...» Продолжительный монолог неубедителен и требует быть расписанным на два голоса.

Мы усердно ведем поиски второго голоса. Другого не существует. Мы наделяем речью собак, глину, минералы, Бога, водоросли и элементарные частицы, включая тех, кто отворяет дверь пробуждения.

Речь (наученная собою) взыскует другого как ограничение, позволяющее ей возвращение (представление такового, описываемого ею круга часто служит предпосылкой мысли о целостности), но поскольку его не происходит, речь становится невесомой казнью соответствий тому, через что она проходит, смещаясь по бесконечно длящемуся удалению, невзирая на обилие примет и знаков, чье количество как бы должно служить гарантией ее достоверности. Прекрасно.

Хотя о чем я только что говорил? С каким вопросом я обращался к тебе? Но после ты поворачиваешься и не видишь стула, — был ли он иллюзией, или же он есть: иллюзия, продолжающая его быть, становясь в тебе, завоевывая

тебя пядь за пядью, покуда не превращает тебя самого в собственное отсутствие (да-да, разумеется, невозможно наблюдать эдакую бездну продолжительное время). Утверждаю, здесь стоял стул. Нет, здесь стоит стол, ломящийся от яств. Оставь, вина больше не нужно, набрось ка лучше мне на плечи одеяло. Как долго повторять — осень. Думал ли ты, что эта пора года настигнет нас у Великого океана? Как странно, прошло почти сорок лет. «Я нигде не мог отыскать твоих следов». Да их и не было, как будто не было тебя, как и всего остального, следом чего, по уверению многих, являюсь я. Непонимание — всего лишь безыскусный силок ~~любви-страсти~~... его уши, глаза, нос, рот — на службе у жизни. Поэтому ими надлежит управлять. По окончании курсов выдаются соответствующие свидетельства, из которых, как и из дальнейшего отрывка, явствует, что «язык», взыскав другого, становится осенью, измерения которой охватывают свершение каждой вещи. Что остается в ней после того, как она исчерпывает свой цикл? — остаток сроков — смутные указания на стороны света, но и их число зависит от того, кто и как намеревается взглянуть на это дело. Наверное, нам осталось одно — смотреть друг на друга и меняться местами. **Fatal Error 404**

Мама выпрямляется, касается волос левой рукой и смотрит через плечо в сад. Фотография слетает на пол. Нас нет. Мята, тьма, плеск, хрупкая вязь жизни растений, нити шелков на речных перекатах, ирисы и пионы.

— Непонятно, почему он не доводит мысль до конца... — безо всякой связи со сказанным и с фальшивым недоумением. — Все таки удивляет, чем в итоге довольствуется этот, как будто в самом деле серьезный ученый, хотя, согласись, он удручающе прав в другом, язык действительно подзревает собственную конечность, благодаря чему приходится вводить... — понятно, что тут следует споткнуться, осознать неуместность собственного монолога. Наклонить-

ся — и он это делает (астигматизм: это мы знаем) к столу, чтобы близоруко, уйдя в собственные мысли, близоруко отпить из рюмочки, откинуться на спинку стула. Психологическая литература обязана оперировать в пределах риторики детали, *единственного, отличного*, что является продолжением любого возможного представления читающего. Почему он не доводит свою жизнь до конца? Рюмка, описание внешнего поведения, условий, проявляющих поведение персонажа. Пример: Диких подумал, что он думает. В садах медленно катится августовский ночной ветер. Матус Израэлевич Манн следует примеру деда и, отерев салфеткой рот, обращается к матери:

— Ну... кажется, пора. Любопытно, который все же час?

— О, совсем не поздно! Посидите еще чуток, — говорит мама, улыбаясь отцу, в то же время незаметно предпринимая попытку отобрать у него вилку.

— Да-да, прости... — роняет отец. — Довольно-таки глупая привычка.

— Кондратий Савельевич, — обращается к отцу Манн.

— Весь внимание, — отзывается он.

— Ну, так едем ли мы в воскресенье за карпами?!

— Да, — слышу я себя, глядя в окно, где цветет все та же настурция и северное небо расстилает сладостную ложь очередной смены времен чисел и года. Утварь утверждения.

— Прекрасно, но *буквально* никому не досуг заклеить лодку! — неожиданно всплывает дед, будто долгожданное применение его ожиданию найдено. Кто когда-нибудь видел ореховые удилища, не простые, а складные, в которых для сочленения используются кольца, нарезанные из гильз разного калибра. Но теперь в приступе театрального раздражения можно под шумок хлопнуть еще рюмку.

— Папа, ты ведь обещал! — произносит мать.

— Ах, Маша, прикажи-ка подать (смеется: вот, будто пришел издалека) золотого вина, — ты не клад золотой. Закопав, не надумают вновь откопать.

— Скажите, почему два одинаковых эпитета бесстыдно идут подряд? — спрашивает отец.

Мы не там. Развитие форм производства изменило формы восприятия. Так же изменилось формообразование раковин. Восприятие изменяло вялотекущую картину возникновения и чередования деталей. «Скажи, когда-нибудь мы будем трахаться, как нормальные люди, в постели, простынях, по-настоящему? Неужели вот так, всю жизнь, будем таскаться по кустам, чердакам, детским садам и лодочным станциям?» По холмам. Спустя вечность появилась волшебная гора. Пишущая машинка на шкафу оказалась воплощением совпадения. Вечность не обязательно означает — «всегда». С чем совпадала буква, отыскивая себя в райской нечленораздельности предощущения? Для пустого-свободного сердцем все делается само собой. Близнецы. А по прошествии еще какого-то, не учитываемого времени бабушка, уставясь перед собой разбитыми, как меловые птицы метелью, глазами расскажет о том, что Манн умер «очень хорошо, дай Бог каждому» — то есть лицом к стене, не просыпаясь. Глубокое дыхание. Такова пневматическая фабула. Прав — значит спокоен. Не пристало существовать по иному археологическому объекту. Не знаю, какой смысл заключен в последнем слове. Является ли отпечаток заполнением пустоты или же ее образованием? Лазурь наносится на изделие тщательной и опытной рукой. Является ли знак отпечатком? Рекой? Я давно не жил в тех местах. Остальные также в мое отсутствие. В комнате было не прибрано и воняло скисшим пивом. Возможно, «эпизод» и «фрагмент» в какой-то плоскости находят точку пересечения, если не принимать условные границы первого и второго. Их легкие, заметные только моему глазу, вспышки исчезновения не колебали пламени ни единой свечи.

Сон был напылен на каждую грань вещи, наделял их неодолимой непроницаемостью, превращая в подобие ряда от-

рицаний, из которых каждое должно служить доказательством несостоятельности следующего, равно как и предшествующего, но сумма которых, как и суммы безмолвия и голосов, иногда побуждают разум думать о вероятности преступления тщеты ожидания. На меня падала сверкающая стена воды, в толще которой метались, загадочным образом оставаясь неподвижными, красноперые рыбы. Переместив взгляд от ламп, летящих назад по стене, к полной пожилой женщине с тяжелыми сумками у ног, я подумал, что такое место допустимо только в качестве условия возможного к нему отношения. И что оно уже всегда оказывается изъятым до того, как сознание начинает к нему «приближаться». Параллельно я думал о том, что осознание таковой изъятости понуждает мысль стремиться к месту отсутствия, где она не то чтобы исчезает... Никогда не представляла, что сун-сы так красивы. А потом пришел опоссум. Нынешнее лето перебросило мне через стену мешок, в котором трамвайно лязгают кости зноя. Луна за все заплатит. Главное не спешить. Но что ожидаю я встретить в месте, которое буквально является *не-присутствием* места? И где не «живет» никто из тех, кого я знаю, мириады обрывков разговоров которых неотступно оплетают мою голову изнутри. Бесспорно, слова утратили принадлежность, следовательно, значение, — слабым налетом смысла в них брезжат кристаллы интонации, из которых складывается то, чем довольствуется ум, не оставивший ни единого зазора между собой и чертой, обручающей отсутствие намерению постичь это отсутствие как сущее, как *есть*, как одну из конечных областей, куда должно было бы простираться мое существование, уверяясь в ложности собственного стремления. Далее для мысли не оставалось, выразимся так, оперативного простора. Она попадала в ситуацию мгновенного переозначивания. Если не ошибаюсь, вопрос Витгенштейна состоял в следующем: совпадает ли дыра с собственными очертаниями. Замерзшая креветка, вода по щиколотку, летний снег по ночам.

Пожилая женщина улыбнулась и, кивнув на сумки, сказала, что, вот, дескать, так каждый день. Легче всего предположить, что, обращая подобный вопрос к себе, я мог бы спросить — совпадает ли моя смерть с очертаниями моего существования. Если да, в какой его версии? Если да, то *что* определяет *что*? Ответным кивком я дал понять ей о своем с ней согласии, ничто не вызывало возражений — «действительно, так бывает каждый день». Конечно, это головокружительное смещение в еще более непостижимом и абстрактном смещении можно было бы приостановить в один миг. Но при условии серьезного отношения к себе, вплоть до собственного тела, то есть — как ты бы сказала — прошлого.

Известно, процесс возвращивания телесности долгов и не имеет окончательных результатов. Чтобы стало понятней, я сравню его с процессом овладения языком; как если бы язык существовал до «овладения» им.

Иногда я улыбался, воображая простоту какой-нибудь фразы наподобие: «что дела мои без Бога!» или: « — — / — — !» Возникая из холодного марева скуки, они утверждали меня в мысли, что страх и ограниченность, порождая грезы о некоем единстве, тешат себя надеждой избежать стыда, — здесь надлежало бы говорить об отвращении. Подобным высказываниям, а они встречались среди других постоянно, я искренне радовался. Но «понимание» и есть именно та переходность, которую означает существование или, если быть точнее (насколько это возможно теперь для меня), его (но происходит ли оно из «меня» либо уже принадлежит мне?) экспансия, то есть место, где оно происходит. Причем я не сказал бы, что мне самому этого чрезмерно хотелось. Я видел генералов холоднее льда и тверже камня, но я видел и то, как они превращались в мутную лужу талой воды. Все дело в климатических условиях и сексуальной ориентации нации.

«На фотографии я с мамой.

Чувствую, это конец, говорит он».

Что чувствуете вы?

А, ощущая, вслух спрашиваю — конец чему? Смех измеряется литрами. Тогда каково было начало и обучали ли ему, как, к примеру, обучают управлению машиной или рукой — овладение, «одевание» властью? Иногда я (но объяснить можно все что угодно) прикасаюсь к фотографии пальцами. Чего я жду? Следуя смутному импульсу, прикрываю глаза, жду, как если бы что-то после этого должно произойти. Фотография напоминает пересохший сыр. Нет, говорит доктор, это не так. На самом деле вы возвращаетесь к своему репрессированному воспоминанию о змее, которую пожирали муравьи. Нет, доктор, тут я возвращаюсь в очевидно феноменологическом смысле — просто возвращаюсь. Никуда. Однако зная, что присутствую при возвращении. Это возвращается к вам ваша Тень. Отнюдь нет, мы убираем прописную букву и тень уже никуда не возвращается, более того — она не вращается и пребывает в неподвижности, как сухое дерево на припеке. Мы жжем тень и греем ладони на ее призрачном пламени. Иногда снимок можно сравнить с концом сентября или с выжженной в глине клинописью, которая никогда не разольется вдребезги в какую-то из будущих зим у ног. Итак, мы молоды, исполнены сил и читаем Драгомощенко. Что рассказывает нам Драгомощенко? Что-либо о долготе и ударе в квантитативных размерах? О спондеических, ямбических окончаниях? О карлах, единорогах и немых принцессах? О жидках и вечерних умилениях? О том, что невыразимо счастлив, живя в стране, избравшей свой особенный куда-то путь? Увы, при всем его желании (сомнительном) ничего нового Драгомощенко ни нам, ни себе не расскажет. Ход его повествования отменно известен. Он определен прежде всего закрепленными элементами значений, а затем способами установления связей этих элементов. Вначале он прибегнет (как однажды выразилась некто И. в своей к нему записке, переписывая один из фрагментов «Ксений» в соответствии с собственной стратегией критики его письма) к практике совлечения «вниз» сентенций, которые по мере накопления

обратятся в манифестацию. Потом — об остальном. В частности о том, что мне было отказано в рождении. Взамен я получил право на присутствие, которым ни разу не воспользовался. Об оставшемся я ничего не знаю. Так же как я не знаю, кто такой Драгомощенко и кому снится он в чтении. Не было ни «одного», ни «много». Либо в чем воображении возникает «его» образ при чтении следующего предложения, в котором говорится, что:

«мне не удалось дозвониться до И., так как на конверте отсутствовал обратный адрес. Возможно, если бы я его знал, я смог бы узнать и об остальном, во всяком случае больше того, что мне известно. Мне бы хотелось, чтобы И. прочла это предложение и, если возможно, возникающее за ним. В дальнейшем мне бы также хотелось, свешиваясь, скажем, с крыши, щуя глаза от солнца, увидеть И., выходящую из-за угла, и приветственно махнуть ей рукой».

Я не знаю, о чем стали бы мы говорить с вами, но (в это мгновение) я ощущаю, как что-то уходит, и удержать это мне не под силу. Я намерен зачитать эту, покуда всего лишь неполную, страницу как письмо вам, что вполне возможно рассматривать и как письмо себе, потому что лучшего случая было не придумать, хотя воображаемые беседы всегда доставляли мне смутное ощущения действия, в котором произносимое изначально противоположно системе жестов, сопровождающих или предворяющих (здесь нет различия) возможную часть высказывания. Как вы догадываетесь, я намереваюсь говорить о поэзии. Но, по обыкновению, стоит только заговорить о ней, как множество других голосов, слышимых и абсолютно безмолвных, тотчас принимают говорить о чем-то другом — о началах, поражениях, победах, невероятных сражениях, ожидании и самих словах, из которых берет начало речь, обращенная к ним же самим. В этом круговороте бесспорно завораживающей логики и воображения отсутствует одно — возможность преткновения в каком-либо вполне бессмысленном вопросе. Мне бы хоте-

лось обратить ваше внимание на то, что я намеренно отступаю от чрезмерно легкого сближения ответственности и способности отвечать, то есть изменять свою природу в со-ответствии с вопросом, или, иначе говоря, способности превращаться в идущее навстречу спрашиванию. <...> как видите, я намеренно не приемлю возможность избежать в риторике даже не столько ответа, сколько самого вопроса — почему я (если кто пожелает, чтобы сказанное было обращено к нему) в какой-то момент своей жизни предпринял (не нашедшую между тем своего разрешения) попытку отыскать предпосылки или, если угодно, «истоки» моего тяготения к заведомо бесполезному занятию сочетанием слов. At last I am sitting down watching the rough edit, I was struck by the nostalgic tone that suffuses the text and must therefore have suffused our letters. And in retrospect it seems paradoxically prophetic that we experienced «getting to know each other» as an experience with the past, since, at least in your case, the world in which you became yourself has suddenly, if not apocalyptically, vanished. Но я рад, что дело идет к концу; конечно, было бы намного легче знать раньше, что все дело с изданием (хотя едва ли и теперь представляю всю эту историю с нашими письмами в виде *некоего романа*, невзирая на то, что в разные времена мне удалось чуть ли не во сне увидеть несколько его фрагментов) все же обретет форму. Maybe cultures — societies — are always manifestations of the past, rather than the future. Certainly we look back when we attempt to explain them. И речь идет не столько о «формальном решении» (в чем я себе привык доверять), сколько о его включении в ряд существующих в моем опыте и представлении фактов. «Книга», «дверь», «мокрые ботинки», «действующее законодательство», «сны», «телефонный звонок», «пиво» и далее — мало-помалу обретают равенство в законах своего существования и потому относятся ко мне в той же мере, как я к ним. Какого рода эти отношения? Легче всего их будет описать как состояние неустойчивого перемирия. So what we wrote, when we wrote to each other, was a kind of history. Но воз-

вращаясь к «письмам» и тому времени, могу лишь догадываться, что *раздражение*, возникшее у тебя при обращении к ним (by nostalgic tone, ponderosity etc.) и посещавшее меня всякий раз при воспоминании о них спустя время (что, признаться, и было причиной более чем рассеянного чтения последней версии), вполне объяснимо. Хотя бы потому, что любое письмо (not a «letter» in this case) по своей сути амбивалентно. That's very different from poetry. I remember (more remembering!) when we first met. Because of something you said (or something I thought you said) I was drawn to know more of your world, but the world in question was not «Russia» but «writing» You said that as you wrote, each word changed from Russian into the language of another world. Будучи действием стирания настоящего, включая и самое себя, оно производит пространство актуальной незаполненности («ожидание», «предвосхищение») — именно это «пространство» становится искомой «продукцией» письма, его «произведением», «производным»: его *реальностью*.

Или же только возможностью реальности — тем нескончаемым началом, на которое *изначально* обречена литература, чем бы она ни притворялась. Пишущего, если, конечно, он не «просит», скажем, о деньгах, спасении, сострадании, можно сравнить с человеком, который, пытаясь рассказать в чем-то важную для него историю, постоянно перебивает себя же невразумительным бормотанием типа: «нет, не так, все по-другому». Но что значит «по-другому»? Что означает «всё», что означает «нет, не так»? А как?

In wanting to know this other world, I never thought of it as unrelated to Russia — I knew you weren't suggesting that poetry constitutes a fantasy realm, utopian or otherwise. Nor did I think of it as unrelated to my place. Nor, finally, did I think you were suggesting a «universal» world — free of national boundaries, language barriers, etc. But I did think of it — and still do — in your work and in mine — not as «the real world» but as «the world becoming real». Но именно это «нет, не так...», насколько мне кажется, залегает в каждой клетке письма, являясь, по-

видимому, одной из главных его мотиваций. Что же было в нашем случае? Когда мы обменивались мнениями по поводу совершенно непритязательных слов и понятий, которые, казалось бы, не должны были вызывать никаких сомнений? Но как бы писатель ни стремился сказать сразу и обо всем, это, непостижимое с одной стороны и понятное с другой стороны, задание предполагает в итоге одно — неудачу, пресловутое «нет, не так». And, curiously, despite the emphasis on memory that dominated our letters to each other, in combination with the images of future work it is now not unlike a poem — a world becoming real. В моей последней книге «Китайское солнце» есть фраза: «Предпочтительней писать о том, чего никогда не будет, — о смерти; или же о том, чего никогда не было, — о детстве». В самом деле... прошлого как бы и нет. Отдельные факты, удерживаемые памятью в той или иной последовательности, сцеплении, остаются изолированными фактами, извлеченными из определенного момента времени (не исключено, что отсюда порой проистекают их таинственные и головокружительные очарование и несхватываемость). А впоследствии становится другое — не сами факты, не сами события — но то, как они соотносятся с моими/твоими намерениями сегодня, с моим сегодняшним желанием, интенцией. When we wrote to each other about «books», we both tended to focus on our first experiences with books — our first encounters with them, when they were still strange objects, almost forbidden, or at least arcane, containing indecipherable information, hidden knowledge — and, of course, promise. That's fine — though perhaps obvious. Neither of us spoke of the more «technical» uses of books — the ways poets plunder books (and not just dictionaries) for words — for worlds that gather around words rather than emerge from the very limited imagination of an individual. Позволительно допустить, что прошлое в какой-то мере также приходит из будущего, из его предугадывания. Мы как бы движемся навстречу тому, что уже было. Станные воспоминания, странные наития... Вероятно, припоминания, вовлеченные тогда в наши размышле-

ния, проецировались в желание увидеть/написать как прошлое, так и настоящее (в котором мы находились, включая само действие письма) — в некоторое, отстоящее вовне, будущее. Иными словами, сам проект еще не завершенного обмена также сносился нами в ряд воспоминаний, о которых шла речь. And neither of us spoke of bibliomancy — or of that weird form of it that makes a book, opened at random, seem to be speaking of just that idea or object about which one had been thinking. So, for example, I open a book here on my desk. It's «Error 404», a text I am to teach this week, and this morning I opened it at random (and, as it happened, at page 93), where the first sentence to jump to my eye says, «Neighborhood means: dwelling in nearness». That's terrific! Politically — and, of course, geographically — nearness may be difficult, unlikely; artistically, one can imagine that it is becoming inevitable.

Как и у многих других, дни, данные мне, складывались сами собой, не требуя с моей стороны усилий. К примеру, я замечал, что лгу невольно и незаметно для себя (чаще для окружающих) не столько из-за боязни попасться на различных прегрешениях, из привычного переживания которых ткется ткань нашей монотонной жизни, но по причине тонкого, отчасти злорадного удовольствия изменять соотношения вещей и соотнесенности между мгновениями происходящего, словом, из желания наделять факты значением событий, ключи от толкования или, если угодно, понимания которых находились бы в моих руках. «Лу, злые люди не поют песен, — отчего же их поют русские?» — о, бедная-бедная голова, горный воздух, гремящий пуговицами и металлическими орлами, фортепьяно, постукивающие в садах Гесперид: «как же ты мог жить столь долго, скрывая ото всех столь искусно скроенный главный замысел своей жизни?!» Если бы не чертежи, оставленные сестре в предгорьях Нью-Йорка, что бы досталось нам? Хрустальная ваза? Молот? Валиум? Окружающее точно так же стремилось сделать меня своим соучастником, вовлечь под любым предло-

гом в свой сценарий, чтобы окончательно уверить в собственной нескончаемости, в которой любая его ложь рано ли поздно, но неминуемо оказывалась истиной. Только я могу свидетельствовать о критянах. Именно поиски «истины» предлагались мне в виде инструмента познания. Здесь уместно напомнить слова Миямото Мусачи, пользовавшиеся в 70-е у советской интеллигенции необыкновенной популярностью: «Под воздетым мечом разверзнулся ад, вселяющий дрожь в твое сердце. Но продвигайся только вперед, ибо так обретешь землю сияния». Впоследствии интеллигенция переметнулась к *кротости*. И в том, и другом, и третьем — «к себе», «в себе» и т.д. — таилась западня какого-то туманно-фальшивого вызова (как мы могли забыть о святости!), который, к сожалению, я не мог принять, предпочитая свое собственное время, где, будто во сне, мир видит себя таким, как он есть, каким он отражается за стеной моего зрения. Развивая это положение дальше, можно было бы выразиться следующим образом: если мир мертв, ты должен доказать ему, что ты мертвей его во сто крат. Только полное безразличие позволяет мне перемещать пальцы по клавиатуре. Неуловимое смещение тени на потолке. Я не сказал, что я пишу, скорее я перебираю возможности сочетаний, скорости их смещений. Так ли существенно, если в какой-то момент мне сумеют доказать, что он жив. Привычкам не следует отдавать слишком многого, освобождение грозит катастрофой. Существенно иное — мера взаимоотношений. Но, разумеется, в изложении такой логики нет должной последовательности и много очевидных изъянов. Касательно определения меры... Смерть бессодержательна. Именно у ее края мы проливаемся. Споткнуться и все пролить на пол. Части воображения. Мало того, что оно поспешно, оно — необязательно. Тем лучше. Я, как и все, ничего не понимаю из того, что говорю. Разве возникает в моем воображении картина «дерева», когда я произношу слово, его обозначающее, или еще глубже впадаю в полусон руки, перебирающей пальцами по клавиатуре? Небо за спи-

ной располосовала молния. Я даже склоняюсь к определению — *открыла*. В данный момент оно мне кажется точнее. Но сколько просуществует данный момент? И что означает в моем случае «точнее»? Хочется ли мне передать наиболее полно ощущение, которое я, допустим, испытал, заметив отблеск молнии на экране, либо совершенная неспособность продолжать (праздность? слабость? равнодушие?) побуждала меня обратить внимание на первое, что попало на глаза. Если передать, то кому? По какой причине? Каким бы я образом смог описать (согласен, это отнюдь не описание) неразличимость? Приходится признать, что никакого дерева нет. Как нет и смерти. Поскольку нет никакой картины, образа ни того, ни другого, ни третьего. Что возникает в сознании при чтении чисел? Возможные иные числа? Может быть, последнее, что осталось с поры детства, — это мерять все яблоками, загибая пальцы, перекладывая камни. Точно так же я вынужден воображать себя так, как видит меня кто-то. Если убрать кого-то, вероятно — говорят — возникновение ощущения самого себя, обязанное самому себе. Но я ничего не понимаю. Я животное (оправдание). Точнее, растение с изъеденными кариесом зубами, изнывающее от слепого страха ежеминутного пребывания здесь или там, или до здесь, или за там. Это как в темноте, на ощупь вместо привычной стены ничего не нащупать. Рука проваливается. Иногда я делаю вид, что мне грустно. Потом забываю об этом. Иногда я разговариваю сам с собой, думая, что только одни звезды слышат меня, но мне отвечают люди. Приходится им отвечать, то есть скрывать истинные мотивы моего желания говорить. Иногда я рассказываю им о дереве, о черешне, которая росла у меня во дворе, накрывая ветвями крышу дома, под которыми весной и в начале лета я скрывался все то время, что мне было положено находиться в школе. Количественный перевес умерших над живущими понуждает верить в неизбежную встречу — иначе не понять, чем определена столь неукоснительная последовательность в соблюдении такого неравенства. Вот, и в книжном шкафу

вышитые дубовыми листьями шелковые занавески были неодинаковой длины. Завтра будет вечер. Сегодня он уже был. Неравновесие света есть природа зеркала.

Надо отметить, что иной раз мне доводилось переживать значительные неудобства. Но было ли уж так велико вот *это самое* желание? И точно ли неудобства казались столь затруднительными? Ответить на вопрос видится мне затруднительным.

Повторяю, все оговоренное и многое другое происходило как бы незаметно для меня, и память никогда не вовлекала меня в зеркальные лабиринты сравнений. Никаких прорицаний. Признаюсь, сначала мне был чужд вкус аналогии... Позднее я почувствовал, что подобное ощущение может означать отсутствие вкуса поражения. О котором, откроюсь, я постоянно мечтал, так как мне стало претить разреженное «сияние» нескончаемой победы. Прошел поезд. Ворота осени. Проблеск листа, вмерзшего в воздух. Сделать шаг или два — к легкой ветви; тяжесть ветра ей непосильна. Далее шепота тихий холод в ясности пробуждения. Птичий крик, дыма извилистый стяг. Липкие от пота пальцы не позволяют преисполниться подлинной бескорыстности при работе с клавиатурой. Каждое прикосновение требует завершения. Даже в точечном щелчке. Завершение как единственная мера в кружении на месте. Вопрос: что увидит луна, когда кончится дождь, когда пройдет поезд, когда захлопнутся ворота осени? Письмо оканчивается банальной фразой: «только взгляд, настигающий уходящий взгляд, — таково зрение, ведущее к тому, что зовется вещами». Мне не нравится. Мне отвратительна погода, лица, обрывки фраз, которым я обречен. Несколько растративших себя вещей, речь, разбитая, как сельская дорога, липнущая грязью, — увидит ли себя луна на рассвете в этих местах? Тонкие диагонали пейзажа импонируют.

Мой босс часто упрекает меня в пренебрежении обычными (?) правилами, а без них, по ее утверждению, какими

бы прозрениями мы (вот-вот: кто это — мы?!) ни блистали, мы (опять «мы»!) не смогли бы заработать даже на чашку кофе. *Terre arable du songe! Qui parle de batir? — J'ai vu la terre distribuée en de vastes espaces et ma pensée n'est point distraite du navigateur*, гласит screen saver. Я пользуюсь чужим компьютером. Равно как деньгами, словами, снами. Будет ли моя смерть чужой в той же мере, как жизнь? Так надо. В подобных случаях я обычно молчу. Мне не о чем. И в других также. Объяснение в любви есть упражнение в косвенности использования метафор. Приближение нескончаемо, подобно падению в призрачных колесах галактик. Удивительно, но мне *не с кем* спорить. Действительно, так надо. Я даже готов допустить, что — незачем. Но каждому необходимо спешить, по щиколотку в воде, под сводами черных тяжколиственных деревьев, спешить, поскольку наступает вечер, обнаруживая в спешащем еще большее уродство. Я забыл, зачем я стал обо всем... этом. Необходимо произвести немедленный переучет всех происшествий, послуживших импульсом для занесения их в реестр реального, и прежде всего никогда не случавшееся. Кажется, с самого утра, когда я добрался до конторы, не переставая лил дождь всегда и потом. Тогда посредством яблок мы вели счет дням. Также изменения прилагательных по всем сюжетным линиям. Я сварил кофе, опрокинулся в кресло перед замызганным Zenith'ом, а дождь все шумел в колодце за окном, от которого отделяли всего-навсего стекло и белые жалюзи. Вот тогда-то телефонный звонок, приходит ему на ум. А никто и не подумал поднять трубку. Кофе готов. Разумеется. Включился ответчик. Никогда и никому не оставляйте никаких сообщений. Все сообщения — туман, оседающий изморосью на крыши, тротуары, предметы. Голос, туман, неопределенность, а когда и просто жестокость. Какая, возникает вопрос? Кому жаловаться? На чье имя писать заявление? Не знаю, не знаю — принято так говорить; как принято, так и говорится. Вот — дерево. Дерево ли это? Нет, это карта Петербурга.

«<...> если ты где-то там, то проснись! Нет? Ну, тогда слушай. Я мало что знаю касательно предмета, который тебя интересует. По-видимому, подробный отчет потребует более долгого исследования. По поводу же самого культа — я не совсем уверен, какой ты имеешь в виду. Я про это мало что знаю, знаю одно — что поклоняются они духу Гурджиева, и их место расположено часах в двух езды от Сан-Хосе. Народу там собирается до двух тысяч, иные живут постоянно, иные приезжают. Чем занимаются, пока не разузнал, хотя узнать можно, но это потребует, как уже говорилось, времени, — боюсь только, начнут они меня охмурять. Ты помнишь ту историю с мормонами? Сначала я было подумал, что тебе нужен Дэвид Кореш, но он сгорел в буквальном смысле, после того как фэбээровцы напали на него с танками. Очередная жуткая история. Сам Кореш (с ударением на последнем слоге!) занимался распечатыванием семи печатей Давидовых. Почти все уже распечатал, но стукнули на него, что его люди собирают оружие у себя в бункере. Собирали они причем абсолютно легально, но слух был, что переделывают кое-что в автоматическое. Вместо того чтобы выследить его и взять за пределами бункера, ФБР дождалось воскресенья, когда все 80 человек, включая женщин и детей, сидели в бункере и занимались своими печатями, окружило их танками и вертолетами и предложило выходить по одному. Потом принялись их распечатывать. Те отстреливались, продолжалось это дело неделю, потом просверлили дыры и стали газ пускать, тут все и загорелось — может, Кореш с корешами сами подожгли, а может, и нет, короче говоря, все сгорели, человек десять выжило, их теперь судят, а заодно и ФБР судят за полное и преступное непонимание сути культов. Я считаю, что ФБР тут (а вместе с ним Управление по делам алкоголя, табака и огнестрельного оружия, которое, собственно, всю операцию и провернуло) оказались полными мудаками, которым захотелось покататься на танках и пострелять — и результатом чего явилась такая вот трагедия. Ну, все, бегу работать, в забой, в шахту, давать

угля на победу капитализма. До понедельника мне не звони, я отъезду в Пало-Альто, там в филиале, скажем так, возникли осложнения. Тоже... странная ситуация. О чем при случае».

На том конце положили трубку. На этом конце было весело. Там — не уверен. Старик, ехавший на велосипеде с мешком за плечами, смеялся как зарезанный. Она стала появляться в снах. Будто бы я на конференции где-то в Нью Джерси или Милуоки, возвращаюсь в номер, чтобы переодеться, одежда от жары прилипает, как плащ Деяниры, от чего ее нужно скатывать наподобие резинового клея, в египте которого спят туго спеленутые насекомые и во сне своем медленно и непреложно идущие к сердцу, тогда как она уже появляется из душа и, главное, она (что я теперь знаю наверняка) есть сестра той, которую мне нужно непременно вспомнить и чье имя высверливают в мозгу оттаивающие хризалиды, обещая нет-нет да и воссиять образом буквы, непричастной, непойманной, пустой и хрупкой, как хитиновая поросль надежды, а я только угадываю ее черты в чертах ее сестры, а в окне совершенно другой вид, кажется, Каменец-Подольский... но собрать их во что-то неопределенное нет никакой возможности, есть только то, что есть. Невероятно трудно избавиться от одежды. Под длинным халатом на ней кроме белых носков ничего нет. Она садится на край постели и, раздвинув ноги, наклоняется, чтобы подтянуть носок. Уверен, она испытанно сообщает чарующую необязательность суждениям и, паче того, воспоминаниям, но за нее приходится расплачиваться многим. Влажные волосы — последнее, что оставляет сон. Остальное придумано. Однако мне нужно лицо, что так и не нашло собственной неопределенности в пределах путешествия.

Мой босс (женск. рода) мне нравился... Появление смеющегося старика на велосипеде понуждает вспомнить иерархию карт Таро. Элегантна, приличные связи. Иногда мы

утешаем себя на ее столе, где ни единой бумаги. Когда она вступает в брошенную на пол юбку и слегка наклоняется, будто ей нужно ступить в бассейн или подтянуть носок, она становится похожа на Фанни Ардан. Тогда мне опять становится неловко за свои грязные ноги. И я в очередной раз лгу, давая в душе себе слово никогда больше их не грызть. Минуту спустя я забываю о наших отношениях, зная, что ее воспоминание о них (обо мне) будет длиться не дольше; — и так до тех пор, покуда, выйдя из душа, не предложит *«выпить-день-был-длинный»*. Wind chimes. При всем том ей не отказать в проницательности. Но прежде всего в умении одеваться. Возможно, ей присущи и другие качества, но, догадываюсь, намного менее ценные, чем только что упомянутые. Как ее зовут; звонок телефона; воображаю, что это Карл; думаю, что ему еще долго будет не до разговоров. Факт третьей чашки кофе, сигареты, нескольких фраз; точка с запятой. Податливость клавиш упоительна. Реальность неустанного стирания. О. Лоб так не считает. Подперев щеку рукой, он читает, кося глазом к шевелящимся губам (день выдался нелегким):

«На месте, где произошло совпадение старухи и машины, было пусто. Небо заволокло белесой пеленой. Все стало расплывчато и скучно. Диких посмотрел под ноги (интересовался ли он следами? Любопытно, кто звонил...), пожал плечами: из окна первого этажа на него глядело лицо не то ребенка, не то — без возраста. Разбить банку. Отпустить птиц и червей на волю. Перед условным существом стояла шахматная доска. Белые имели позиционный перевес. Дождевая капля упала на черную клетку. Ребенок (или же урод?) был небрит. (Кому оставить безбородое лицо лилипута?) Слово всегда переносит в расплетения письма, в прядях которого не существует места слову и для слова, даже для самого определения слова. Урод молчал. Так молчит земля, смущенная искажениями в соотношении звучаний. Сочинение, повествование — надежда на приобретение движет ими,

мной. И потому столь невыносимо долго идет дождь, умножая себя в гуле колодца. Возможно, что повествование является одним из условий развертывания рассказа, а точнее, образования узла, то есть одновременно как связей, средоточием чего он является, так и “места”.

— Со всеми играешь? — картинно прищурясь, спросил Диких. — На деньги? — А сам пощупал пиджак, извлекая из внутреннего кармана сигареты; повертел пачку в руках. — На деньги, любезный, играть дурно.

В небе три солнца. Маловато будет. Но мы дождемся десяти. Главное — терпение. Спешить некуда.

Некоторые из нас помнят месяцы затяжных, тягостных дождей и ночей, казавшихся ночами втрое. Угасшие огни хранились на дне зрения, точно камни неправильной формы. Попытайся снять. К тому же мокрые листья, как много, или же насколько мало, и тогда зачем. Сожженная материя слуха, кремневая пыль, сады, которыми были расшиты хромированные склоны никотиновой бессонницы. Туман там едва-едва перемещает не сотканное пространством мгновения — они существовали, но будто до своего “рождения”, а остальное относилось к ряду незначительного, в том числе и простирающиеся тени некогда именовавшегося страхом. Но что для тебя никогда не существовало, изначально упускалось из виду, из словаря, синтаксиса, будто за привычными оборотами речи иногда слышалось как бы не твое бормотание, мешая вернуться в только что уже сказанное. Как рыбы и травы, веки, как зрачки и строки, — дальше видишь его идущим под сводами сплетенных черными кронами деревьев. Каждая строка, слово, знак, возникая в средоточии ничто (узел), подобно чистейшему пеплу, погружаются в лимб. Не этого ли ты искал? При некотором увеличении — распахиваются дверцы, позванивают часы, ничто и никто не появляется. Разве не удивительно, что Новый год празднуется всю жизнь? Мы предполагали, что это случится только один раз, на исходе октября, когда понесет изморосью с залива, а птицы будут стоять на ветру, поднимаясь

выше и выше, неподвижные и бездеятельные, как ангелы, и ожидая этого мгновения, думали, что оно никогда не наступит. Нам солгали. Напрасно жечь сторожевые огни и бумаги, куда более как напрасно собирать черные хлопья в надежде на буквальное воскресение. Контур распадается вначале на прерывистую линию, затем на ряд соположенных точек. Они больше не обнаруживают иллюзии продолжительности в неотступном следовании за ней глазом, пространство также иссякает — точка безмолвна и точна, так же как и прерывна в безначальности.

— Кто хочет, тот и играет, — кивнул ребенок. — Кто хочет, тот и проигрывает. Но, если честно, народа мало здесь ходит. Все больше ездят.

— А ты что, все время здесь?

— То есть что значит “все время”? Я здесь родился. А вы?

— Я родился там... — махнул Диких за плечо. — В Вашингтоне.

Лицо младенца, склонившееся над фигурами, было исполнено незримого вдохновения.

— Был такой район на Васильевском. Деревянный, — пояснил Диких и прокашлялся. — Бараки, дома такие из досок. Словом, Washington.

— Нет, — после раздумья сказала дитя, — там я никогда не был.

Затем сделал ход белой пешкой. Диких глянул на -доску.

— А где ты был? — спросил он.

— Да я мало где был, — сказал урод и нагло двинул черным ферзем.

— Плохо, — произнес Диких. — Вот тут ты поступил опрометчиво. Коню здесь угроза. Надо уходить.

— Далеко не уйдешь. У меня ног нет. Давно, — житель первого этажа потер небритый подбородок. — Зато у меня необыкновенно сильные руки. Однажды, когда на меня наехал автомобиль, я руками поднял его над собой. Чтобы не предаться погибели.

— К чему ты это мне рассказываешь? — спросил Диких. — Ладно, гляди... Очень хорошо. Пойдем-ка офицером сюда, господин Прокруст.

— Какой Прокруст? — не отрывая глаз от доски, сказала старуха. — Это еще что за новости? — На доску упала капля, на черную клетку. Капля медленно разлетелась на пыль. Клетка стала призмой.

— На дороге промышлял. Как ты.

— Да какой же вы путник! Вы в машине ездите, с револьвером, с женщинами, с телохранителями, с телефоном да музыкой.

— Ничуть не бывало. Я на катере езжу. Сто лет, как на нем катаюсь, — сказал Диких.

— Жалко.

— Чего это тебе вдруг жалко? — поднял глаза Диких.

— Не знаю, а если точно — здесь старуху машина зарезала час назад. Ее жалко. Вот закрою глаза и представляю, как шла она, бедная, все потерявшая в жизни, и лучшие годы, и любовь, и вкус к приключениям, шла и думала, наверное, о детках, не только думала, но и молилась за их души...

— Постой, какие же у старухи детки? — не выдержал Диких.

— А почему у пожилой женщины не может быть детей, если у ней было все на свете?

— Так ведь она все потеряла!?

— Ну а детки, видно, остались. Так было на роду ей написано.

Теперь хорошо было видно, что никакой это не урод, а прелестное дитя в голубой батистовой рубашечке, и волосы его отливают червонным золотом.

— Вот, тут напротив. Всмятку, — продолжало златокудрое дитя. — Ух, смотрите, дождь какой пустился. Здесь такая улица, что всего иногда жалко. Труба.

Не отрываясь от доски, полуробенек, полуурод показал рукой на живот Диких. Диких машинально подобрал жи-

вот, оглянулся, поднял голову к небу. Стало моросить. Стало скучно и долго.

— Не поверите, но я даже рад таким обстоятельствам, — продолжал из окна шахматист, жуя деснами. — Скверно вы пошли офицером! А я, грешным делом, подумал, вы меня задеть хотели вашим Прокрустом... Мол, без ног и все такое. Я-то читал про Прокруста. Ах, не надо было вам тогда пешку отдавать.

Диких не услышал. Он резко повернул и пошел прочь по Кирпичному переулку к кассам Аэрофлота, чтобы выйти к мосту, к Стрелке, туда, где ждал его катер и где вверху справа оплывает ангел, обернутый конфетной фольгой, со сладкой трубой в руках. На нем был его вельветовый пиджак горчичного цвета. Рубашку он сменил после обеда на темную, шелковую. Описание одежды — одно из важнейших условий поддержания напряжения интриги. Иногда служит в качестве ретардации.

— Постойте! Куда вы? — услышал позади. — Вы выиграли! Стойте же!

Диких остановился, не понимая толком, о чем речь. Ему хотелось немедленно написать письмо, в котором он, не обинуясь, изложил бы последовательно свою версию: Иван Петрович подходит к окну и думает, что теперь он знает, отчего на него с утра накатывает неизбывная тоска. Вера права, думает Петр Иванович, он действительно стар и уже ничего не сможет ей дать в жизни. Нужно смотреть правде в глаза. И еще думает Сергей Михайлович, что все проходит — и любовь к Вере, к детям, к делу жизни... От нахлынувших чувств он плавно опускается на колени и целует порог балкона.

Когда Диких оборачивался на голос, он едва успел увернуться от металлического полтинника, мелко и неумолимо летевшего ему в бровь».

«Ты больше не сказала ни слова». Из какого ромansa? Я стал тебя терять. Я убивал тебя медленно и с неопиcуемым удовольствием. Что является поводом беспричинного

беспокойства? Обязательные кусты бересклета. Иногда я это делал при свидетелях. Они оставались немые в обобщенном зрении, что никогда не становилось чистым наслаждением. После мне необыкновенно захотелось написать письмо И., я порылся в ящике, чтобы освежить память — выше говорилось о ее записке, — но ничего не нашел. У нас никто никогда не убирает. Скоро мы будем погребены под горами пустых коробок от кофе, пивных банок, бумаг и прочего мусора. Мусор неизбежен, как хорошая живопись. Ответить на вопрос, из чего состоит мусор, намного труднее вопроса о материи памяти или какая партия победит на выборах.

Чаще всего происходящее со мной оставалось непроницаемыми сцеплениями тех или иных совпадений, где вряд ли и более пытливый ум смог бы углядеть закономерность. Очень рано, насколько помнится, лет в 12 у меня в голове сложился четкий вывод — я достаточно внятно помню тот момент. Родители решили вывезти меня в Москву. Мальчик обязан был взглянуть на прекрасное сердце родины, на худой конец, приблизить к нему ухо, услышать ритм великой страны, довольно ему было прохладиться со всякими уличными подонками, голубями, драками, девками, проплывая по пляжам и стогнам города, отражаясь в дряхлых водах провинциального житья-бытья. Детство — та же провинция. Город напоминал настольную игру, правила которой заключались в само-определении. Все остальное — возвращение, траектория которого меж тем простирается гораздо далее точки воображаемого совпадения.

Поездка была чем-то вроде подарка на каникулы, несмотря на то что учебная четверть была окончена куда как плохо, к тому же в последнее время на педагогическом совете не раз поднимался вопрос о моем исключении из школы за многое, в том числе и за многочисленные стычки, в которые мне приходилось ввязываться по различным причинам, испытывая отвращение к себе из-за страха, который они у меня вызывали. С морды у меня вечно текла кровища:

узел проволочной шины, стягивавшей два передних зуба, торчал вовне, и при малейшей ошибке, малейшем опоздании, то есть если я не успевал уйти от удара, кулак противника, естественно, попадал мне прямо в пасть, а завинченная в узел проволока пробивала губу, отчего я, естественно, зверел и начинал «давить» удивленного внезапными переменами в ходе сражения противника. С другой стороны, эта отвратительная шина была чем-то вроде меча Демосфена. Ее жало, упрятанное во рту, обращено было, увы, на меня — малейший просчет карался незамедлительно и безжалостно. Нежные и безмолвные, мы вкусили блаженство ученичества под сенью платанов. Гарроту, то есть шину, мне затянули в сентябре, а в марте я и думать забыл о том, что значит пропущенный удар. И что было кстати, потому что я не относился к числу людей, голова которых хорошо их держит, — обычно в такие мгновения мне сразу же хочется прилечь, раскрыть книгу, подремать, в животе становится странно сладко и со всех сторон наезжает такой уют, что сопротивляться ему нет сил. Шнифт, напротив, относился к совершенно другой породе людей. Его можно было бы отнести к варне кшатриев, когда бы он не был брахманом. Могло показаться, что он даже немного бравировал своей способностью. Это качество, конечно же, обманывало его врагов, а их было у него немало — он был игрок, и это дело непростое, надо кое-что знать, чтобы остаться при выигрыше, а порой и только при своих, но главное, чтобы уйти подобра-поздорову. Но он «знал» людей, и поэтому он был игрок, он знал, как они падки на мелкую с оглядкой месть, знал, что те, кто садится с ним играть, а таких обычно бывало двое — тогда в буру играли втроем, — заранее ожидают от него, что он исполнит роль безмозглого барана, но у Шнифта вдобавок ко всему был холодный глаз, бритые пальцы и добрая порция безумия в голове, чтобы чувствовать не только свою, но и чужую карту, а ее еще нужно было хорошенько протереть в голове, понять, что к чему, но это было делом нескольких часов, да и не это было главным, он все равно выигрывал, пил

наравне и выигрывал, и когда спустя двое или трое суток наступала пора платить тому, кому это надо было делать, а их, как говорилось, бывало иногда двое, и они, как водится, заводились и наезжали на него, а у него уже, заметьте, и деньги оказывались в руках, — ведь надо было ко всему прочему уметь быть убедительным в своих доводах, — а так просто, на спички никто ни с кем не играл, рано или поздно нужно было держать в руках то, что тебе по праву причитается, то есть баранами оказывались они, а не он, что им, конечно, совсем не нравилось, и они начинали понимать, что тут им кроме неприятностей ничего не светит, их «нашли» и выбабли почем зря, причем безо всяких фокусов, просто им не препятствовали идти туда, куда им так хотелось, и вот тут-то те и принимались размахивать руками, руки их мелькали быстро, но Шнифт невозмутимо стоял и совал в это время деньги за пазуху, в то время как голова его дергалась туда-сюда — так он мог простоять сколько нужно, — и вроде бы глаза его были на месте, только очень красные от бессонных ночей и выпитого — чтобы не спать, но потом он как просыпался и включался, и это было приятно видеть, он слегка наклонялся вперед и начинал лупить. Я помню, как-то мы с Ласутрой случайно оказались в городском саду и наблюдали за одной из таких разборок: Шнифт, правой рукой еще засовывая деньги за пазуху, левой уже дал одному в рог; он прекрасно знал, с кого начинать — «с самого наглого», — и тут не изменил правилу, начал с него, ударил, и тот, опустив руки, как во сне, пошел на него. «Ночь Мертвецов» и все такое! — но Шнифт его пропустил, обернулся вокруг оси и еще раз попал ему в голову, но теперь уже сбoku и с выражением какого-то любопытства на лице, отчего тот будто устремился дальше, по направлению к собственной мечте, а мы смотрели, как из его уха начинает ползти кровь. На красной рубашке она застывала черным. Тогда все ходили в крашенных красных рубашках и зеленых брюках с широкими манжетами. Тогда все пели: «Я люблю тебя, жизнь». Через минуту хлынул летний дождь. У всех слип-

лись волосы, а Шнифт боком и вприпрыжку кинулся в пролом в заборе и был таков. Мы дрались всем чем придется — велосипедными цепями, насосами, залитыми свинцом, амортизаторами (свинчивались из секций), шлямбурами. Иногда мы дрались руками, но реже. У тех, кто не играл, денег не было, секс только снился (иногда в школе, на первых уроках, из-за эрекции тот или другой отказывался выходить к доске), однако насилия было вполне достаточно, чтобы уже и тогда потерять к нему всякий вкус. Я не был там вечно. Одно время доходили слухи, что Шнифта зарубил пожарным топором его ближайший друг Кроль, зарубил на углу у входа в гостиницу «Савой». Это случилось годом позже после того, как Пакуцу зарезали на Пироговской. Может быть, все было по-другому, не знаю. Я в том возрасте, когда собственные воспоминания легко путаю с чужими снами. Так мы прожили жизнь. Вначале одну часть, потом еще одну. Мы превращались в ходульное сравнение.

Все было так, но совершенно по-другому. Ночной сад, фигуры сидящих за столом, огромная черешня в редких плавающих облаках света старой лампы, стоящей на краю стола. Я перемещаю фрагменты свидетельств к иному центру тяжести. Накренясь и удерживаясь в скорлупе деепричастия, но совсем по-другому.

— Я ощущаю непосильное смущение. Сад огромен. Книга закрыта, и птица камнем падает в средоточие моего восхищения историей. Но этого недостаточно. Мое смущение берет свое начало в ином — тишине, царящей в душах сумасшедших, пред которыми сад огромен, но перед чьим величием они беспредельны. Мои мысли подобны военному оркестру, им не суждено встретиться со словом, так они тихи. Но так уж ли оно непременно? Ищет ли его мысль, либо суть его сны, разбиваемые множеством, влекомые необъяснимым желанием к собственному источнику и про-

ходящие через него, как обреченные божества, ступающие по песку и утрачивающие свою природу в соприкосновении с каждой его дробью? Так уж оно неизбежно, как перемещение фрагментов песка?

— Я знаю, что сумасшедшие обычно тихи, потому что зеркала для них есть лишь причина любопытства и последующего неискреннего отчаяния. Поэтому они предпочитают темные лодки, из которых в зной каплет смола; причина любопытства и отчаяния, я знаю. Под стать кораблям древних, они сшиты из ногтей всех умерших, из всех прочитанных книг, зарытых в воздух, как вода, чьи страницы прозрачны и холодны. Ищут ли они его? Иногда они трогают лицо и кричат, но крик их вызывает у окружающих только досаду. Весы выбора между тем и этим.

— Но тишина, странствующая в душах нерожденных, напоминает капли, не достигающие чаши времени — что встречает свой облик в ней? темные лодки и повторения? — чем исполнена она? тем, что никогда и нигде не находит своего отражения? Известно ли «времени» — «никогда». Такое противоречие нежно, поскольку изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ГОСТ 16617-87 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

— Я знаю, что время — это горячие, широкие мокрые листья, которые прикладывают к больным головам, в которые укутывают пылающие лбы и чьей черной прохладой остужают виски. Я знаю, что номинальное напряжение = В. Как много частей в голове человека, различного рода сегментов, полуокружностей, гордых линий, горячих и мокрых листьев!

— Такие лодки скорее создаются из отсветов коры и свинца, но эхо не может себя усвоить, холодное и прозрачное не может осуществить себя в существительном, оставаясь неприкайным признаком. Скрип камня под ногами — куда ни шло. Куда ни глянь, шелковистые ленты. Но нельзя сбрасывать со счетов и туман, равно как габаритные размеры, класс защиты, диапазон регулирования...

— Или же, к примеру, крики детей, настигающих без труда птиц в осеннем небе. Многие из них задумчивы, волосы их длинные, глаза зелены. Но иные славятся искусством сложения букв с ничтожными предметами и явлениями. В церемониях угадывания будущего их появление часто влечет ложь, потому что они вовсе не дети. И признаки их нестойки.

— Насколько я понимаю, эти существа никому не принадлежат. Не принадлежат, как я понимаю.

— В грамматическом плане — да; они намеренно предполагают иллюзии тавтологии. Но это не для нас...

— Так же молчалива и земля, находящаяся в самом центре эфира. Как добраться до нее? Как припасть к ее берегам? Для нас ли это? По силам ли это кому? Какова технология соединения мышечного усилия и образа? Металла и кислот?

— Вне сомнения, это известно тем, кто плывет в тяжелых ночных лодках по горящим водам, тем, кто понимает, что выносной датчик температуры подвержен влиянию потока прохладного воздуха. Укутанные в широкие плащи, они созерцают, как их отражения радостно сгорают в пепле огня.

— Но дальше так продолжаться не может.

— Нет, дальше так продолжаться не будет. Не усталость, но утомление. Продолжение чего сомнительно. Поэтому они называют своими братьями хрупкие формулы продления зрения и электроны, занимающие сильные позиции по ночам. Сестры их безупречны, владея империями сравнений. Каждая свое признание начинает с отрицания. Любовь их медленна, как закрытые губами глаза.

— Теперь очевидней, почему никакое знание не умещает в себе ни электрона, ни дерева, поскольку последнее особенно несводимо к результату. Возьмем любое из предстоящих. Назови его: бугенвиллея.

— Нет, тополь. Или же — обрыв в соединительном шнуре.

— Видишь, ты остался прежним. Какое бы имя ни произнес, дерево не станет тобою, а ты не станешь им. Вас все-

гда двое. Более того, у каждого из них есть сторона света и сторона тьмы. Как у денег, например, которые кажутся книгами. Вот почему ты начал с тишины сумасшедших. Но и незнанию не удержать дерева, оно слишком мало, чтобы обрести в нем себя. Но и ты не удерживаем незнанием.

— Бог похож на все это сразу. Все так, но совершенно по-другому.

— Да. Он похож на местоимение и на все буквы до единой, хотелось бы видеть, как они будут стерты с доски (имя собственное...) безо всякого умысла. И на сумасшедших, не знающих, зачем перед ними поставлены зеркала, ржавые радиаторы, проволоочные цветы и гипсовые улитки.

— И последнее, Кондратий Савельевич, едем ли мы в воскресенье за карпами? Остается ли в силе наш уговор?

— Хотелось бы знать, кто наконец теперь займется лодкой! — воодушевленно вставляет дед.

— Бог был похож на сон без сна, — негромко продолжает рассказ мама. Она перетирает чашки. И свет в ее волосах тот же, что и летящий вверх сквозь ветви черешни.

— На любовь, в которой нет ни следа любви; на смерть, чья нить ускользает от ножниц, на твое рождение, из которого ты изъят навсегда. Что там написано? Чей это почерк? Как черный флаг, сорванный ливнем и ветром. Летящий в ночь. Нет, это из другого источника. А внутри тела... что бы вы думали? — ничего. Ровным счетом ничего, кроме гула. Помнишь, как расстилались луга гула?

— Там другое, там написано: «руководство по эксплуатации».

— Тогда зачем я?

6 апреля 1939.

Что я имею в виду (и это касается того же издания о вирусах), так это то, что персонаж (взгляд) разорвал/а любовную связь с персонажем по имени 404. В серфинге довольно часто можно обнаружить, что «Ерогг 404» является сообщением, которые ты получаешь в тот момент, когда файл или

web site недоступен на том или ином сервере. Мне кажется, что ты точно подметил психотический стиль погони, преследования, поиска, о которых я думаю. Множество других голосов подсказывает мне, что дело обстоит именно так, а не иначе. Сегодня маму уволили с работы за допущенную ошибку. Она что-то положила не на свое место... Наверное, это была какая-то вещь. Не помню что. Таким образом, «взгляд» (являющийся всегда взглядом читателя, но что неизвестно ему до самого конца) блуждает по web sites, будучи погруженным в размышления о жизни и о своей любви к Еггю 404.

15 января 1948.

Я видел эти страницы, ты прав, они вспыхивали воспоминаниями о любви, унося назад; своего рода безумие, не отпускающее нашего бедного персонажа. Это похоже на то, как вспыхивают и сгорают гигантские звезды, галактики, и тогда слово *расстояние* становится смехотворным. С другой стороны, можно предположить, что 404 ввел в тело нашего персонажа некий вирус (измерение?), хотя он/она/оно не до конца питает в этом уверенность. И что становится известным нашему герою от другого действующего лица — «ДД» («дополнительного документа»), который в то же время играет роль психоаналитика других персонажей... хотя ДД также мог стать источником вируса. Короче, очевидно, что паранойи здесь больше чем надо. Но я настаиваю на их всецелом визуальном воссуществовании, на их настоящем присутствии. Пиши мне на адрес D137:bff404fl.

август 1952.

Идея взгляда меня интересует исключительно по причине того, что реален только взгляд (или вимдение), проникающее в киберпространство и на территорию сети. Говоря «онтологически», я представляю себе безымянное вимдение читателя, отслаивающееся от него/нее, живущее собственной жизнью. Но видит ли оно то, что может быть уви-

денным, например самое себя? В конце концов мы приходим к мысли, что ему необходимо убежище, где только и может возникнуть повествование, с которого мы начали, но таковым убежищем ему может служить только буквальное тело читателя, читателя его собственной истории, в которое оно погружается без остатка.

Так вот, — какой же информацией обладает вимдение?

Мне нравится твоя идея о том, что сеть — это театр. Определенно, это театральное существование, управляемое законами театра. Это и есть представление, пересекающее (рассекающее) пространство и время (какое пространство? Есть только нечто, отдаленно напоминающее «бергсоновское» время). Кто это сказал? Я. Ну конечно, конечно, не спору. Но если мы будем использовать преступление, тогда мы будем должны использовать и самое главное преступление, которое совершается в театре. И каким-то странным образом нам откроется то, что видит наш взгляд. Тот тип вимдения, что производит театр...

Да, ты меня спросил, видел ли я ее. Иногда мне кажется, что это была она, и она не хотела, чтобы ее узнавали. Хотя на этот счет у меня нет никакой особенной уверенности, и я просто ограничиваюсь произвольными заключениями.

— А дальше? — спросил Турецкий.

— Дальше ничего, — сказал о. Лоб. — На этом тетрадь заканчивается.

— Не может быть!

— Чего не может быть?

— Не может быть, чтобы в то время он так писал!

— Может быть... — сказал о. Лоб. — Все может быть. Именно в те годы он так и писал. Конечно, много позже его стиль разительно изменился.

— Что значит «много позже»?

— Ну... — о. Лоб пошевелил пальцами в воздухе. — Спусти какое-то время.

— «Бергсоновское»? Но вот что еще интересно: *кто* это сказал?

— Возможно, я. Но, между нами, — уже не помню.

Недоумение долго будет напоминать о себе. Дни, когда недоумение и все сразу ни на что не похоже. Спрашивается, жалость к чему? Ну да, не возражаю. Именно тогда я придумал, что она умерла. Мы лежали с ней рядом. За стенами сарая стоял изжелта-ослепительный полдень, под моими веками пульсировало мнимое солнце, а ее горячая рука лежала у меня на бедре.

— Почему ты плачешь? — спросила она.

— Потому что ты умерла, — ответил я.

— И что? Что осталось после моей смерти? И зачем тогда я? Ты не ответил ни на один вопрос.

Да, но я ожидал, что мимо окна мелькнет тень. Тень мелькнула мимо окна, к которому я не имел никакого отношения. Теперь был мертв я/он/он/они, вернее, мы оба, летящие к мнимому солнцу под моими веками, перемещавшему романтические фрагменты свидетельств закрытой книги и огромного сада, тоже входившего в повествование, сплавлявшего мельчайшие буквы. Они уходили в непомерную глубину умаления. Такова оптика. Таковы опасность, отечество, окружность.

Так или иначе, я стоял в тамбуре и, погружаясь в негу гипнотического состояния, в которое по спирали затягивала монотонность закоренного повторения одного и того же (стирающая вообще возможность различий), внезапно увидел надпись на откосе насыпи. Птицы клевали мои глаза. Они не отличались зоркостью. Ни птицы, ни глаза, ни остальные — среднего рода — люди.

Я никогда не был ребенком, ты права. Обычную для тех времен надпись, выложенную крупным, побеленным известью щебнем, — белой галькой в сказках мальчик отмечал свой путь. Скорость, преодолевающая дискретность: роль

всевозможных мифологий. Размытые белые пятна (сегодня я еще более близорук) гласили (не помню) либо: «*до встречи*», либо: «*берегись козлового крана*», а дальше все терялось, хотя я думаю, что поиски истинной надписи привели бы к лежавшей под рукой (надо учитывать возраст!) сентенции — относительно истины либо ей противостоящего. Каузальность небесной механики: гром следует за молнией. Акустическое присутствие наследует зрительному уже прошедшему. Казалось, мы были одержимы чтением молний. Гром представлял излишнюю и медленную чрезмерность. Задавая вопрос, я уже знаю, что ты скажешь в ответ. Невозможность обратной перспективы. Банальность юношеских откровений отнюдь не претит и сегодня, вызывая разве что привычное в своей терпкости чувство отрешенной грусти. Однако другие предощущения той поры, неловко и впервые переведенные на строго выученный язык, — не были ли они в той же степени неотвратимо смешными? Ничуть не бывало. Возможно, слова «истина», «ложь» вовлекались в отношения по причине отнюдь не желания установить их значения, но потому как они в свой черед являлись условными фигурами, скрывавшими в себе совершенно иные предпосылки вещей, связей, в крайнем случае их измерения. Возможно, такое прочтение было результатом аберрации зрения или произвольности угла, под которым мелькнули камни перед взором какого-то проезжавшего мальчика, которому в невероятно отдаленном будущем именно этот эпизод, касающийся рассыпающегося в белизне шипящих гранул зрения, вскипающего по краю вещества, потребуется для накопления времени, вернее, для внесения незримого момента случайности в повествование и для отделения себя от вымысла описываемого, то есть — достоверного. Эффект стереоскопии, оскопления привычного ветвления: все происходит до того, как разворачивает себя мгновение. Время излишне.

Так я сказал какому-то человеку, остановившемуся перед моим окном в ненастный летний вечер. Что я мог ему

предложить? Партию в шахматы? Одно или два забавных наблюдения? До сих пор не знаю, кто проезжал и где я об этом вычитал. Важна была не сама фраза и не то, что кто-то бесследно исчез; хотя и об этом, наверное, придется рассказать, но все в свой черед, даже чтение молний. Можно здесь остановиться, на мосту, над домами, глядя вниз, туда, где когда-то текла река. Открыть бутылку пива, после выкурить сигарету — вот родина. Оказывается, ничего этого не жаль. Ни реки, ни мостов, ни осенних наводнений. И это — просто. Что тоже несложно. Нужно быть уверенным в одном — в том, что у тебя не отрежут обе руки в знак неразделенной любви к собственному народу, невзирая на то, что таких народов тьмы и тьмы, причем какой из них считает тебя своей неотъемлемой принадлежностью, неизвестно. Это зависит. Тогда вряд ли обойдешься одной отрешенностью и грустью — придется учиться писать зубами. Чего жалеть? По стеклу ногтем. По песку водой. Нормально. А когда поймешь, что и это пустое, когда опять уяснишь, что мир является заурядной совокупностью возможностей, в которой величие и ничтожество имеют неоспоримое, не требующее никаких гарантий право являть себя в одном и том же мгновении, и что они и есть та самая безымянность исчезновения мгновения как такового, может быть, опять наступит пора понять, что нет ничего, о чем бы стоило писать. А никто и не пишет. В нарочито медлительном продвижении, слово за словом вести к концу предложения, к краху, к великолепной кратчайшей вспышке, настолько неосязаемой, что останавливается в странном веселье сердце и нелегко даже уму подыскать ей соответствие в каком-то возможном повторении, ни единому из них (вплоть до воображения) не успеть запечатлеть молниеносное распыление, когда на месте ожидаемого возникновения ничего не оказывается, и повисает нечто наподобие умозрительной пыли, нескончаемо долго оседающей на предметы, предвосхищения, вещи, воспоминания, с одной стороны, сохраняя их, принося в них неколебимую неуязвимость: навсегда; а с дру-

гой — привнося изменения в их очертания, — возможно, именно этим качеством неминуемого постоянства в незавершаемости ожидания преображения. Только утренняя пыль обнаруживает ток луча. Мы просыпаемся. Мир завораживает. Ты спрашиваешь мир: «Помнишь ли ты свою ночь?» Ответа нет. Забор остается непокрашенным. Но еще прекрасней созерцать увядание распыленного по нашим зрачкам луча, проносащего, подобно галактикам сновидений, то, что так и не стало делом существования.

И все же, если быть откровенным, некоторые усилия прилагать приходилось. При всем желании этого не скрыть. Многие годы я не без интереса наблюдаю за процессом моего вживания в то, что привычно составляет план нашей жизни, исподволь обнаруживая или, лучше, проявляя узор, имеющий отношение только ко мне, каковому отношению, кстати, я мало верю. Из каких составляющих она складывалась, сказать теперь так же трудно, как и ответить на вопрос относительно состава любой вещи, ее проекций, теней, времени. По части чего я и сегодня не совсем уверенно себя чувствую. Вероятно, следовало бы говорить о спасении. Но произнося это, я, к сожалению, ничего не представляю, будто проваливаюсь в тягостное выжидательное молчание. Если бы в этом месте, скажем, я заявил, что обожаю поедать собственные или чужие экскременты, уверен, окружающие бы вздохнули спокойней. Было бы понятно, что то, что я пишу, является литературой и ни на что более не посягает. Кроме, пожалуй, «тайны бытия». Но как был бы я счастлив просто заниматься литературой, разговаривать о заветных планах, легко и радостно парить, позволяя себе задумчивые рассуждения о возвращении чувствительности в словесность, о значении ангелов, о младенцах, электронных сетях, юродивых, храня особое выражение лица. Слишком много восклицательных знаков. Вполне понятно. Слишком много слов. Что тоже верно. Вместо этого, увы, я занят самолюбованием и измерением головной боли посредством металли-

ческого циркуля. Иногда кажется, что я все-таки знаю место, где от присутствия людей никого не тошнит, но я знаю также и то, что этого места мне не видать как собственных ушей. Есть, правда, и другие места. Из них я иногда возвращаюсь полным идиотом; а скольких усилий стоит каждый раз продлевать это состояние — неведомо. Редкие женщины (напоминающие мне меня самого) иногда в пылу страсти (отвращения?) или откровения говорят, что я похож на левантийского грека; я спрашиваю, где она видела левантийского грека, она отвечает, что на какой-то картинке (из тех, проносится в моем воображении, что укрыты инеем папиросной бумаги и пожелтевший угол которых сахарно надломлен), когда училась в институте. Я пытаюсь представить, что такое институт, и у меня откровенно не получается. Неудача следует за неудачей. Life is a life. Потом мне снится картинка, выполненная в технике сфумато, — некто в широких шароварах, с оселедцем на бритой голове, с лирой за плечом и с поводом, намотанным на кулак, выпуская клубы дыма, внятно произносит: «В наследство нам достался космос левантийских греков, но в результате рефлексии и ступенчатых (?) войн космос претерпел значительные изменения: теперь он преисполнен слабости, червив и нуждается в том, в чем сам признаться не может из-за собственной немоги, которую он ценит превыше прежней возможности замерзнуть в непроницаемый кристалл огня в ожидании времен половодья. Бог оставляет человека затем, чтобы человек узнал Его отсутствие. Но в незакрываемом времени оставленности человек постигает отсутствие Бога как явление его присутствия в Его же собственном исчезновении. Не возможен ни единый образ, чтобы отразить это отсутствие, где постигается возможность, предопределенность и полная несостоятельность того и другого. Возьмем еще пример. Говорится, мы «приближаемся» к смерти. Прибывание смерти очевидно следует из представления неуклонного убывания жизни, ее уменьшения, истончения, угасания в желании и замещения противоположным, однако в мгнове-

ние самой смерти жизнь свершается как ее совершенное прекращение, во всей полноте страсти и присутствия, не имеющего ни единого изъяна».

Грек с жестянки медленно опускает веко на левом глазу, и я едва успеваю увернуться от летящего прямо мне в лоб цехина. Боль снова оттаивает в зрении, рассекаемом линией, по одну сторону которой мы есть, а по другую — нас не стало, не было, не будет, а есть одно: возможность первого, второго, третьего. Оно делится на две части. Одна принадлежит мне, другая греку или той, кто мне о нем рассказывает, сидя на постели в махровом халате и белых носках, успешно притворяясь собственной сестрой.

Но в наших отношениях не присутствует и тени вражды. Звезды тускнеют, восток светлеет. Проходят дожди. Закончилась еще одна война. Потому что происходящее есть тайное совещание необходимых сил, и мы оставлены для того, чтобы свидетельствовать об этом в дальнейшем. Но ты, говорит она с долей удивления (скорее оно мнится читающему это предложение), находишься вне того, что я бы назвала справедливостью. Да, тогда отвечаю я ей, допускаю; наверное потому, что мне не совсем ясно, что ты имеешь в виду. И вообще, как можно говорить о справедливости, если с утра идет одна и та же карта, если второй день не прекращается мокрый снег, пейзажи впадают в нищету, денег нет, а в руках то и дело оказывается потерянная фотография какого-то грека с куском пищи в руках, стоящего на вечерней улице, когда верхние этажи домов сумрачно дотлевают алым светом, а внизу разлита прозрачная прозелень, которая — пройдет еще несколько минут — превратится в амethystовые дымные сумерки, как то обычно случается в этом месте, на углу Моховой и Пестеля, где ты ощущаешь, как мозг снова становится безлюдным средоточием всех улиц мира, а все вокруг кажется настолько реальным, что невыносимо хочется проснуться. Но идти приходится всегда по одной, независимо от стороны, которую выбираешь. И места.

Справедливо предположить, что в молодости именно такая экспансия представлялась единственной альтернативой тому, смутное осознание чего мы носим в себе задолго до разделения на *то* и *другое*. В слюдяные разрывы секунд по каплям втекала луна. Сок белены, лебеда под косой, бормотание гребли — бесцветное горение горла и волосы воды на стеклянном гребне ветра. Знаем ли мы, что *мы знаем*; как каждый из нас это знает, а затем, после, потом, тогда, точно блуждая в садах синонимии — ступая со ступени на ступень, вниз, третий пролет, упуская с неожиданной легкостью отсутствие опоры под ногами (вереск, едва уловимый хруст подмороженного песка и плеск, означающие теперь тонкое кольцо на безымянном пальце — вот еще одна подробность, уводящая от означающего к синестезии): *что* означает *каждый* для имеющегося у него знания? Теплый удар ветра рассеял споры. Столкновение с ветвью, с дождем, металлом, с пеплом. Я проходил здесь по многу раз. Важно понять, каким образом происходит процесс лексического отбора. Выбор того или иного слова есть акт сознания, создающий реальность, к которой за неимением другого меня словно сносит течением — странные берега, к которым никогда не пристать. Перераспределение значений, освобождение смыслов: увеличительное стекло в медной оправе, модель фрегата, книга, раскрытая на странице, где краем глаза возможно вырезать беглое: «есть там какое-то дерево, из которого вырезают палки; они весьма красивы и пестротой своей напоминают тигровую шкуру. Дерево это тяжеловесно; если же его бросить на твердую землю, то оно разобьется, как черепок», — подальше, за граненым стеклом шкафа, мраморное яйцо о четырех дюймах высоты, метелка из поблекших, некогда раскрашенных перьев, янтарная рыба с раздвоенным спинным плавником, заточенная в фальшивый хрусталь странного прибора, предназначенного для одновременного измерения высоты всех возможных лун. Одним словом отдаем предпочтение (они извлекаются невесть по какой причине из каталогов небы-

тия, то есть — меня), другие остаются контурами лишь самих себя, мольбой перечисления, возникая в сознании тщетным стремлением соединиться с вещью, давно уже порвавшей с блаженным мгновением беспредметности в своем притязании на бытие. Возвращение невозможно. Какой день нам идет одна и та же карта. С Литейного на Маяковского заложили проходной двор. Не забыть. К слову, там никогда его не было. Заведомая ошибка. Ищи другую улицу. Другие окна и голоса.

А со среды на пятницу Диких приснился сон. Крыша не крыша, луг не луг, но идет Диких по плоскому месту, посвистывает и видит под ногами, как плещутся звезды. Дыры, подумал было Диких и был не прав, поскольку действительно шел по лугу, и было ослепительно светло. Так бывает, когда небо затягивается молочной сияющей пеленою, и свет невыносимо ярок по полудню, возникающий ниоткуда и не простирающийся далее собственных границ, и только стелятся тяжкие дремотные травы, а утром, конечно, никакой росы — к дождю как бы все идет, но ни капли не проливается, и все ярче горят очертания предметов, даже не их собственные очертания, а что-то в зрачке, то, что встречается с желто-пурпурным свечением следов, оставляемых вещью в ее движении. И тут откуда ни возмись этот ребенок навстречу, надоел он Диких изрядно, но пускай, думает Диких, останавливаясь, как того требуют приличия. А дитя, лозой поигрывая, молвит, от света мучительного бессолнечного застясь рукою. А если бы глянуть под руку — увидеть каждый бы смог облака, несущиеся с юга с сумасшедшей скоростью, низко... почти что над головой.

— Отгадаешь, Диких, — говорит дитя чужим голосом, — загадку, в живых останешься. — А само губы кривит, будто нет у него охоты такое выговаривать.

— Так ты и мое имя знаешь? — дивится Диких не по наивности, а по лукавству скорее — время затянуть хочет. — А не отгадаю?

— Да как же так! Человек ты бывалый, поживший, многое про жизнь знаешь...

— Ладно-ладно! Полно тебе, загадывай, — решается Диких, и становится ему щекотно под сердцем.

— Ну так вот, скажи нам, когда ты умрешь?

— Я? — говорит Диких. — Я? — И умолкает.

В первый миг почувствовал Диких грусть неопишемую, но уже в следующее мгновение говорит он следующее:

— Постой-ка... Если я правильно понял... Я умру, если не скажу тебе, когда я умру?

— Именно, — говорит дитя.

— Но если я... будь по-твоему, назову срок, а потом все окажется не так?

Дитя пожимает плечами. Сон с разительной быстротой начинает сокращать свое пространство. Сон уже облегает Диких с неодолимой силой, и будто в тесном, светлом мешке оказывается Диких, не в силах пошевелить ни губой, ни рукой. Затем все меркнет, и в сон приходят другие сны. Их много, и они приносят многое (пользу и вред, чаще — ничего), и это многое совершенно не имеет никакой пользы.

Я никогда не стану больше об этом писать, поскольку требование неисполнимо: к какому началу мы относим себя? Ты медленно и терпеливо меня обучала, будто нехотя... избавляться от смиренной рубашки «мы». Легче привыкать к богатству. Трудней отвыкать от нищеты. В последний раз. В первый-сотый раз вчитываясь в написанное, измененное неверным следованием еще более смутному представлению собственного желания, берешься угадывать слабые черты возникающего предмета. Лишь в слабости зрения раскрывается неистощимое величие, но, вернее всего, в восхождении к ослаблению. Он вынужден прибегать к молчанию. Что за нужда! Мы говорим лишь по причине непреложного желания понять то, что нами говорится. В итоге принимаемся (так иногда кажется) догадываться, что «мы» всего на-

всего случайно запавшее в здесь и сейчас искаженное слово, правильность которого пытается угадать, выговаривая, исчезновение. Узор слюдяных разрывов. Чаше ночами, когда все уходило в (за) другое время, во (за) время скальпированных сновидений. Было бы куда как просто сказать, что в 11 лет осенней ночью я увидел сон, в котором мне довелось переспать со своей матерью. Мы погрузили руки во внутренности птицы. Расположение органов было благоприятно. Предлоги, определяющие траектории глаголов. Скорченного, поджавшего колени к подбородку, нагого, меня без потерь и кожи несло, плавно кружа, между отвращением и страхом, одетого кровью, слизью, солью, рвотой. Фотография из анатомического атласа. Я научил петь сирен, я научил их слух цифровой записи, которой предстояло вечно хранить секретные узоры моего странствия, маятник которого рассек тело, исполняя его неуязвимостью, поселившейся ниже сердца сгустком ожидания. Тогда я перестал писать стихи. Слишком мало воска было оставлено моей собственной душе. Поэзия... та поэзия, которая... в ней было слишком мало насилия.

Я предпочел писать так, как мертвые читают книги: от конца к началу, как если бы во рту у них было помещено двойное зеркало или же как иногда открывает себя зрению время, выворачиваясь наизнанку, превращаясь в сферу безоглядно созерцающего себя глаза. Так гласило их заключение. Базальтовые наледи испещрены киноварными очертаниями давно минувшей охоты, кровавых потеков, застывших карамельным сиянием. «Женское» — чрезмерно подробно. Кости тут же. Расплавленный мед. Насекомые царствовали в садах, как двурогие луны, высота восхода их измерялась янтарным всплеском нескончаемой китайской чешуи квадрата, сияющего на все десять сторон, как крошащееся сухим снегом заклинание. А ледяные дужки очков? А негромкий бой часов, расставлявший координаты цвету, запахам, предощущениям? А наш шепот и слова, ничего ровным счетом не значащие спустя несколько часов

или дней? А фортепианные этюды Черни? А георгины, роса на дереве колодезного ворота, отдаленный плеск внизу, сведенный в блистающее кольцо, заключившее наши головы, но ни единого звука, ни единого дуновения ветра, — беспомощность птиц и других вестников. А, наконец, вот это: «чем меньше опытности было у нас в подобных наслаждениях, тем пламеннее мы им предавались и тем меньше они нас утомляли»? Сколь волшебное все следовало одно из другого, продолжало друг друга, себе же предшествуя в сознании предошущим иному продолжению в явленности навсегда повисшей в парении глагола настоящего времени. Видеокамера находилась у тебя в комнате. Монитор я оставил у себя; лежа на полу, я смотрел, как ты раздеваешься (с потолка капало, еще я смотрел на провода на полу), как ты поглядываешь на камеру, зная, что я, должно быть, неотрывно смотрю на тебя, знающую, что я смотрю на тебя, как ты стаскиваешь с себя платье, все остальное, а потом не ложишься, а продолжаешь стеснительно стоять, испытывая нарастающую неуверенность — тебе предстояло предпринять вполне заурядную вещь (действие, заключенное в скобки, как выражение): кончить перед камерой, как будто для себя самой, оставаясь совершенно свободной от любого ожидания, но тем не менее осознающей, что ты «находишься и на моей стороне тоже», рассматривающая себя моими глазами, отдаваясь дальше и дальше от иллюзорного самоотождествления — вот где угадывалось все более крепнущее напряжение: между обрамлением, то есть мной, и пустотой, заменившей твою телесность и чистое намерение. Имеет ли «справедливость» отношение к нашим опытам? Исследование закона является безусловным его изменением. Мена, обмен происходили изнутри, как пламя в пламени. На мгновение ты поворачиваешься к камере бедром, что за этим кроется? — полагаю, смущение. Страх того, что я смогу увидеть татуировку на другом бедре, мельчайшие буквы которой складывались в рассказ о календарях и блужданиях в скрежещущих камнях, живших во рту монотонной речью о

будущем, собственном будущем, — а мне что до него, какой нитью следовало меня пришить к самому себе? Ощущение бесполезности или никчемности всей затеи? Мы хотели любви. Это предложение не имеет значения вне предложения. Мы хотели множества слов. Она должна была стать добычей нас, возникающих с совершенно иной стороны повествования. Мы заслуживали того, чтобы увидеть ее лицом к лицу, увидеть, как она возникает из собственного отсутствия, схватить тот момент, когда ее предпосылки меняют собственную природу: обещания стать чем-то иным, когда режущая слух тишина берется сворачивать пространство. Но где мы были в те минуты? Почему мы ничего не запомнили? Представление самих себя себе — задание было изначально непосильным. Продолжать быть реальностью и одновременно становиться ее же знаком, ничего не скрывающим, но неустанно возводящим себя в непрерывной тени, даже во сне, где ничто ничего не означало, кроме того, что хотелось в нем видеть. Я видел, ты видел, она видела, все видели. Куда девалось то, что было увидено? Видеть значит думать, думать значит спать. Сон не что иное, как необходимое сочетание знаков. Грохот воды рос у порогов, желтые гривы пены, влажные пряди воды в острых гребнях ветра и медленное мерцающее прояснение шума. На берегах — прищурься, сколько раз, — солнечные поля купавы. А то, как мы учились целовать друг друга повсюду, начиная с пальцев ног? Листаем дальше: когда ты прикоснулась бритвой к груди, — нет, разумеется, все поддается описанию: «зрачки твои сузились, — вот как это пишется, — дыхание на миг пресеклось и ты с нежной силой, при всем при том медленно, очень медленно провела тончайшую черту, которая тотчас стала расплываться кровью (утренняя волна близорукости), к которой ты склонилась и слизнула, а когда подняла глаза, я увидел, что они сияют ликованием». *Green veins in turquoise, or the gray steps lead up under the cedars.* Очевидно, не следует выпускать музыкального инструмента из рук даже в огне.

Предложение описало дугу. Мне показалось, живо сказала ты, что я вот-вот что-то пойму, но это сразу же исчезло, хотя осталось в памяти налетом восторга предвкушения. Чрезмерная подробность в утверждении «женского». Это неимоверно важно, наподобие навыков устного счета. Но тогда что это означает? Не знаю. Не задумывался. Так всегда, хотя это мое право, мое хотение, мое желание, моя очередная попытка «не исказить» мир. Что бы я ни сказал. По обыкновению, я и на этот раз пришел сюда, когда мне ничего не оставалось делать. Старика на велосипеде унесло в дальнейший дождь, факс от приятеля на глазах утрачивал внятность — я был свободен. В университете барометр показывал сушь. На факультете танатологи в шортах пили пиво. Пива было запасено надолго. Сидевший рядом с ними грамматик изнемогал от собственной гримасы, приподнявшей уголки его губ, и от духоты. За гримасой плавно разворачивалась тайна грибов. Грамматик, вопреки всему, делил мир на покуда доступное (чего, как ему казалось, становилось больше) и покамест не доступное в высшей степени. Не доступное в высшей степени хранили танатологи. Они хранили недоступное в глубинах пива, вкус которого со странным упорством норовил ускользнуть из рта грамматика. Рот напоминал ему нору из пемзы, в которой происходил процесс производства алюминия в континентальных масштабах. Цвели вишни. Коридоры были наивными, желтыми и длинными, состоящими из обморочных переходов между делениями циферблата. Танатологи относились к классикам с разумным спокойствием, но с ласковым укором к юным дерридианцам, которые, в свою очередь, невероятно много курили на лестнице, толкуя о Фассбиндере и последнем скандале. Фассбиндер был мертв. Суть скандала заключалась в том, что в последний свой приезд в Одессу Лиотар, мол, начал свою лекцию с анализа позднего Бердяева. Многие склонялись к тому, что это следствие обыкновенной ошибки, и речь шла о Бодрийяре. «И то и другое важно в равной степени», — веско заявил в изрядной бороде танато-

лог и протянул грамматику леща, совершенно волшебным образом извлеченного из-за спины. Существовало мнение, что Египет — последняя станция. Ошибка всегда сознательна. Подчас ошибка является результатом сложнейших, многоуровневых операций и расчетов. Мне дали пива и время, чтобы я нашел в себе силы войти в аудиторию, песок и воду. Четыре человека листали тетради. Все остальное было как прежде — коридоры, дым, время, вишни и память. Окно в конце аудитории объявило о военных действиях. Воздушный змей трепетал в синеве. Рыбий крик костью стоял в ушах. Моя работа в этом университете подходила к концу. Однажды мне сообщили, что она началась. Я подходил к этому концу со свойственным мне равнодушием, но только с обратной стороны. В итоге работа и я вновь разминулись. Начинались каникулы, о которых я мечтал всю жизнь. Но, любезный читатель, как вздрагивает и поныне сердце при одном только припоминании тех мест, где всегда находился для меня приют и кров! Сколь благостно было засыпать под одеялом, которым без лишних слов делились с тобой антропологи, а засыпая, слушать отдаленное и все же звонкое журчание коньяка. Трубу, по которой он тек денно и нощно, безуспешно пытались найти многие. В мое время говорилось о трубе как о смутном, ждущем своего часа пророчестве. В иных диссертациях труба представляла едва ли не архетипом паровоза, а со временем — энергии как таковой. Сотни жаждущих украдкой сверлили стены по ночам. Некоторые сходили с ума. Единственный человек, кто наткнулся на нее в период ремонта водяного отопления, был Григорий — Царь котов из управления главного механика. Однако, как гласит один из апокрифов, после своего нечаянного открытия Григорий оставляет котов, механика и постригается в монахи. Точно прочерченная деталь всегда ценилась в тех местах. Будто ускользало главное и требовалась тонко взвешенная стратегия нанесения подробностей на карту, чтобы ненароком не затеряться в белых камнях, в изветвлениях «до встречи» или «никогда», как будто с кого-то

станется прочесть иное, повторить путь, проследить, утверждая в повторении исчезающее. Отражение мгновенно, как сравнение. Сравнение неуследимо, поскольку «второй части» его не существует. Только серп маятника непрерывно серебрил траектории невесомым искривлением прямых, продолжая некогда написанное письмо в тюрьму. Насекомые — строка из книги мертвых нескончаемо живущих в умирании. Однако свидетельства из этой области чрезмерно скудны. Города мало чем отличались друг от друга. Теперь ничто не мешает говорить об этом открыто. Секрет преисполнял нас значимости, в его присутствии пребывали смыслы, не отделенные друг от друга — Эдем значений. Я никогда не сумею (успею) написать о том, как образуется узор огня в поникшей от утреннего мороза траве. В сумерках без труда можно было угадать контуры ангела невроза или описания, означающего свою пустоту, не таящую никаких направлений, кроме одного — к нескончаемому предвосхищению собственного явления. Они сказали: «Ангел Истории»... Понимание эпифеноменально. Иным кажется, что этот опыт не имеет конца, я же придерживаюсь отличного мнения. Раньше я пытался разбудить в себе сочувствие к тем, кто их населял. Они прикладывали ладони к лицу, будто пытаясь укрыться за ними, но мне хорошо были видны их настороженные глаза. На грунтовой дороге не таял снег. Помнишь, я ведь не сразу разобрался, как надо тебя раздевать... Отточие означает не смущение, но забывание, точно так же как непредвиденные обстоятельства, мешающие продолжению. Неправда, что руки знают, что им делать. Никто ничего не знает. На ощупь. Снегопад продолжался четыре дня и четыре ночи. Но я хочу вспомнить, *видел* ли я в минуты, скажем так, бесцельного (абсолютного!) «блуждания по твоему телу» то, что находили мои руки? И связывалось ли это с образами, столь беструдно до того завладевавшими воображением? Каким образом происходило совмещение тебя с той, которая как бы существовала до тебя, но благодаря, разумеется, тебе? Почерневшая пижма,

небесное вращение велосипедных колес, солнечное расследование. Убийство, как древоточец, прокладывало свой путь в массиве недоумения.

Оно определяло границы сроков и непогоды. Однако я вовсе не нес им никакой вести. У стены непомерно высокого, лишённого привычных пропорций строения воздух отвечал неслышным гонги. Их звучание было ложно геометрично. На холмах Калифорнии в рассвет мы слушали изгнанников Тибета. Они настоятельно утверждали, будто продолжают свой философский диспут, начатый в 1439 году в дацане Чжюд-мад пред лицом самого Шеграб-сэнге, только что завершившего строительство этого дацана. Иные утверждают, что обилие выделяемого пота при диспуте не свидетельствует о приближении к просветлению. Но мир состоит из ложных признаков присутствия, и только укол соломинки в темя позволяет увидеть то, что неподвластно как знанию, так и молитве. Широкие пурпурные рукава, подбородки, бензиновая гарь. Иссиня черные птицы с алыми хохолками парили в лучевых сферах дрожи у самых верхних уступов здания. Воздух, раскаленный ненасытной прозрачностью, приближал вещи к их истокам в зрачках. Снизу нам было видно немного, но я заметил на крыше нескольких человек. Один из них сидел на стуле в неуместном для такого жаркого вечера темном костюме, рядом с ним, держась за спинку рукой, стоял некто с раскрытой книгой в руках, тип его лица наводил на размышления. Был еще кто-то третий. Я видел, как на их лицах, на латавших по кругу с шелковым треском страницах открытой книги и коврах, устилавших крышу, играли сапфировые отсветы далекого пламени. Не исключалось, что в порту горели корабли. На миг передо мной встала картина странного и доселе никогда не виданного города. И странно было то, что я давно как бы знал, будто находится он на севере, и ночи его являются зеркальным повторением дней, а сам я тем временем не шел, но будто бы плыл среди серых безлюдных до-

мов на легком не известного мне типа судне, чьи паруса поедало призрачное пламя. Мне показалось, что я даже слышу обрывки беседы. Чей-то голос произнес: «Все происходит как бы в виде сонной догадки... места, которому не описать собой ни результата, ни предпосылок...» Вслушиваясь в слова, которые мне что-то отдаленно напоминали, я внезапно увидел себя, подносящего безвольно к огню руку. Пламя не жгло. Вероятно, это ощущение спугнуло наваждение. Продолжалось оно, судя по всему, недолго. Едкая и не остывшая пыль, курившаяся под ногами, окончательно привела в чувство. Я оглянулся, стеклянные клетки с детьми на деревянных колесах в строгом порядке следовали за основной колонной. Штандарты мерно колыхались в раскаленном молочном тумане.

Мы провожали планеты в очередное изгнание. И вот еще что: взмахи рук. Точно нас приветствовали, хотя было очевидно, что мы покидали город. Могло показаться, что мы уходили, пересекая воображаемую черту мнимого поражения, которым всегда, даже во снах, оборачивалось бессмертие. «Нужно было прожить жизнь, — услышал я негромкий голос, — чтобы понимать все не так, как понимали это другие...» И кто-то в ответ: «Но является ли то, что я говорю, тем, что моя речь “перенесла” из области намерения “это” сказать в спектр призмы языка, тела его смыслов, куда вовлекается любой мой, разворачивая свои собственные отношения?» Ложь — лишь поправка на параллакс. Струны, натянутые во рту, переливались дрожью расщепленных следствий и темными радугами ртути, не пресуществленными в двойные зеркала. Как смехотворные в своей поспешности суждения. Как коричневое на розовом. Как дождь на лице. Как известное в неизвестном. Как соловей. Как «где», в котором находится «всегда». Горы приблизились, однако ничто не изменяло пропорций во взаимосвязях звука и памяти. Фарфоровая чистота окраин в сколах расстояний между вещами наращивала частоту передающих колебаний. Их было недостаточно, чтобы мысль смог-

ла обратиться к ним, словно к опоре дальнейшего движения по безымянным склонам, но вполне достаточно, чтобы немо обустроить сладостной снастью оперы любое движение извне. Человека отделяет от него самого самая малость — язык, об окончательном избавлении от которой он неустанно просит небо. Последнее также является неприметным различием, не дающим человеку исчезнуть в своем к нему обращении. Не уточняя, кто и зачем. Иногда снится, что вытаскиваешь как бы занозу. Она оказывается непомерной, она непрерывна; ты сматываешь себя, оставляя себе лишь одно головокружение и слабую попытку ухватиться рукой за край постели. Утешение не из лучших. Иногда вопрос совпадает с ответом.

Их обычаи поначалу вызывали понятное разочарование, а по прошествии времени все более заинтересовывали неизбыточной никчемностью, затрудняя поведение. Я вспоминал улицы городов, бескрайние славянские просторы подоконников и коридоров. Ко всему прочему я подозревал, что нам какой уже день идет все та же карта. Широкие реки песка охватывали город с севера, откуда, поднятые смерчем, медленно выгорали к плато. Искусство попрошайничества находилось под официальным покровительством государства, для нации оно было всем — литературой, историей, отчасти философией и богословием, но конечно, если бы они были знакомы с Платоном, они, несомненно, объявили бы себя продолжателями сократической традиции. Деревья здесь не имели листвы, но обильно цвели каждый одиннадцатый год. Таков был цикл превращения просьбы в ответный дар. Число одиннадцать управляло жизненными циклами: неделя состояла из одиннадцати дней, между зачатием и рождением пролегли все те же 11 месяцев, жизнь человека обозначалась просто числом 11, которое выражалось в фигуре особенного начертания, напоминающей две стрелы, встретившиеся в полете из. Деление на два означало в те времена безумие. В одиннадцати, полагал я, они со-

хранили монаду единицы, не унизив ее нисхождением к делению. Зависит, как записать.

Они любили театр, сплетни, вялое вино из плодов, по вкусу напоминавших цветы акации (особого сорта смоквы, неведомые на севере), были безразличны к обманам и проблемам бессмертия. Отправляли свои естественные потребности лежа. Бег был запрещен. Бог позволялся в виде ложного воспоминания. Один из их художников, бритоголовый и безликий, как утренняя тень, помог однажды издать книгу моих наблюдений: тончайший лист стали величиной с парус был прорезан несколькими буквами, в них вился ветер (close reading), тем временем как другой ветер, с гор, играл самой гигантской стальной простыней. Два чтения. Я благодарил его и смутно вспоминал жужжащие серебряные книги моего детства и яблоки, по которым мы рассчитывали когда-то свою судьбу. Вызывало удивление то, что им был знаком бумеранг. Поначалу я думал, что он являет собой манифестацию вечного обращения вокруг своей оси буквы, скорее иероглифа, но потом оставил эту мысль как излишество. Именно он, точнее одиннадцать бумерангов, вращавшихся под куполом строения, где вершились суды над отступниками, являли собой образ вселенной. Теперь вы понимаете, по какой причине вначале я принял бумеранг за букву. Периодически возмутители общественной морали посягали на истоки — они призывали свергать старых идолов, вводить новые правила счисления и раздавать свое имущество другим безо всякой на то просьбы. Боги их ходили по улицам в алебастровых масках, кости их были на удивление слабы и гибки. Каждая женщина могла, если хотела, остановить бога и задушить его. Что в свой черед справедливо вызывало негодование и жестокий отпор со стороны народа, который не мог помыслить, чтобы вся красота, которой они владели безраздельно на протяжении своей истории и принципы которой укладывались опять-таки в учение о просьбе и красоте, даруемой просящему, могли быть принесены в

жертву чьей-либо неумной гордыне. Коллекции набальзамированных богов переполняли музеи. Однако возмущение никогда не преступало границ чистого теоретизирования. Наивно полагать, что концепция прощения, просьбы — на которых зиждилась этика и мироздание этих людей — была чем-то наподобие философии лишения. «Бумеранг обретает разящую мощь исключительно благодаря правильному пути возвращения», — гласила сентенция, бывшая в пору нашего там пребывания довольно популярной. Ее было принято распевать, хлопая в ладоши. Иногда они безо всяких усилий и совсем уж неожиданно для посторонних переходили к совершенно абсурдным, попросту смехотворным положениям. С трудно постигаемым страхом они принимались говорить о бесконечной матрице, в которой сокрыта еще одна — матрица предела, то есть все мертвые как воплощение «концов мира». Тоническая система языка позволяла петь что угодно. И что именно совлечение этих двух конечностей дает третье — абсолютно незавершаемое пространство.

Они пригласили нас для того, чтобы мы научили их двум вещам. Первой — спать ночью (нам пришлось создавать ночь). И второй... о которой я не помню совершенно ничего определенного. Я вышел из конторы, махнул охраннику рукой, лил дождь. Можно было пройтись пешком по Литейному к району, где находился мой дом, точнее остатки однокомнатной квартиры, до которой было всего минут 20 ходу. Квартира состояла из окна, кухонного стола на кухне, компьютера, который собрал о. Лоб и который вечно висел on line. Иногда из Карла и о. Лба. *V uglu byla postel'*. Из окна, как мне иногда снилось, была видна такая же квартира, из окна которой был виден падающий снег. Не будем на этом останавливаться. Невероятно, как узок круг действующих лиц, как уменьшаются в размерах книги.

Следовало вначале навестить Карла, но я поймал себя на том, что опять забыл, чем он занят. Вода затекала за ворот-

ник. Холод радовал. Стоя на мосту над районом, простиравшимся внизу, где в тумане уже переливались огни, я беспечно курил. Это место до сих пор называлось — «Нева». Некоторые еще помнят фотографии того времени, на которых вместо жилых кварталов и всего прочего тяжело блеснула выпуклая вода. От той поры ничего такого не осталось. Кроме мостов.

А кому не жаль? Никто не знает, что дороже — вода или электричество или, например, электричество или смерть.

Опускается веко, сквозь ливень лезвия шествует единок.

Разумеется, всякий раз заново обучаться вкусу вина под знаменами одного и того же ветра. Чаша ночи, вскипающая инеем, — какие глаза смыкают ресницы, испепеленные снегом? Моя рука (слышать, неотчетливо), тяжесть еловых лап под снегом. Кипящая стужа в сухих ожогах пернатых, — какие глаза остаются здесь, в расселинах вещей, в порах их вещества, теней, не избавленных от своей невесомой ноши? С грибных окраин прихотливо движутся вихри, завивая красный песок в коконы вспышек, позволяя желанию видеть себя в створах бессонницы как чистое напряжение, способное открыть «одно» «другому», заточая маловразумительное шевеление губ (и опять возвращение к воздушной, медной речи) в чечевичные льды зоркости, кислот, приближения, незримости. Петунии, гранит, слабый вьюнок на беленной известью стене, сахарные ангелы, торящие пути нити зеркальных соединений над темной рекой огня, проносящей сухие сучья, вырванную с корнем траву, трупы сходств и тела, чьи лица читает зеленый месяц, внося в чтение освобождение усмешки, будто пальцам уже никогда не вылепить тех же рук, ладоней и глаз, отпуская их, под стать яблокам, в бездонное падение, цветущее на краю трилистника и прикосновения, на пределе глины осоки и дыхания, сводящего в острие мнимой цели один или несколько слогов, мучительно их не узнавая в отмывающем бормотании, подобно темным рекам огня и соленому теплему туману,

идушему с мелководья. Тысячерукое солнце срывает паруса возвращения одного к следующему, что принимается за изменения. Но здесь ты прозрачен и сходен с вином. За шаг до этого, за страницу до только что вписанного предложения залегает то, что возможет выявить себя в любой метафоре, — разве не этого добивается пишуший, не окольного ли, косвенного пути побега к началу, всепрощающему начинанию, поскольку только в его перспективе вероятно почувствовать ни с чем не сравнимый привкус бесполезности, бесплодности начала, будучи слитым с ним воедино — ощутить неосуществимость никакого рождения, не этого ли ищет пишуший, не того ли, что так или иначе присваивает себе имена, смерти; хотя у последней имена, родовые окончания и прочие аксессуары не имеют числа, или же иначе: имеют, но только по эту сторону, как бы в пунктуме начинания, становления, смещения, растрачивая все до щепки, и в том числе имена по мере приближения к именам, числам, намерению. Точно так же в проект «любви» заложена энергия потери как вдохновляющая затаенность опыта, не замыкающегося ни на одном выборе, понятии, определении знания, что — не-сбыточно, не-бывает, не подлежит быванию (иному предлогу), как если бы оно намеренно опережало собственное предощущение; тогда говорится «любовь» или другое, если моросит либо если с Гавани несет листву и спящих птиц сквозь кроны натянутых струной, израненных монотонностью деревьев.

Многих/многое мне довелось встречать часто. Как и эту прекрасную лестницу, белевшую, под стать осколку Крыма, в поволоке непроглядной синевы. Мосты прекратили быть связующими элементами ландшафта, они были отделены от того, что соединяли. Прохожие, как я. Мы уходили. Еще бы. Потом приходили. Некоторые возвращались, вопреки противительным союзам. Упреки в их сторону необоснованны. Иные довольствовались скромными упреждениями, в результате чего появлялись огромные, но

невообразимо хрупкие машины. Мы не схожи телесно. Сoglасен, разве что сходство можно найти в том, что кожа... да, почти одинаковая кожа, если не считать татуированной черепахи на моем левом плече и нескончаемого повествования на твоём бедре, чьи буквы, стирая какое-либо возможное истолкование с поверхности воображения, стремительно уменьшают свои начертания, становясь атомами твоей крови, порами смысла, беспрепятственно циркулирующими в обмене таких веществ, как слюна, сновидения, память, меняя комбинации их составляющих, образуя твой телесный остов, скелет, — *skia* — нечто предшествующее, как времена, обнаруживающие себя в определенный срок: таково исступление, обмен, перемена, сладчайший прыжок в неподвижности, — повествования до тебя, до всего, а ты лишь кожа, означающая то, что ожидало тебя с раннего детства, с еще более непонятного времени. Вечер обычен. Строен в распределении света. На чьем левом плече? Двигаться — последняя иллюзия, доставшаяся от фармакологической эры. Что, интересно, помещено в эту кожу? — Кости. Обилие влаги, жидкости. У некоторых бытует мнение, что именно под кожей помещается душа, хоронясь в чаще костей и молекул. Чертежи их диспозиций хранятся в предгорьях Нью-Йорка. Примечательно, но никого не снесла зависть. Луна обегала зрачок и закатывалась ртутным шаром за глазное яблоко. Рот наблюдал старение речи, ее разрывы. Я — никогда. Зрение имеет свою подоплеку. Отстоит ли от тебя предмет зрения либо вписан в твой «читательский нарциссизм» неким наростом коллективного проекта? Где они, наконец, сколько их? Красивы ли они, умны ли? Узнаваемы? Мое письмо является ярчайшим примером классицизма конца двадцатого века. Впрочем, даже при более пристальном вглядывании увидеть кого-либо попросту невозможно. Вот только тогда нас тут не было. Двигаться сквозь кисею сна. Можно ощупать руками. Не прикасаясь, овладевать. Машины порождения смыслов суть описания отвлеченных повторений, их территорий. Возможно ли по-

вторение без того, что в нем повторяется? И последнее: падение ножа осветило неподвижную птицу горящим магнием головокружения. Падение птицы разделило зрение на две половины: медь и буква. Люди на крыше зашевелились, но мы не подняли голов, мы шли, покидая это проклятое место, как покидали другие похожие на это, а за нами неотступно стлался запах свежей гари. Поэтому буквы должны были быть вырезанными, обязаны были быть определенной вещью пустотой. Ничто не может стать следом. Однако мы научились придавать им очертания ничто, соотнося материя со своими прихотями.

Таковы и мои воспоминания, собираемые с «особой целью». Одна, где все неделимо, вторая — где все пребывает как бы пред собою, не выделено, не узнано, даже если на ощупь, не прикасаясь. Нас призвали как повелителей знания, но срок контракта истек. Сок молочая истекает из надрезанного стебля. Завершение лактационного периода луны совпал с началом затмения солнца. По этой причине многие наверху отпрянули от края. Что, само собой разумеется, могло означать утрату хладнокровия. В самом начале по обоюдному согласию мы принялись разрабатывать тему одиночества города, подобно вдове восседающего в партере. Меньше всего интересовали психоаналитические аспекты сравнения. С их стороны пришло предложение изменить терминологию. Грамматические категории числа. Мы продолжали мерное передвижение. Нищие валились во влагу встречного ветра, напоминая продрогшие жестяные фигурки из тира, нанизанные на скользкую нить выстрела. Сколько денег ты дал сегодня тому, кто протянул руку за подаванием? Цвели тюльпаны, вращались тибетские мельницы, жужжащие цилиндры, исполненные пчелами, пленными бующим.

Моя любовь выскользнула из тебя, не оставляя ни следа, ни вчера, ни сейчас. Мы понимали, что для сравнения нуждаемся в себе самих как в другой части сравнения. Немедля

я подумал, что ты — стекло, в которое вплавлен мой рот. Превозмогая отвращение, я притронулся к тебе, поскольку в противном случае нам не удалось бы то, для чего мы встретились. Твое падение лучом выхватило парение ножа, отражавшего птицу и рыбу в горящем магнии.

Раны благоухали левкоями, горячим воском, рвотой. Разве тебе больно, спросила ты. Мы покинем эти места и превратимся в раковины, устрашающие своими краями и неясным шумом, заключенным в самой сердцевине, в пустоте, зачинающей наше ни в чем не завершаемое превращение.

Ссадины, растертые в кровь кончики пальцев, крошащийся ракушечник, колеса, бегущие по холмам вниз. Шлейфы горячей пыли Прованса. Красный шалфей, бессмертник и мята. Теперь довольно, сказала ты и ушла под душ. Воспетый Гомером электрический вентилятор. Мы ползали по полу, собирая порхающие страницы. Тушь искусна в оцепенении, но только так цвет сужает себя до узнавания в спазме; как плющ на глухой стене двора. Но ведь мы только-только подошли к тому, что было потом, когда мы оба научились раздевать друг друга, или, иными словами, не обращать на это внимания. История выгорала с медлительностью чернил на палевых подкрыльях жуков. Речь шла об отвращении и апатии.

— Сумасшедшие так же стареют, — ответил я. Мне спешить было некуда.

На что ты сказала:

— Отсутствие логики без труда уместается в определенную логику устранения.

— А чем руководствовалась логика нашего поведения в деревне? — Это была старая, почти забытая история начала нашей любви, когда однажды ночью, не сговариваясь, мы сцепились голыми в грязи коровника — я помню вкус жижи,

в которой мы катались, то, как она орала, что это то, что надо, чтобы понять, зачем мы еще нужны друг другу, если вообще нужны, — потом ее руки стали слабеть, и кроме нашего дыхания ничего уже не было слышно.

«Смерти никогда не бывает слишком много, — сказала она днем позже, подстригая мне волосы, — а я, между прочим, так и не заметила, — продолжала она рассуждать, — кончил ты или нет... Хотя какое это вообще имеет значение!» В ответ я пожал плечами под простыней, которой она меня накрыла. «Можно вообще никогда не начинать, но это, конечно, дело принципа, — добавила она, и через несколько минут: — Ну скажи на милость что-нибудь! Какого черта ты молчишь? Скажи, что тебе хорошо, когда я тебя стригу или — что-нибудь придумай». Спустя несколько лет я ей сказал, что можно было никуда не уезжать, что теперь наши забавы кажутся невинными, как бумажные розы. Розы и есть розы, ответила она, и по отсутствующему выражению лица было видно, что ее мысли заняты другим.

Дыхание крепнет. Облако. И горожане, знающие вполне, что только слово отделяет их друг от друга и от них самих. Призрачная препона призрачных времен. Счастливы ли они? Но ты, почему ты так же теряешься в этих рядах, толпах, молча стоящих по обе стороны лестницы, уводящей к берегу? Да, в этом случае невнятность вполне простительна. Само собой, ночью я поймал себя на том, что ничего не понимаю из открытой глазам книги. Объяснение, развертывающее следующее объяснение: такова информационная стратегия общества. Способы объяснения различны, однако их объединяет очевидно выраженное намерение открыть механизмы, производящие значения (в лучшем случае закон), но, происходя в постоянном смещении, объяснение представляет собой акт, результат которого заведомо нуждается в объяснении как новая данность. В таком контексте находит место известная иллюзия интеграции информации (по понятным причинам «понимание» в каче-

стве термина не применяется), или, иными словами, целостная картина происходящего. Принцип объяснения, даже не восходя к еще более строгому «доказательству», есть принцип управления. Дальше мне неинтересно.

Книга вкрадчиво листала меня страница за страницей — все были пусты и одновременно тесно исполнены строками. Стрекочущее прошлое освещало пыль, испещренную скорописью пустыни Наска. Метбар. История этих мест уходит в эру отступления океана, формообразования раковин, становления состава крови на гончарном кругу. Подай мне свитер, нож, соль, чашку, хлеб, кровь — пусть все что угодно. Так я хочу. Бог мой, какой теплый вечер! Как давно все это было. Как обворожителен тихий полевой ветер, колышущий цветы в сумерках. Случай и выбор ничем не управляют — если кто и упомянет об этом в мемуарах, это будет означать одно: лишь в определенных условиях, где альтернативы послушны в управлении противопоставлению. Прости такую неловкость. Не может быть, чтобы прежде я обнимал тебя по-иному. Но как? Что было вокруг? Чем были заняты наши головы? Мы? А наши руки? Изменились? Кто-то стучит. Отлично, кто-то принес нам деньги и вино. Если бы в начале 60-х мы знали о грибах, мы бы никогда не извели вкус истинной меланхолии, очарования пыли, последних лучей дня, выгорающих на камнях. Стоит ли забираться в Ад, чтобы в итоге начать по нему тосковать? Вопрос времени. Ответ пространства. Любое перечисление, изводя себя в приращение, обретает критическую массу достоверности. Не думаю. Сосредоточься на пальцах ног. Все сияет. Ослепительный блеск, невыносимый слуху блеск! Для чего нужна слепая вера. Такова ночь. Такова чума. От Млечного пути несутся те же раскаленные, но уже невещественные листья. Деревья осыпаются вихрями. Не понимаю, что важнее — знать «как» или «почему». Даже при пристальнейшем боковом взгляде в кристаллические образования шума. Насыщение повествования происходит задним числом. Отсюда мы движемся к третьей строке, и ожидание

вписывает несколько малозначащих или ненужных слов. Возросли цены. Но не настолько, чтобы теряться, чтобы терять голову. Помню, как клялся (неблагозвучие), что никогда не выпущу тебя из рук. А что в итоге мы растеряли? Несколько дешевых историй?! Затем слова медленно смыкаются краями (производство чистейших, вне корысти, форм) и составляют предложение, не имеющее завершения в намерении. Вместе с тем что возникает раньше: намерение слова или же слово, взыскующее намерения? Такое предложение готово раствориться, утратить определенную «собственность» в любом окружении. Как я, например, или ты. Вот твои документы, сука. Нет, Вера Сергеевна, ваш план мне не нравится. Конечно, я могу пройтись по их сетям, но это нам ничего не даст. Она отнюдь не относилась... хорошо, пусть — относится! — к тем, кто предпочитает хранить деньги в банке. Как это сделать? А то вы не знаете, бедная! Ну ладно, это мой, скажем, секрет. Кстати, куда вы отправляетесь вечером? Нет, я не настаиваю. С какой стати! Вы босс, вы платите мне жалованье. Между прочим, сегодня вам кто-то звонил несколько раз. Не называя себя. Да нет, еб-твою-мать, как только я спрашивал, тут же бросали трубку. Конечно уверен, моя персона мало кому интересна. (Нет, проблем в том, чтобы пощупать банковские сети, не было — надо было просто связаться с этими ковбоями из Дортмунда и через них выйти на себя самого. Как жаль, проклятье, какая жалость, что Карл подался в свое тупое странствие к «мертвым».)

Или продолжительность денег. Я знаю, или же (хотелось бы думать) я по обыкновению не слышу слов: следовательно, так ты поворачиваешься в мою сторону, свет из окна (для кого?) падает на твое лицо, ты слегка (медленней) поднимаешь руку; словно ты хочешь остановить себя, а я не намереваюсь тебя прерывать, мне нечего сказать, то есть я вроде бы сказал то, что надлежало: «почему плачут дети», — я многое дал бы за то, чтобы сказать (прежде всего захо-

теть...) тебе еще что-нибудь, а затем... нет, я опять ничего не слышу. С кем ты все время говоришь? К кому ты обращаешься? К врачам? Лучше видеть. Положи трубку! Я много курю. В моем возрасте следует делать что-то другое. Никто ничем не владеет во всех без исключения домах. Я приезжаю (теперь пытливый ум может расставить знаки на смутной паутине — прибывание, расставание... маркеры, не отличающиеся, к слову сказать, особенной надежностью). Какое отвращение вызывает запах этих задохшихся, гниющих роз! Я ни о ком не хочу думать. Все, что пишется, пишется с целью не возвращаться к написанному. Странгуляционная борозда северного различия. Медленное двоение на «я» и «ты» — обыкновенный признак слабости. Всегда есть те, кого никогда нет и не было. Каким образом этот предмет отличает себя от иного, например от Галилея? Вопрос можно поставить по-другому: что разрешает «мне» в этом предмете его же мыслить, изводить его в мое присутствие, и, если это действительно так (введенное слово *действительность* «очевидно» является тенью виртуальной действительности неприкрепленных слов, чьи референтные спирали никогда не замыкаются в пункте определенного значения; поезд не останавливается на этой станции, можно поглядеть из окна на надписи, выложенные на насыпи, но нас интересует подлинность интонации! — вот что надлежит выбирать между сферой опознаваемости и растворением в неочевидности), если это не является результатом внешнего настояния, какие изменения претерпевает этот факт в моем опыте по мере того, как я продолжаю отвечать на его приглашение его же мыслить (воображать, переживать, воспринимать, etc.)? Наиболее искренним ответом предполагается следующий: я не знаю, что такое *поименованный* предмет. Конечно, я не знаю этого до тех пор, пока он не будет поименован. Но правомерен будет и такой ответ: я не знаю, что такое *этот*, поименованный предмет. Его имя, его присутствие в моем опыте, то есть знание, в какой-то момент перестает меня удовлетворять, более того,

оно становится совершенно не адекватно себе в момент спрашивания. Вопрос всегда уничтожает ответ. Конечно, конечно, можно многое и о многом напомнить себе или, на худой конец, придумать какие-то картины раннего детства.

Действия, упорядоченность. Несложно увидеть собрание сочинений любого цвета на полках, чучело птицы, формулы, потрескивающие подобно воздушным змеям при прикосновении горячего воздуха. Влажный дерн под стопой. Говорить о телесности-теле не означает в нашем случае говорить о нем как о свойстве-субстанции, иными словами, о сфере становления в привычном смысле. Искриться. Нельзя прикасаться. Как скрип двери, к кривизне, к увеличению напряжения. Запах бумаги, полиграфической краски изумителен. Гравий, интервал, течение микроэлементов в клеточном замещении священных текстов — перетекание форм. А также строки, отдельные строфы, главы. Можно. Однако не следует вовлекаться в действие, описывающее запрет на вовлечение. Острова. Птицы. Я застигаю себя любопытствующего (разрешение, покорность чтению) — кому принадлежат слова, описывающие уничтожение ответа в вопросе? Мне, держащему книгу в руке, спускающемуся по меловой лестнице к воде, бумаге, удерживающей россыпь знаков в силу каких-то химических законов сцепления и взаимодействия, магии, превращающей ряды литер в то, что одновременно с таким превращением производится в воображении?.. Что делает вещь вещью? Чистота знака определяется мнимой зеркальностью плоскости, по обе стороны гримасы равенство. Смерть — истоком ее прибытия? Производство чистых денег зависит от состояния атмосферы. Я предпочитаю думать о физической реальности тела как о некоем интенциональном «сгустке» (хотя в какой-то момент я ловлю себя на том, что «мое» тело происходит в процессе «нейтрализации» — то есть в безотносительности к тому, что оно существует или не существует в действительности!): кто это я, мыслящий свое тело? — либо как о нескончаемой возмож-

ности предвосхищения любой вещи (самого себя в том числе), производимой моим сознанием в ходе ее, вещи, восприятия/желания. Но что возникает в воображении? То же, что у меня, у другого? Полная несообразность действия в приближении: отклонение в историю, признаки «чередования» народов, надрезов, стирающих то, что именуется действием в отсутствие действия: вещью или же речью, обращающейся к речи. Сошествие в Аид — метафора построения знака в компьютере. Что в свой черед полагает следующее: а вероятно ли общее знание? Чувствуешь ли ты то же самое, что и я, во время наших объятий либо объяснений? Как сравнить части нашего опыта? *Что* оставляет нам *что*? Или — есть ли обе наш один, существующий независимо от числа? Хорошо, допустим, телесность и есть горизонт ожидания мной (моим телом) привходящего мира — плавающий предел/передел окружающего, извлекающий его из отсутствия в опыте нескончаемого различия. Однако что является тем *сходным*, что снова и снова понуждает нас его переживать, как если бы *общее* знание было нашим достоянием, тем, что позволило бы мне говорить об этом предмете с другим — наконец-то он очерчен, — разделяя его в процессе постижения знания и друг друга в нем. Тогда мне гораздо удобней рассматривать телесность-тело как некую границу, не имеющую ни внутреннего, ни внешнего — то есть как некую перманентную синтаксическую операцию производства самого себя и другого. Общий здравый смысл настаивает на том, что все это совершенно естественно и о чем не стоит упоминать.

И все же как отвратителен запах задохшихся роз.

Не косвенность — зрение, коснеющее на никогда не преставаемых подступах к вещи, в каком бы «есть» она ни скрывала своих границ.

Через час Диких лежал на матрасе. На полу перед ним стоял телевизор. На экране плыло облако, которое плыло за окном, проплывавшим по стеариновой плоскости стекла,

коснеющего в пределах допущенного перемещения представлений. У двери на полу звонил телефон. Диких на звонок не оборачивался. Я тоже не обернулся, я думал об университете и вселенной. О. Лоб внимательно следил за фотографией и за тем, как на ней разворачивается действие. Он водил пальцем, шевелил губами и иногда неслышно, про себя, восклицал не особо внятные для кого-либо из окружающих слова. Карл уходил дальше по пустыне, умещавшейся в невообразимо тонком прикосновении иглы или числа (идеальная пустыня располагается всегда позади), и его тело, распростертое на пропотевшей простыне, которую никто ему не менял два месяца кряду, иногда передергивала неведомая судорога.

— Над ним плывут облака, — сказал о. Лоб.

— Что-то в нем покуда еще связано с чем-то, — сказал он спустя время.

Мы говорили о поэзии по той причине, что в ней уже не было ничего связанного ни с чем, она представляла чистой областью разреженной отвлеченности. Границы ее пульсировали, но за ними ничто не обретало очертаний. Облака опускались к склонам. Говорить о поэзии было занятием, исполненным глубокого значения по той причине, что смысл ее никоим образом не переходил ни в какое действие, пульсировавшее ее границами.

Белые облака неслись с грозной силой по ослепительно синему небу. Мы заворуженно смотрели на картинку. Она укрупнялась. Зерно ее разрасталось, в поры радостного, как узнавание, разрушения проникали споры других изображений, принимавшихся рассеивать возможные облики, но то, что должно было за ними следовать, заведомо отставало. В отмытом промежутке Кирпичный переулок словно вымер от зноя. Резкий, нестерпимый свет заливал каждую выбоину на стенах и трещину на асфальте. Из стен и мостовой росла белая трава. Мы увидели, как Диких увидел себя, идущего по переулку. Потом он стал тем, кто шел. Пользы в том не было никакой.

Он шел к окну, где когда-то сидел ребенок; нет, не ребенок — урод, старик... нет, не старик, но скорее ребенок. Окно было закрыто. В зеркальных стеклах стремительно летели те же облака по темному от зноя небу. Диких наклонился к стеклам и сквозь ожившие потеки синевы стал медленно различать внутренность комнаты.

Она была уставлена коробками, подле второго окна на штативе стояла видеокамера. На матрасе у стены кто-то лежал. Перед лежавшим стоял телевизор. На экране стремительно падали облака, за которыми восходило в упоительную темную бездну небо.

— Тебе никогда не узнать, сколько гитик умеет наука, — послышался голос.

— Это Карл, — предположил о. Лоб.

Я не ответил. Построение каждой поэтической конструкции открывалось мне созданием прецизионной механики восприятия некоего явления, называемого поэзией, располагающейся в области реального. Она — органы, разворачиваемые вовне.

Голос рассудительно продолжал:

— В наши дни, когда время затаилось в домах, как песок после урагана, изнемогая в снах, я тоже хочу ответить на вопрос о состоянии оконных рам, городского транспорта и миграциях водорослей. Я также ставлю вопрос об изменении маршрутов птиц, но я не знаю, где мои, а где не мои ответы. Важно также понять, чем отличаются деньги от, например, слов или мяса.

В комнате за окном зазвонил телефон. Лежавший на наших глазах протянул руку к трубке.

— Не подымай, — произнес Диких и проснулся от звука собственного голоса.

Мы молчали. По его лицу тек пот. Кто не знает жаркого лета в Петербурге. На экране телевизора мерцал «снег». Кассета кончилась.

Диких поднялся с матраса, подошел к кухонному шкафу, открыл дверцы. Под самый верх там лежали плотно уложенные пачки купюр. Диких открыл коробку. В ней тоже оказались те же деньги. Одинаковость.

— В итоге удовольствие исключает возможность радоваться, — сказал Диких и ухмыльнулся пробежавшему по квартире эхо.

— Это моя квартира, — сказал я. — Мне не нравится, когда кто-либо забирается в мою квартиру без моего ведома.

О. Лоб, глядя вниз на Сенную, нахмурился, но не нашелся что сказать. В медленном удвоении наших образов во времени я распознавал во многом неясную, но определенно знакомую мысль о том, что нет ни одного действия, которое возможно было бы рассматривать как даже частично лишенное значения. Как бы нелепо оно ни было, ни казалось, какими бы чудовищными по своей невразумительности причинами ни определялось (причины также являются одним из факторов, якобы должных лишить действие его очевидности), оно в мгновение ока наполняется смыслом, подобно щепкам, попадающим в поток воды и в тот же миг принимающим его направление, его скорость, под стать слову, которое обречено на *restitutio omnium* в миг собственного явления. Возможно предположить мгновение возникновения «первого» слова, возникновения до «всех возможных дальнейших», но тогда вполне вероятно также допустить, что оно содержит значения всех будущих либо отсутствие будущего как такового, так как совершенно в своей воображаемой, конечной пустоте. Идея слова, которое ничего не значит, которое не является ничем, даже самым собою, подобно идее универсального языка не оставляла умы никогда. История знает достаточно безумных по своей безудержности усилий, направленных на поиски и извлечение такого пустого слова. Оно невозможно. Пессимизм по всей линии. Игра ужаса и надежды. Мы всегда приходим в назначенный пункт, невзирая на то, что опыт обманчиво обещает его отсутствие. Но и оно невозможно.

Об этом множество исполненных меланхолии сказаний, и лишь детские сны не поддаются этому знанию до поры до времени. Angelus Nuovo.

Он снова подошел к окну. Окна глядели на Фонтанку. Вскоре ледяной, перистый камень ступеней возвратит шепоты, шелест и свет, лучащийся между водою и небом. Там поодаль кусты, решетки, шелушащиеся тяжестью, горечь во рту и рассвет, как фигура испорченной речи. Внизу, покрытый грязным брезентом, болтался его катер. Последующую часть ночи Диких занимался тем, что разрезал ножом веревки на коробках. В каждой коробке были сложены деньги. Деньги он сносил на кухню, потом, как бы передумав, нес обратно.

Меня не было. Я не мог помочь ему избежать распространенного заблуждения.

— Нет, конечно, — сказал о. Лоб, — Ты не мог этого сделать.

— Но почему? — удивился я.

— Потому что твои мысли были заняты Танталом.

Однако этого не случилось. История находит свое продолжение в другой истории. Проторенность. Отделяющая от намерения. Отделение от намерения. Помним ли это? Отражение не находит своего отражения в продолжении. Не случилось. Вновь проявляющая себя непереходность. Продолжение не всегда нуждается в простирании. Дрожащая дуга ласточек в дымном (лимонная патина замедляет передвижение элементов цвета) сентябрьском небе. Таково подношение. Одномерная интимность выражения «*a ты помнишь?*» осыпается перед проемом, пролетом, полыньей, шелушащейся краской, прахом облетающего осыпающегося тела: «*нет, не помню*». Я понимаю. Далее вымысел, словно «вымесил» (из глины), окаменевшие соты вымысла, ночные лестницы (продолжительное время уделено уделу изучения трещин в ракушечнике) к морю. Мы будем строить государ-

ство нового типа. Как можно скорее. Завтра. Идеология лишь словарь. Словарь, зрение равны желанию. Ночь в расчет не идет. Равновесие готово испариться в любое мгновение. Как пионы, в полдень утра государства нового типа. Страны гордых, счастливых, исполненных человеческого достоинства, мыслящих категориями нечеловечески прекрасного пред полыньей, предчувствием, пролетом в осыпи начал, в осиные зиккураты. Тогда он слышит — в «каждом» пламени сокрыты очертания всех сгоревших (в будущем не/совершенном) вещей. Если ты повернешься к свету, я сумею тебе рассказать о том, какими мне кажутся твои волосы, когда тебя исключает движение, когда они падают тебе на лицо, когда выдвинутое соглашение не обещает стать основополагающим при условии, если ты (потом) закроешь глаза, удержишь дыхание, дашь наклониться к тебе, прижаться губами, когда ты лежишь навзничь, к месту (открывая свое продолжение в другой истории), где бьется твое сердце, когда едва разделявший нас волос уже знания рассечен презрением к нему и молчанием, растущим к средоточию надменного устранения. Стекло окна, порезы розы. Как кожа зрения, не разделяющая, не соединяющая, но где восходит вещь в мере и явленности, а на деле где взгляд обращен к нескончаемому перетеканию очертаний вещей в умозрительной фигуре, наподобие множественного русла, только отдаленно напоминающей материю. Чтобы было удобней. Так ведь? Одно влагается в другое. Бесплотность в бесплотность. Ничто другое не интересно. Тогда в ответ он слышит: существует ли *«каждое»*? Существует ли пламя, отличное от другого? Какими свойствами надлежит обладать, скажем, «одному» пламени, чтобы его можно было отличить от «другого» в его же метафоре ослепительности и *не бывшего*, в метафоре, не производящей дополнительного смысла, но скользящей по траектории косвенности, чтобы в итоге коснуться слов: пламя, ночь. А также других, не менее существенных для продолжения повествования.

Говорится ли об именах собственных? Ничто не присваивающих, ничто не нарицающих? Как ничто не присваивает звучащее слоение правильного распределения надежд. Кровоточащее сердце павлина. Лучше смотреть на воду. Так многое понимаешь, даже если все пишется в одну строку. Порядок распределения вещей определяет слух. Доказательства деления единого на множества очевидны, но в той же мере неубедительны. Деление листа, ряда слов, слова, буквы, клетки предполагаемого пространства — на сжигающее представление намерения. Представление убийства в трех актах, поджогах, временах и персонах. Кстати, цвет. Или же количественные характеристики, предшествующие уравниванию горения, не говоря о химических процессах, подземных бензольных кольцах, ожерельях Гадеса, переливающихся в луче солнечного света, случайно падающего на пол из щели ставень. Помойные баки стали проблемой для жителей района. Мы раскрывали ладони, и черная бабочка затмения находила в них кратковременное убежище. В шелесте осоки, в шуршании камыша, в перетекании песков, форм, смыслов. Пол выщерблен и обильно полит водой. Тогда он слышит: пламя есть эхо смыслов, устремленное к источникам, образованным его же тенью; а сам думает: как пионы, в неподвижное от неожиданного в июле жара утро. *Trompe l'oeil* небес. Фригийские врата фотографии захлопываются, выдавая зрачку все большую зернистость реального. Городские власти питают все большую обеспокоенность по поводу разрушенной системы погребения умерших. Кладбище — абсолютно социально. Мы проникаем в поры несомненного. Осадка. Затем в строго обозначенное время начинается ветер, подобно. Но что мы помним о нем или о чем другом, подобном? Сады эрозии, словно. К этому возвратимся позднее, как. К цветам, к дивным и ужасающим по красоте телам исчислений и пчелам, будто. Если вообще возвратимся, сродни. Поскольку выщербленная и политая лестница никуда не ведет. Потому что. Поэтому.

По ней безо всякого труда можно забраться на чердак, что уже совершенно иное. Мне не нравится. А так ничего...

Тогда он начинает понимать, что его способность приводить в движение исполненные особенного вкуса пустыни оболочки слов (нет-нет, мы найдем в этом движении место всему на свете, включая описания любви: произвольный июль, пасмурный всепоглощающий свет, элементарные частицы, янтарь и шерсть), способность предугадывать возможные соединения есть ответ на вопрос, какие из слов кажутся наиболее «любимыми» (таким однажды был поставлен вопрос, взыскующей наглядности [нрзб.] пред... не понимаю, что было на этом месте; нет, пусть остается), янтарь, стекловидные гласные, рваные грани и пыль.

Ты слизывала с моей груди кровь. Осколок стекла, повисший бытийственно (существенное определение границ видимого и невидимого) в вибрирующем бритвенном лезвийце, пожирающем микропространства, средостения, пожары языка. Отнюдь не слов. В той области, откуда доносились эхом постоянно раздражавшие своим запаздыванием свидетельства, слов не было. Были одни направления, как если бы кто-нибудь, например Аракава, прислал вам письмо на томимом жаждой предела острие. Лишь направления, проблески придуманной тотчас в голове пред-формы, чтобы говорить о неразрушимом равновесии, которое удерживается их же скоростью. Здесь меня удерживает отсутствие денег и нежность к загаженному углу двух улиц, точке схода двух солнц. Об их именах позднее. Почему с такой неуемностью им хочется, чтобы об их жизни (на худой конец, о жизнях подобных) писали романы, ткали хитроумные повествования, снимали фильмы? Какая от того выгода? Расскажи мне, Расскажи не утаивая все на свете. Намерение, намеренно упускающее какой бы то ни было факт как слишком легкую добычу. Так длится до тех пор, покуда вибрирующие поля силы не остаются единственным фактом, требующим его схватывания для последующего преобразования. Здесь нет места заинтересованности. Здесь даже некуда поставить

стакан пива. Он нехотя договаривает: «Когда меня однажды спросили, какие слова мне нравятся больше других, я сказал: те, которые никогда не принимали (либо отвергали) какое бы то ни было значение, тем или иным образом связанное с человеком». Если задуматься, таких слов много. Ими следует учиться пользоваться, чтобы увидеть то, за чем следует другое. Они говорили, но древнее всех слов, предложений, высказываний, древнее письма и сладострастия пальцев, сквозь которые течет сухой поток букв, песка, древнее зрения, вживленного в череп с незапамятных времен посредством заклинания воды, где эхо произносимого множит времена и существуют области *безымянного*, не отбрасывающие ни единой тени, смертоносное само осияние которых не позволяет языку различить, распутать, схватить и донести то, что позже можно было бы сделать своим достоянием, становились те же слова, предложения, их запись и т.д. Не беги так быстро, я уже не молод. Черный «цвет». Мир видений и снов отделял эти области от «тебя», и потому все те, кто намеревался пройти его до конца и кто действительно проходил его, теряли какие бы то ни было остатки рассудка при встрече с безразличным и непроницаемым огнем, можно — льдом или же — собранием итальянской живописи кватроченто, коллекцией гильз от ТТ, как угодно, молодой человек, up to you. Утро наступило. На этот раз без свойственного ему опоздания.

Да, я окончательно хотел бы стать голой функцией буквальной бесцельности. Буквенной безвидности. Я предполагаю даже, что благодаря этому рано или поздно обрету способность быть невидимым или что-то понять в любви. Хотя вас никто не спрашивает. Откуда в таком случае у него деньги? Но нет, вопрос состоял совсем в другом. Любимыми (в прошлом году мы говорили о словах) — те, в которых не остается ни единого человеческого следа, ни единой приметы присутствия. Бесследные. Как таяние следов пальцев на стакане, как ничего не меняющее дуновение ветра, подобно-

го сдвигу смыслового спектра, как если к цветам, камням, уменьшению, коре, распаду, изумительному взмаху никогда не приближавшейся к реснице птицы, как тяжесть капли, ее падение, как математическое тело вина. Хлопающее на ветру выстиранное, залубеневшее белье; границы уменьшительной фигуры своеобразно тлеют у линии безымянного пространства, его нескончаемо разрушаемого равновесия. Изломанность линии прилагается к вещи вслепую, вещь избегает контура, очертания. Служение прекращено. Сужение прекрасно, как убывающий слух. Как обычно, твои губы немного солони. Находиться на берегу в состоянии убывания, прощания, упрощения, умаления, ропота. Так лучше. Сравнительно лучше проходить сквозь плещущие стены выстиранного белья, — это чердак, о нем ни желания, ни слова: *что* чувствуешь там, *какого* рода предчувствия охватывают тебя, принадлежащего к виду второго лица. По утрам, еще затемно, он писал стихи, начиная каждое словами: «Приветствую тебя, капитан Лоб!» Когда-то они были соседями.

А что тут помнить?

Собственно, *что* и *как*, и главное — *кто* должен помнить? Я не пишу этого, поскольку о чем пишется, того не существует изначально — но любопытно, (говорит кто-то, обращаясь к себе), что это я *говорю* с собой о том, как, двигаясь вдоль берега, не прекращаю говорить о продолжении истории. Катер, бензиновая гарь, скудная плоская волна. Смываемая проторенность есть продолжение, сматываемое с веретена безначальности. Не спеша рассыпать и собрать смальту вопроса, содержание которого выражено предложением: «Что такое история?»

Истеризация тела события.

Предположение: последовательность реакций действующего, праздного, вовлеченного или, если угодно, причастного лица на угасание и возникновение, — шум гаснет и в ту же секунду возникает из совершенно другого источника рядом новых звучаний, волн — раздражений мембраны, возбуждающих воображение. Секунда не является мерой времени. Какое различие располагается между «секундой» и «тремя с половиной годами»? Подлежит ли описанию референт означающего «никогда», или «буква», или просто «равнина». Оставьте это свое двигать руками! Кажется, к вам обращаются, вас спрашивают человеческим языком: что вы делали на крыше? Кто с вами разговаривал? Зачем? Не волнуйтесь, постарайтесь вспомнить. Вы шли по улице? Да, хорошо. Вы шли по улице, а в это время... да, а в это время проплывала яхта... вы запомнили время? Нет, я не запомнил время. Я запомнил другое. Вот это другое нас очень интересует. Постарайтесь не волноваться и подробно вспомнить: что вам показалось *другим* в тот момент? Неужели это так важно? Поверьте нам, это имеет огромное значение. Нет... не помню.

Количество согласных и гласных. Какой смысл вкладывается в полую скорлупу событий? Да, бесспорно, лук состоит из того же лука (из обихода описания изъято жало стрелы, впрочем, во многих построениях важно не ее завершение в сходящем на нет и несущем отрицание острие, но ее векторное разрастание), смерть состоит из ее предчувствия, снимаемого слой за слоем приближением к слову, любому, которое не схватываемо по определению: каждое понимание оборачивается попыткой представления смысла как величины конечной, завершающейся, исполняющейся в преддверии следующего. Допустим, время путника изводится из отвесной стальной плиты пункта С. Закончится война и запоют птицы. Вдоль старого, разбитого шоссе. Марсель, мы встретимся в Pannakin'e за чашкой шоколада, забытые в снегах и тропах птичьих перелетов, опутанные

лозами в изумрудных снегах кромешно летящих страниц, среди трассирующего шороха легчайших, как дуновение Эола, шин горных велосипедов, на краю вселенной, где, прикрывая воспаленные бризом глаза, — каждому наяву Европой, Средиземноморьем, архипелагами, чьи имена не-сметны, как сокровища растущих кристаллами мгновений: адрес прерывания. Сонм остановленных снов. Взгляд вовлекает в процедуры опознания (что ощутимо унижительно) означающее равнины, на которой некто неопределенного (по-видимому, из-за изрядной отдаленности) возраста и пола выходит на дорогу, то есть в путь, в метель, в солнце, в опасность, в открытые двери, за которыми они тут как тут, еще бы, ведь они уже знают, как все произойдет, а я — нет. Вместо этого достается фраза: вес времени равен весу наручных часов, за исключением веса витого браслета дутого золота. Он дорог памяти. Не успеть до смерти. Я был бы счастлив, если б не этот унылый ветер осени. Мы по частям, неимоверно медленно, постоянно сомневаясь, возвращаем миру то, чем он «одарил» нас при рождении; вероятно, это и есть вечное возвращение, рассекающее *присутствие* на вечное несовпадение «я уже был» и «я буду опять». Обман веществ. Биение, идущее по кругу: оставление веществом данного. Следовало предпринять попытку уловить тончайший разрыв длительности или муху. Ложь непрерывности очаровала меня с ранней юности. И теперь мнится, что я *вспоминаю* себя в юности. Не раскрывать продолжения — главная задача. Таким образом, выходит, история либо круг предметов, ее составляющих. Каждая из них — если кому-то приходилось добираться к ее концу — мерцает возможным знанием, чья призрачность не обескураживает. Нарастающий шум, скрывающий в себе все мыслимые оттенки и обертоны истинного звучания. Истина пребывает/прибывает в шуме, изменяя материю ее восприятия — становясь шумом, сокрывающим истину неустанного размывания, расползания, слоения: прибыль стирания. Мусора. Естественно, вам ничего не известно. По-иному быть не могло.

Но кому известно, к кому направлено известье, безвозвратно оседающее карстом в кровеносных сосудах? Никакой интерпретации. Читаешь так, как оно читает тебя. Между тобой и речью — язык. Харон как коммуникативная функция. И это не представляет особого интереса. Окаменевшие груды мусора. Океан отдает его щедро и безусловно. Океан безупречен, как формула преломления света в антрацитовых призмах Лотреамона. Кристаллические виски камня. Ненасытность зрачка в ненастье. Когда возвращение в «personal writing». После — пульсация эллипсиса. Слой послания в архе(о)логии. История «о». Нет, все не так, все, что ею говорится, говорится не ею. Для чрезмерного распределения в простирании — паратаксис. А кем же, позволительно ли будет узнать? Чревовещателями? Демонами? Детьми? Сухими, как скорлупа событий, листьями? Нет-нет, какими уж там демонами! — обыкновенными психотерапевтами. Я приказываю себе (вне всякого сомнения, не преступая дружеского тона!): «Ты не пьешь, ты никогда не пил; это не твоя жизнь, а другого находится в полной зависимости от алкоголя, от химических вихрей, кипящих на вогнутом дне виноградной ягоды, а ты лишь непритязательное дитя в батистовой сорочке, сидящее на подоконнике грязного дома, где тебе грезится, что ты — целомудренная буква “О”, золотой обруч мнимой прибыли, календарное искажение хода светил, или же узор родинок на спине твоей матери, по которым отец однажды прочел твою судьбу, как по глагольным скрижалям Уорфа—Хлебникова». Так каждое предложение могло быть дописано другим. Дождем. Пылью. Когда ее много и она неспокойна. А дальше?

Меланхолия визуальной культуры, бросающая отсветы на отмели воздушных змеев.

Льды, ангелов таянье, победоносные звуки грубы на подъемном мосту, груды щебня, архипелаги вставных че-

люстей посреди вод многих коррозии, мглистые крики чаек, несколько теперь окончательно невразумительных слов — остаток, с которым придется провести всю оставшуюся жизнь. Конечно, это кажется грустным. С фальшивым воодушевлением и улыбкой развести (кто бы мог подумать!) руками. Добавить — лестницу, невесомый косой свет на чьем-то лице, борьбу на ступенях. Добавить непредсказуемое постоянство и упорство, с которым наделяется существом смерть. Даже прозрачайшая прядь прозрения в тягость. Имен нет. Утверждение «нет» пронизывает опыт всецело. Exoskeleton. Подоплека истории: «тело есть нескончаемое отречение от него самого, как от внешнего». Или же — отдаление. По причине которого не разглядеть, кто именно движется по равнине. Каждая часть, каждый фрагмент, дробь — бесплотный бессмысленный знак только лишь увеличения скорости в упреждении «целого». Падающая в ванной, тело, скользя, исторгает из себя пенный поток крови. Причины неясны. Одиночество мыла — последняя инстанция непроизносимого, стираемого стирающим. Мытаем одновременно, затаив в глубине души ни на что не годные снимки пейзажей. Душа не что иное, как рисунок пор в скрупулезном переложении на рисовую бумагу. Небо состоит из гласных и согласных, затем из имен нарицательных, нитей и последующего *от-речения*, исправленного языком. Телефон и стрелковое оружие (продолжай сам) — голос грома, ухо воды, рука молнии. Мифологическое протезирование. Смерть гонит свой стада по вполне привлекательной местности. Лилии, асфодели, асфальт. Узнаешь? Слева на фотографии она, а там, между двух голов, окончательно выцветших от выстрелов в упор, кажется, я... Что значит *кажется*? Нет, не помню. Ты обязан был там быть! Наконец, существуют объективные доказательства. Таковы замечания. Их надо учесть при следующем обращении к повествованию. Также необходимо произвести некоторые замены. К тому же, например, дать сноску для предложения: *«поскользнувшись на обмылыше, падая в ванной... протагонист*

раскроил череп (sic!) разбил голову о край металлического аптечного шкафчика», — так как, невзирая на очевидное сходство, авторская реминисценция вовлекает в круг ассоциаций вовсе не смерть Марата, но отечественный триллер, посвященный лидеру освободительного движения (одного из движений), ставшему жертвой коварного предательства соратниками в ходе партийной борьбы, в результате чего в осенний холодный день среди ваз с астрами, беспорядочно расставленных где попало (в самой ванной астры уступали место букетам сухих хризантем), его убивает приходящая служанка, одетая в крепдешиновое горчичного цвета платье с открытой спиной, сделав вид, что ей внезапно понадобилось что-то в ванной комнате, что было, вне сомнения, превратно истолковано лидером (секс, как мы узнаем позднее, есть тривиальная проекция любопытства), плывшим по остывающей воде в ладье мыльной пены с мокрой корректурой победоносной речи в охлаждающих мраморных руках, которую этим вечером надлежало произнести перед парламентом, методично, подобно осадной артиллерии, обрушивая аргумент за аргументом на головы растерянных коллег. К этому месту относится предложение о реках коррозии и таянии ангелов во льдах стекол сходства. Что в итоге? Аэропорт J.F.K.? Литераторские мостки? Лафет и далекий от выгод Шопен?

«Я на минуту, — сказал, втискиваясь в дверь боком, о. Лоб. — Слыхал? Они сравнили убийство г-на Г. с убийством Марата! Ни много ни мало! Прямо в подъезде из АК. О Боже, я растекаюсь куском сливочного масла на сковороде... надеюсь, ты внял моему совету и поместил соответствующее примечание, в котором должен был указать на порочность и, того страшней, — наивность подобного подхода? Невыносимая жара, просто невыносимая, — кто ответит мне, как жить в такую погоду?»

«Я спрашиваю, где мы живем? — внезапно задался вопросом о. Лоб. И без промедления посторонним голосом себе же ответил: — Страна всезнаек, действительно... over-educated, что ли...» Зазвонил телефон. Звонок меня перехитрил, напомнил, что пора варить кофе. «Меня одолевают раздумья, — продолжил о. Лоб. — Не уверен... но меня полнит явная неуверенность в будущем. Если так пойдет дальше, придется будить Карла. Не оставлять же его здесь?!» — «Где это, по-твоему, *здесь?*» — спросил я маши-наль-но, совсем не думая о Карле, существующем в двух плоских жизнях одновременно, будто ногтем прорисованном на морозном стекле троллейбуса и не предпринимавшем даже малейших попыток связать их в одну линию, хотя бы для того, чтобы быть понятым на протяжении одного часа в день. Как не думал о том, почему при слове «Карл» в воображении возникает образ фрагмента остановленной спекшейся массы, рельефного пятна, шлака, что не соответствовало моему подлинному к нему отношению как к скромному объекту предложения. «В таком случае, — сказал о. Лоб, — я бы прибегнул к старомодному теперь термину “смысло-образ” — в качестве рабочего понятия он еще долго будет в ходу». Наверное, поэтому мне стала претить настойчивость мысли, требующей во что бы то ни стало разрешения (скажем: распутывания, то есть освобождения от пут частного, если следовать привычному порыву этимологического дознания стертого утверждения) определенного, изначально данного темного места, или интенционального «пятна», а проще — проблемы либо задачи, решение которой, по обыкновению, должно как бы стать очередной стадией дальнейшего продвижения в узнавании, которому помимо прочего надлежит, прибегнем к утешающей образности, сшивать разрозненные лоскуты образующихся еще не ставших сведений в целое опыта. По телефону сообщили то, что через несколько мгновений я начисто забыл. Первые помнят то, что вторые понимают и третьи хотят, вторые понимают то, что первые помнят, а третьи хотят, третьи же хотят того, что помнят

первые и понимают вторые. Где-то здесь. Остался кофе и продолжавшие лежать передо мной страницы, в которых необходимо было найти что-нибудь стоящее внимания. Разумеется, не может быть и речи, я в это верю. Но как понимать, почему при прочтении слова «диких» мое воображение быстро и плавно «ткало образ» персоны, действующего лица, человека, одновременно сгущая также условную среду его обитания во что-то понятное и знакомое. Стволы буков в дождь наливались бархатной тушью, наделяя небо изысканной смутой плохо переведенной книги, чтение которой иногда бывает приправлено пресной горечью весны.

Мы проводили время на мостах, уставясь в бегущую внизу воду. Удилища ломались в отражениях. Косо натянутая леса дрожала, будто ей сообщалась тоскливая сила жаждущих мертвых. Ничего не уходило. «Молодость моя прошла», — говорил он обычно, завертывая к локтю рукав, чтобы протянуть руку через весь стол к блюду с жарким. Имя собственное «Диких» в дальнейшем изменится на «Турецкий». Такова хитрость. Мелкая, короткая, но с худой овцы и шерсти клочок. Дела нашей конторы шли туго. «Сочинение стихотворных поздравлений, помощь начинающим писателям» утратили былую притягательность. В стране, где прошла моя жизнь, все хотели стать писателями. И становились. Дело вкуса.

— Дело не в поздравлениях, — однажды сказала Вера, кутаясь в шаль.

— Дело в другом, — согласился я.

— Так вот, к нам обратился молодой человек с просьбой просмотреть его рукопись. Ему хочется сделать из нее... роман, может быть, повесть. Неважно. Думаю, тебе не нужно объяснять, *что* это может для нас означать.

— Не нужно мне объяснять.

— И хорошо. Дело облегчает то, что материал позволит не тратить на него слишком много времени. Посмотрим и издадим.

— Если я правильно понимаю, он пытался что-то написать, и у него не вышло.

— Нет, у него все вышло.

— А за что молодой писатель будет нам, то есть мне, платить?

— Он не молодой писатель. И платить он будет *нам*. То есть мне, а я тебе.

Но мы оба давно знали, что контора доживает последние дни. Как и то, что последняя случайная возможность ничего не изменит, даже если она явится в лице Набокова или Бердяева. И вообще, ничто ничего не меняет. И главное, никогда не меняло. Я ей так и сказал:

— Вера, сколько можно курить! От тебя несет всеми пожарами всех времен! И потом, ты сама видишь, что встреча с юным писателем ничего в корне не изменит. Предположим, я возьму рукопись, прочту, — ну, разумеется, ради тебя... Кстати, откуда мне знать, а вдруг в ней на самом деле откроется что-то необыкновенное? Но я повторяю — тебе все равно, в стену горохом, — даже если нам заплатят три копейки, ничего не изменится. Видишь ли, — сказал я и ловко выпустил изо рта несколько колец, — тут дело не в рукописи, не в молодом человеке. И ты это знаешь лучше моего. Удивляет другое. Уму непостижимо, но я до сих пор просто понятия не имею, ради чего ты затеяла это, с позволения сказать, *дело*?

— Почему ты спрашиваешь об этом только сегодня? Почему это тебя не волновало прежде?

— Потому что раньше я не думал о том, с какой стороны будут стрелять, когда я выхожу с тобой из подъезда.

— Теперь многое проясняется, — протянула она.

— Что проясняется?

— Во всяком случае, то, почему ты в последнее время упорно отказываешься со мной поужинать!

— Если мне не изменяет память, в последний раз меня приглашали ужинать года четыре тому, в день, когда расцвели первые вишни!

— Тогда действительно расцвели вишни? — с подозрением в голосе спросил о. Лоб.

— Какое это теперь имеет значение, — ответил я.

— Тогда, наверное, имело. Ну а рукопись? — справился он.

— Какая рукопись?

— Ничего не понимаю, ты сказал, что она тебе дала рукопись...

— Что ты, собственно, имеешь в виду?

— Вот это я и имел в виду, — шепнул о. Лоб в кафе, после того как незнакомый человек с приветливой улыбкой осведомился, когда будут готовы его «заметки». На подсевшем к нашему столу хорошо сидел легкий светлый костюм. Галстук производил также приятное впечатление. Очевидно было, что галстук в гардеробе не одинок. Слегка воспаленные глаза говорили о том, что их обладатель либо проводит дни на пляже, либо начинает наливаться с утра. Я склонился к последнему, поскольку не смог отыскать на лице никаких следов загара. Их не было, равно как и следов какой бы то ни было заинтересованности, хотя таковая прозвучала в голосе.

— Это зависит, — сказал я ему. — Видите ли, мы сейчас основательно загружены работой. А вы автор, который передал нам рукопись? Ну, придется набраться терпения.

— Ладно, — сказал человек, протягивая мне руку, — мне терпения не занимать. Турецкий, — добавил он. — Я подумал, что, если нам придется вместе работать, наверное, нужно знать, как кого зовут. Моя фамилия: Турецкий.

О. Лоб схватил руку Турецкого и затряс ею в воздухе.

— Конечно, сотрудничать, — Лобов, — сказал он. — Зовите меня просто Лобов.

— Вы тоже работаете в издательстве? — спросил Турецкий.

— Да, конечно, со дней начала. По мере возможностей. В отделе писем.

Я попытался представить, какого рода словесность придется читать. Не сумел. Не смог. В кафе было накурено. Из-за музыки посетители, в большинстве своем художники, да и все остальные, другие, но тоже, скорее всего, художники или вовсе не художники, говорили друг с другом утомительно громко. В углу сидел не художник, хотя философ. Он понимал очень много, не подавая вида, что не успевает понять всего того, что задумал когда-то понять. С утра до ночи без усталости он мотался по городу с лекциями, а вечерами работал маркером в бильярдном клубе у Никольского собора.

— Привет, — сказал он, когда я отошел от нового знакомого. — Присаживайся. Как дела?

— Ну да, — ответил я, — отдых полуденного фавна.

— Меня уволили, — сказал он. — Дело не в этом.

— Плохо.

— Я бы сказал: не очень.

— Так в чем же дело?

— В разном. Вот ты, например, совсем не развиваешь тему снов и ковров.

— Бог с тобой! Кому они сдались?

— Ошибаешься. Ковры необходимы всем, а тебе прежде всего из-за смысла сокровения, а никоим образом не так, как тебе кажется. Были бы ковры... — он усмехнулся. — Словом, я хотел просто напомнить. Ты мне веришь? Скажи, что ты мне веришь, и я отстану.

— Нет, тебе это сегодня обойдется намного дороже. Тебе это обойдется в два пива.

Однако мысль, а возможно, желание мысли в последнее время отказывается предстоять (правильнее было бы сказать — «создавать») ни загадкам, ни всевозможным сокровиствам (впадины? полости? по-ры?), образующим реальное, и т.п. Истории снова ринулись на меня со всех сторон, одичавшие вполне, сравнимые разве лишь с ордами варваров (сонмами червей — из другого источника), идущими на прорыв ветхих границ империи, пребывающей в заносчивом

неведении: еще вчера она успешно управляла ходом светил и сочетанием тонов благоденствия. Кора, остывание. Только в пятьдесят лет я окончательно стал писать именно так, как мне того хотелось всю жизнь. В чем заключаются особенности такого письма?

Мне хочется, чтобы, читая это, ты сошла с ума.

— Раньше ты хотел другого.

— Раньше я верил в произрастание злаков, в судьбу, шествующую в толпе ряженных, а также в свою власть над образованием камней в почках.

Так будет лучше для всех. Кроме того, мне хочется найти тебя, я еще помню твоё изображение на серебряной пластине рассвета, разомкнувшей мой мозг слепым разрядом бессонницы.

Вероятно, в данный момент я недостаточно задумчив, тем не менее *ей, этой мысли*, достаточно её самой — праздной, бесцельной, не взыскующей подтверждений не только в собственном существовании, но и в наличии меня (о, я все еще продолжаю полагать, будто начало её лежит во мне), — ленивая, отрешенная от жажды постижения, схватывания, в довершение беструдно отторгнувшая «я» как факт, чрезмерно преисполненный фиктивными возможностями, она безо всякого усилия и вожделения властвовать во мгновении вхождения в неизвестное совлекает, опуская из фокуса своего внимания то, что я бы, пользуясь неразборчивостью в средствах как пишущего, так и читающего, назвал бы «различным». Амбивалентность «постоянства/изменения» настолько тривиальна в неустанном обращении, что о ней забывают в нескончаемых полемиках, посвященных проблеме присутствия человека в среде, им создающейся и трансформирующей его же неустанно. Здесь становится очевидной необходимость прямой речи и признания в любви. Я знаю, что тебе нужно, — ты хочешь, чтобы я сошла с

ума! Но что в таком случае нам назвать любовью? Не говорил ли я, что отношусь к тебе довольно странно? Не слышу. Произнеси разборчивей, пожалуйста. А поэтому не вижу, почему бы слух не принять как основополагающее условие в проблеме передачи. Наверное, все это из-за тумана... помехи. Интересно, слышишь ли ты меня? Какая из неисчислимых дробей времени и пространства, нами населенных, наиболее открыта этому состоянию, — но состояние ли то, о чем мы говорим с тобой как о любви? находится ли оно вне, ожидая своего срока, или же, словно шелк с кокона, сматывается с нас, сматывая на нет заодно нас самих?

Силуэт Карла. Вечно грязные линии. И вещи.

Кстати, вот и воздушные змеи скрылись из виду, — не в том, разумеется, дело, в конце концов я не обязан всю жизнь с благоговением наблюдать за явлениями природы. Положа ей голову на колени. Нет? Не знаю. Говорить об «изменениях» и «постоянном» в какой-то момент означает говорить об одном и том же или же о двух перспективах, в которых это «одно-и-то же» вступает в игру сознания, в бесчисленных актах неуследимо ткущего постоянную реальность в намерении эту реальность постичь. В таком случае мне остается напомнить: последний раз мое признание случилось накануне твоего отъезда, хотя, хотелось бы напомнить, именно подобного рода подробности всегда были самым слабым местом, и порой мне невероятно трудно восстановить бывшее, даже в тех случаях, когда оно необходимо для реставрации настоящего, которое мы либо опережаем в своих намерениях, либо за которым не успеваем и от которого нас относит, разрывая все пунктуационные привязанности, уносит и дальше в бормотание, где мнятся истоки наших времен, поскольку я не совсем убежден, что сижу в эту минуту за столом или же перед монитором с неопределенным выражением лица, тщаься вычитать из смывающихся друг друга строк причины нежелания (банальное определение его как *особого желания* неминуемо) доверять достовер-

ности буквально происходящего, и как бы то ни было, согласись, мы провели тогда прелестные день и ночь в твоём (уже невообразимо далеко) доме, с едва ли не детской страстью наделив их статусом начала, к чьей бесплотной черте все так же прибывает потоком жалкие остатки чего-то, чему не отыскать даже имени: крики, шепоты, сухие семена, смех, пионы, теплая на ощупь доска забора, платан, капля, обреченная не свершающемуся падению сквозь солнечную рябь, не достигающая дна капля света или влаги. В последующей моей жизни этого становилось меньше, вещи как бы убывали, они истончались, сохраняя очертания, имена, но напоминали скорее нечто подобное кенотафам. Я иногда вспоминал Египет, но совсем уже по другому поводу.

Но двор, который можно было наблюдать из кухни, как всегда, привел меня в безусловный восторг идеальной формой запаздывающего в теснине опустошенности звука, полным безразличием ко всему, не исключая солнечный свет, который, изредка попадая в скобки его необязательных примечаний, ничего не менял в очертаниях представавшего взору и тончайших его оттенках безвидности, однако в тот день ты принесла охапку жасмина и долго возилась, пытаясь втиснуть цветы в узкую вазу зеленого стекла. Я смотрел, как двигаются твои худые лопатки под горячим шелком платья; странное различие в температуре ткани и твоей кожи возвращало к неотступной мысли, что, вероятно, на том свете эти прекрасные льющиеся платья, чьи пуговицы так беструдно расстегиваются, станут единственным достоверным воспоминанием, — не сказать более, раздумывая о потерях, которые несет значимость, будучи вовлеченной в процедуру сравнения, полагая, что высказывание само по себе есть процесс изматывающего, нескончаемого сравнения, игры уравнивания на сцене представления, однако трудно удержаться (дыша на пальцы, пишет он/она/оно), чтобы вновь не откликнуться его соблазну в попытке представить, как я рассказываю тебе о том, что несколькими

строками выше пытался поспешно выразить — думалось (когда?), что тебе понравится уподобление моего (или же, если угодно, состояния любого другого) привыканию к пределам комнаты, в которой ты живешь, то есть к ее чистейшим пределам, установленным переделом множества вещей, предметов, пересечением их резонансов, перспективами и пр., каждый из которых, может быть, наполнен циркуляцией единственно важного и верного для тебя значения, любое из которых обладает чем-то, что при тех или иных обстоятельствах в состоянии возбудить память, фантазии, в неуязвимых пропорциях смешивающие будущее с не бывшим, и которое в тот же момент не преминет протянуть связи к другому предмету, существующему либо исчезнувшему бесповоротно, — словом, соткать паутину причастности всему подряд (но каким образом и с какой целью устанавливаются ряды...), а другими словами, окружающему, то есть мне, хотелось сказать тогда, на кухне, глядя, как ты возишься с цветами, а за тобой стекло, улавливающее восхищающий меня двор, лучащийся этим особенным перламутрово серым петербургским свечением, испепеляющим какое бы то ни было намерение продлить свет в понимании/описании того, что «место» моего непрестанно ускользающего нахождения создается вот такими незатейливыми вещами, их соотношениями, тогда как они сами по прошествии времени становятся проницаемы для взгляда, тела, ума и превращаются в невидимое, волнообразное не событие пламени, существуя в своем парящем отсутствии гораздо более убедительно и явственно, нежели в первые мгновения встречи с ними, — но кто помнит, как они появлялись, занимали свое пространство, порождая эфирное дуновение собственной сущности — либо своего вторжения (удивительно, как часто это восхищало, приносило действительную радость), определяя в своем постоянном отсутствии границы телесности, ее свободы... Какой-то весной, в первые сумерки на 5-й Аvenues в районе 46-й улицы, закинув ненароком голову, я увидел, как на уровне пятидесятого

этажа трепещет, стоя в воздухе, клок газеты, грозно и неотвратимо медленно восходя среди стен и небес.

Я замедлил шаг, а потом едва не остановился. Не помню, кто-то был, наверное, еще. Напомни, пожалуйста. Теперь-то самое время полюбоваться луной. Как та женщина в метро, с сумкой живых креветок и томиком Витгенштейна на коленях. Никчемность бумажного обрывка, его абсолютная ненужность возвела мусорный всплеск в ранг величественного расставания с привычными формами прежнего существования (две, три минуты тому или сорок два года — напряжение идентичности в очевидном осознании различия). Скажу от себя, с тебя станется. Не произнесенное ни разу не может быть повторено. Пространство между сознанием и телом остается культуре, четкам. Оставленность и пустынная заброшенность детства внезапно переместились в иное измерение — было ли это временем, пространством, ожиданием, предчувствием, воспоминанием? Этот сдвиг не сулил ничего, кроме обыкновенного недоверия к происшедшему. Вопрос, однако, заключался в том, что «происшедшее» как бы вовсе и не произошло, потому что уже было в опыте как его нарастающее отсутствие, оно уже давно случилось, — нет, быть может, оно просто неожиданно отслоилось и стало быть само по себе, безо всякой нужды во мне. Впрочем, было бы ошибкой не учитывать и сложность узора воздушных потоков. Человек, с которым мы возвращались с какого-то не совсем нужного ему и мне поэтического чтения и которого уже нет на земле, тоже взглянул вверх, его красные от недосыпания глаза в долю секунды оказались отмытыми наступающим вечером.

Если я не ошибаюсь, он сказал, что чужие города к концу дня становятся неимоверно огромными, безначальными, но длится это недолго, приходит ночь.

Вот, сказал он, приходит ночь, и ты не знаешь, что сказать, неизвестно, как закончить то, что начал говорить, и поэтому ночью все начинается сначала. А как только ты начинаешь сначала, ты понимаешь, что обречен на бесконеч-

ные и пустые поиски и тебе никогда не добраться до конца, хотя никакого конца не существует, это ты тоже прекрасно знаешь. Существует газета, летящая вверх, и мы, несущие свои тела вниз по улице, и отчасти потому у истории нет никакого конца, история обречена на начало. Я не ответил ему, я был пьян. Он тоже. Мы никому не отвечали и смотрели на клок газеты, который ветер нес к еще светлым небесам Times Square, в которых сверкающий аэроплан по кругам тащил транспарант со словами: «...осталось перебирать четки, потому что руки коротки достать до кувшина».

Существование определяется собственной косвенностью «не присутствия». Так понятней. Намного понятней. Это невозможно читать. В той же степени это невозможно и писать. Однажды на улице, после непродолжительной паузы сказал он, какая-то незнакомая девушка обратилась ко мне с вопросом: «А вы пишете?» — имея в виду, должно быть, пишу ли я в данный момент, то есть «работаю ли я над какой-то вещью», как было принято некогда говорить. Я посмотрел на нее как на идиотку, после чего, конечно же, почувствовал сильную неловкость. Среди идентичных «невозможно» находится единственная возможность, — моя. Как таковая, без каких-либо дополнений, определений. Вещи, если их возвращает огонь, различными способами свидетельствуют, что они существуют ни для чего. В этом заключается главный, первый и окончательный урок. Однако это назидание записано скверными чернилами. Что напоминают вам лежащие перед глазами пятна? Дом? Облако в виде рояля? Деньги? Детские сексуальные переживания? Статуэтку, изображающую Лао-цзы на спине буйвола, отбывающего в страны заката? Половые органы бабочек? Шепот Скарданелли (имя, бросившее вызов многим гимническим строфам), удваивающий бесконечное «да» и в этом удвоении исчезающий в материнской нежности «нет»? Кто там стоит у дерева? Стоит ли нам доверять свободе? Все размыто, и дороги, и склоны холмов, дождь следует долгу не

прерывать сообщения ни при каких условиях — шелковый верх зонта темнеет. Темнеет день. Поэтому, гася окурок в непоправимо треснувшей чашке с остатками шоколада, можно (приподнявшись, протянув уже руку к книгам на столе, уже не здесь, а в измороси, на побережье, в коридорах нетрудной ходьбы, но еще тут, еще не окончательно выпрямившись, еще одной рукой сгребая мелочь со стола, еще) сказать — «старость антихронологична». Так история изменяет свою природу в некой, без конца становящейся, одновременно-сти. Помнится, после, сидя в баре на Blicker St., мы рассуждали о тягостности привыкания к новым домам, где вещи очевидны, грубы, определены материей своего существа и предназначением, но, главное, расположением, поэтому, прежде чем взять чашку, вначале ее необходимо найти где-то на карте мысленного пейзажа, затем отыскать аналог в реальном пространстве и лишь только после того с недоверием взять ее в руки, ощущая непонятное, слегка неприятное удивление от соприкосновения с предчувствием формы.

В Encinitas мне приснились похороны отца. Во сне со всей немыслимо неуместной телесной осязаемостью утверждалось, что, дескать, *эти* — последние. Окончательные. Переминаясь на месте и сутулясь от пронизывающего ветра и кашля, я равнодушно вспоминал, что в моей жизни их было предостаточно.

Некоторые годы проходили вообще без похорон, а в иные случалось, что они происходили почти каждое утро. Мы поднимались чем свет. Мать надевала платье, приуготовленное накануне именно для этого случая, широкополую шляпу из «рисовой» соломы с приколотым сбоку к тулье букетиком бархатных анютиных глаз, и мы рука об руку шли через весь город к одному из кладбищ. Теперь я понимаю, какие чувства мы вызывали у прохожих, например, в середине января. Но зато лето вознаграждало нас сторицей, мы бесследно терялись в утренней пестрой толпе.

Я стоял перед ямой, вырытой ковшом экскаватора поперек (это как настораживало, так и раздражало какой-то непроницаемой, злобной глупостью) грейдерного шоссе, перед собой же видел спины людей, в свой черед напряженно вглядывавшихся куда-то вперед, то есть перед собой. Как же так, задыхаясь от негодования, думал я — до каких пор, сколько раз это будет происходить? Каковы гарантии того, что эти похороны последние? Кто даст мне эти гарантии? Нет, не то чтобы это было чересчур утомительно, дело в другом — в присутствии откровенного привкуса какой-то безысходной халтуры.

Из разворачивающегося повествования сна постепенно становилось ясным, что его хоронят чуть ли не сто семнадцатый раз. На этот раз стояла сумрачная, сухая, слегка морозная погода. В тот же момент, когда число себя утвердило в образе соломенного жгута (которым обвязывают ржаные снопы), я ощутил прикосновение серого льда к векам. Кто поручится, что этот раз последний, услышал я голос, могущий принадлежать, по здравому рассуждению, единственно мне. Чувствуя в груди недостаточность каждого вдоха, не сдвигаясь ни на дюйм, я произнес, якобы обращаясь к отцу, короткую, задолго до того подготовленную речь, содержание которой несколько устарело к моменту ее произнесения, но слов своих не расслышал из-за налетевших порывов жгучего ветра, однако по собственным губам успел прочесть то, как слова поштучно и с неизъяснимым хрустом покидали рот, где будто от запредельного холода крошились зубы. Сыпало изморозью. Сквозь иней, повисший в воздухе, вместо привычных российских ворон на сухих сучьях дерева я различил несколько иссиня-черных воронов, вокруг которых в неподвижных завихрениях расцветал покуда еще беспомощный холод. Наверное, посреди металлического, нескончаемого свечения дня, упрятанного в маслянистые складки сна, было нестерпимо душно. Возвращаясь к сказанному выше, хочется просто отметить, что

ныне вещи стали проницаемы вдвойне — я нередко задерживаюсь перед тем или иным предметом, испытывая иной раз мало поддающееся описанию недоумение, иногда страх, поскольку исчезает их привычное сопротивление, как бы относившее на протяжении жизни от того, что, как подсказывало неутихающее подозрение, располагалось за стеной. Но и там, если суждено рано или поздно туда попасть, — как там удастся нам друг друга узнать? Где ни подобий, ни различий. А недавно я прочел несколько страниц из собственной книги, изданной, в общем то, не так давно — и точно так же ничего не понял из того, что возникало перед глазами. По-видимому, они желали иного. По-видимому, они желали другого (повторения?). Никак нельзя было понять, чего именно. В обрывках их разговоров, обращенных неясным образом ко мне, казалось, иногда можно было угадать какой-то смысл и, действительно, наступали минуты, когда я уже был близок к тому, чтобы целиком с ними согласиться и разделить их ликование или... может быть, печаль (я ведь могу ошибаться), но спустя несколько времени я снова соскальзывал в омут невразумительности происходящего. Терпение их было безгранично. Солнце восходит, отчетливо повторял кто-нибудь из них. Люди заслуживают лучшей участи, подхватывал другой. Привлекательная женщина со смуглым лицом (аметистовое кольцо, худые пальцы), сидевшая поодаль у двери, чаще всех обращалась к мысли о предназначении человека, об избранности определенного народа, о его сокровенной судьбе. Повторяю, мне хотелось с ними согласиться во всем — разве кому-то известно, как мне необходимо согласие, пусть даже и такое, поспешное, — хотя при этом я недоумевал, почему человек заслуживает лучшей участи, почему должен быть избран — и, главное, кем? — какой-то народ, тогда как «сокровенная судьба» его вызвала в воображении странный образ незнакомого огромного здания с выбитыми окнами, черное тесто неподвижной толпы внизу и холодную звезду, дрожащую зеленой иглой в тягучем воздухе умиления и подлой нена-

висти. Но они меня будто переставали замечать, когда я, следуя им, тоже пытался что-то рассказать, например, о жасмине, о затаившемся в кустарнике дожде, о дворе, разделенном дощатым забором на две половины, о глубокой черной луне колодца, благоухавшей свежестью ночных цветов и петунии. Они кивали головами, делали вид, будто это для них имеет несомненное значение, но немного погодя снова перебивали меня нелепыми вопросами, хотя я, отчасти из-за духа противоречия, продолжал свое. Я сказал: наконец ты разобралась с цветами. Позолота верхней каймы на вазе кое-где отстала, темно шелушилась. На твоём мизинце угасал крохотный лепесток не то стекла, не то чешуи, отражавший прохладно запавшее небо Петербурга, дом напротив, глядящийся в воды Гёбра, простор улицы, тончайше вписанный в вечернее вещное бормотание, порождаемое лишь вот таким образом: в выпуклом зеркале меры сравнения, за пологом которого цвели розы дыма и несколько человек глухими голосами совещались о необходимости расследования случая гибели колесничего. Тебе нравилось, раздвинув ноги, уперев их на радиатор отопления, сидеть на подоконнике, лицом в комнату, и тебе хотелось, чтобы я обнял тебя и чтобы (если кому доведется) кто-нибудь видел твою худую голую спину, позвонки и руки, обнимающие тебя. Ты говорила, что вот, они сидят там, далеко отсюда, в самых концах коридоров волшебных стекол, в комнатах, где, наверное, гуляет, натываясь на углы, ветер, и пьют вино, предаются завораживающим исчислениям (довольно удачный пример того, как действует искажающая оптика), а может быть, оплакивают смерть попавшего под колеса щегла, или просто тупо сидят, потому что все закончено, и в том числе день, и тем временем замечают меня, сидящую на подоконнике четвертого этажа, причем внизу не умолкает улица, с Литейного заворачивает очередной поток машин, и поначалу они думают, что это я сама себя обнимаю, и только спустя несколько минут кто-то из них нарушит молчание и скажет: смотрите, мол, какие длинные у нее руки, таких рук

не бывает, так себя ни за что не обнять... а потом, приглядевшись внимательней, раздевая меня дальше (несмотря на то что на мне давно ничего нет; ты давно все уже снял, помнишь? — когда говорил о шелковых платьях...), они поймут, что за моей спиной, конечно же, совсем не мои руки, в то время как наши едва уловимые движения (вот почему я просила тебя быть сдержанней), их особенный ненавязчивый ритм (а это можешь вычеркнуть) свидетельствуют совсем о другом, нежели ее, то есть *мое*, желание привлечь к себе внимание. Логика таких совлечений непредсказуема, порой не лишена изящества и потому дарит наслаждением. Каково бы ни было сопряжение — оно в настоящий момент всегда безусловно истинно в той же мере, как и ложно. Снизу доносится запах жасмина. Многие погибли, но многим удалось скрыться в горах или само описаниях.

Однажды в поезде, возвращаясь из Москвы, передвигаясь в сумерках полуденной дремы, блуждающей по непреклонной линии движения поезда, я застал свое воображение за кропотливой и довольно странной работой: методично и размеренно оно ткало твою смерть. Детали являлись сами собой, причем были гулки и пусты, предназначение их, пожалуй, заключалось в том, чтобы делить и распределять пространство, но не сообщать что-либо о времени, месте, предпосылках их обращения к тебе. В холодных и отвесных плоскостях людной улицы я неукоснительно выделял (недостаток оперативной памяти) фрагменты кривых цветовых пятен, твой облик, исполненный сладостной скоростью падения каждого, точно он плыл в стоячей воде.

Сквозняки определяли направление прохлады. Речь состояла исключительно из предлогов. Несколько пунктов.

В одном из них — мы прекрасны. В другом — орлы покрываются льдом и обмениваются с воздухом протравленными насквозь монетами тяжести. Там же, где мы прекрасны, находится несколько книг. Их содержание общеизвестно, но перерассказать его никому не под силу.

Ты косо шла наперекор закатной тени у Казанского собора, а далее, как из письма: она перешла Казанскую улицу, прошла несколько шагов в толпе троллейбусной остановки, была ею отеснена к стене дома, где когда-то находился кавказский ресторан, а в это время толпу вяло развернуло к подходившему троллейбусу, тогда как она, приостановясь переждать судорогу хаотического движения, по инерции сделала еще один шаг, оказавшись напротив телефонной будки (тогда такие стояли повсюду), железная дверь которой распахнулась бесшумно, словно с отклеенным звуком, и точно тень из аквариума, скользящая вон к с такой же медлительностью (но в силу совершенно других причин) захлопывающейся троллейбусной двери; оставалась немного, чтобы окончательно ничего не видеть, но ты уже плыла по течению мусорного суховея, в русле безводного плоского плато, камень которого раскален до прозрачности слюды и кровь на котором распадалась на вскипающие молекулы жажды, превращающей «всегда» в «никогда», открывая глазам области вечного ветра, надорванного по краям гула и отсутствия деталей. Сужение сферы исследования.

«Мне кажется, я даже видела это в том сне, хотя во времени здесь явное несовпадение, во всяком случае, не должно совпадать. Но кажется, когда я почувствовала змеиный укус, я сразу стала очень многое видеть одновременно; я, например, видела свою руку и тебя там, в том месте, которое ты только что описал: безводные реки, какие-то русла, пересекающие красные плоскогорья, черные хвойные леса и ветер, пеленавший снежной стужей, необычной в краях, в которых я оказалась не по своей воле, казавшейся ужасающим зноем — виток за витком — словно вынимая из слов и тела. Мне казалось, я вижу в толпе тебя; если не ошибаюсь, и твой голос не выделялся из хора, ты стоял, как в детстве стоят перед фотографом (капли пота, стекавшие по лицу, я помню очень хорошо, будто вообще как бы и не я, но видеокамера вместо меня), и смотрел на стену того самого дома, в котором однажды мы побывали каким-то утром. Но как

называется то место? Где это случилось? Какое имя носит река, по которой плыть твоей голове? Откуда мне известно про реку? Где ты отстал? Где все так быстро переменялось? Что будет отражаться в твоих открытых глазах? Что нам будет за это? Почему все так быстро ушло?»

— Потому что мы жили быстрее, чем умирали другие, — говорит о. Лоб.

— Ничего не понимаю, — раздосадовано говорит Турецкий. — Хорошо. Я несколько раз прочел описание комнаты. Вот, к примеру, кто эта девушка или женщина, о которой идет речь? Более того, вымышленный ли она персонаж или у нее имеется какой-нибудь прототип?

— Что-то я не припомню такого.

— Ну как же не помните! Он пишет о том, как смотрит во двор, и в нем, во дворе, никого нет, потому что, по видимому, из города все, как пишет он, уехали на дачу... интересно, это что, традиция такая — писать про дачи? Ладно, оставим дачи в покое; ну вот, он смотрит во двор, а в комнате его поджидает, наверное, его девушка с цветами. Вот о ней я как раз и спрашиваю: кто она и почему в других местах он все время к ней возвращается, хотя, честно говоря, а думаю, что это на деле не одна и та же девушка. Может быть, это его жена, как вы думаете?

— Нет, почему же непременно жена. Так... просто женщина, и все, литературный персонаж. Чего вы, собственно, добиваетесь от меня?

— Хотите откровенно?

— Наши отношения другого не предполагают.

— Тогда слушайте. Во-первых, я не хочу, чтобы он редактировал мой роман, и я вам очень признателен, если бы не вы, я бы и по сей день оставался в неведении... мне что важно? Мне важно, чтобы редактор в некоторой мере понимал меня. Так?

— Резонно.

— И что отсюда *вытекает*?

— На мой взгляд, отсюда ничего не *вытекает*, — сказал о. Лоб.

Его лицо, успокоившееся в незапамятные времена, теперь было чисто и совершенно безупречно: вне возраста и продолжения, тогда как в очках отражалось плывущее раскрытое окно, в котором отражалось темно золотое небо и «его лицо, успокоившееся в незапамятные времена, теперь было чисто в том смысле, что в нем ничего не отражалось». Тонкорукое смуглое дерево, дикий тростник растет из глаз моего приятеля, которому ничего не остается, кроме как избегать скользящих по стеклам очков беспокойных бликов: прикрываясь рукой, устраняясь, весь — неуязвимость, стертость, старость и все прочее, но только не то, что приходит на ум.

В эту пору лета вечера в Петербурге особенно холодны. Атлантика меняет вектор и меру дыхания. Острова в дельте чернеют, резко. Иногда к ночи падает снег. Я сообщаю ему об этом. Я напоминаю о тех годах, когда в июне шел снег и подолгу не таял на остывающих тополях. От первого лица.

— Что ж, у других растет трава, — говорит он, подавляя зевоту. — Холодно жарко... А толку? Ах, мой друг, не торопи вечер! Не выкурить ли нам по сигарете? Не выпить ли вина перед тем, как выкурить по сигарете? И не отправиться ли к барышням после того, как предпримем то и другое? — На некоторое время он замолкает. Потом добавляет: — Мне кажется, что я выставлен на съедение будущему, то есть на пошлости. Мое прошлое, — говорит он, — теперь не больше, чем переводная картинка с дровосеками, Котом в сапогах, Мальчиком с пальчик, картинка, которую, послушив, можно прилепить куда угодно. Порочно думать, будто много лет назад я не представлял себя именно так, сидящим где-то на краю хуй знает чего, знающим вполне, *как* я буду кому-то повествовать о том, что, мол, в некоем прошлом я уже знал, что его никогда не будет, никогда не произойдет. Но в старости даже самые упрямые пытаются всучить обратно вещам их имена, как будто это имеет значение, будто вещи

или что другое испытывают в них нужду, как если бы они действительно могли вернуть вещам их имена, а не имена — именам, etc., или же как если бы существовала некая инстанция, ведущая непрерывный учет подобных ссуд, так вот, эта инстанция и кажется тем самым перстом укоряющим, который вольно принимать за все что угодно. А ведь логика очень проста и понятна. Банальна. Они не довольствуются тем, что имена просто принадлежат им, а ведь и в самом деле они как бы вступили во владение ими с самого начала, наследовали это право. Для них важно увериться в том, что все это создано именно для того, чтобы принадлежать им. Только один Карл понимал, какая все это несусветная глупость! Никто никому ничего не должен. Никаких имен. Смерть — единственная вероятность окончательно погрузиться в отношения чистых, не становящихся ничем возможностей стать посмешищем. А еще пальцы, как из теплого пластилина... Доводилось ли тебе здороваться с таким человеком за руку? Отвратительно.

В условно насекомом стрекотании камера крупно выхватывает капли пота на изборожденном морщинами лице. Кинотеатр находился в перестроенном длинном сарае для сельскохозяйственных машин. Он обрастал пристройками, а в пору, когда я перешел в седьмой класс, там уже торговали газированной водой с сиропом. В черно-белых фильмах больше цвета, чем в цветных. Играть «под камушек» означало играть на деньги. Снять фильм о городе, о дверях, оконных рамах, ржавом железе непонятного предназначения — затея благодарная. Существуют крыши, поэты, ногти. Воспоминания о войне чередовались с рассуждениями о возможных переменах. Эпичность и гипнотичность первых и мелкая беспомощность последних. У историй отсутствует первоисточник. Разные вещи, множество сказок. Это могло не случаться. Как первое условие каждого повествования. Но все же произошло.

Тем не менее я предпочитаю флоксы, в случае же неимения таковых (что иногда случается) — левкои. Разве мое рождение (в данном случае имеется в виду физическое появление на свет) предполагало большее, чем отдельно существующий факт, доступный сегодня в силу малодоказательного устного предания? Я не уверен даже, что был рожден «я». Похоже, мою мать также порой посещали такого рода сомнения. Она, по-видимому, подозревала (особенно в последние свои годы), что я моим существованием обязан более рассказам соседей, нежели объективным биологическим или историческим фактам. Как знать, быть может, соседи и впрямь чего-то от нее хотели, непонятно, впрочем, чего именно. Завещания в свою пользу? Завещать было ей, увы, нечего. Свои бриллианты (мои любимые серьги с сапфирами были среди прочего) задолго до этого она успела раздарить кладбищенским нищим, которые в благодарность избавили ее от мучившего несколько лет кряду сна об открытой бутылке чернил, падающей со стола на ковер. «Как это мучительно, — говорила она иногда, — ты только вообрази: протягиваешь руку с ручкой к чернилам, а бутылка медленно кренится, словно попадая в поток клея, но все же ничто не в состоянии ее удержать на краю... А мне так и не удастся дописать письмо, но ужасней всего то, что, когда я вижу опять и опять, как она падает, я совершенно забываю, что хотела написать, остается только очень смутное и горькое ощущение необыкновенной важности вновь не написанного. И потом, откуда взялась эта злополучная бутылка? У нас, если ты помнишь, никогда никаких бутылок с чернилами в доме не держали. Да, конечно... если бы я была окончательно наивной, я бы, несомненно, поверила в то, что это сама смерть не дает мне сказать того, что смогло бы раз и навсегда ее отвадить от меня, но, признаюсь тебе, я, пожалуй, даже рада, что все забывается, уходит. Ведь прежде чем меня не станет, оно должно уйти все без остатка. Иначе какой смысл?»

До сих пор не понять, кто чего хотел. Между тем консервы, запасы которых в доме со времен Второй мировой вой-

ны диковинным образом не иссякали, внезапно пропали из кладовой. Все ее шляпы (как же мне было жаль ту, фиалкового тончайшего велюра! — я помню ее такой молодой в Ростове-на-Дону, тень от полей падает на ее лицо, но оно от этого становится еще светлей, ближе, ее серые глаза полны нежного смеха и сияния; а быстрый поворот головы, будто что-то услышала и пытается это еще и увидеть, который в воспоминании ничем не завершается, и краткие паузы вдоха перед тем, как рассмеяться?), все они превратились в пыль, и из коробок, когда их по недомыслию кто-нибудь открывал, роями вылетали майские жуки. Жуки высыхали, хрустели под ногами. Их никто не убирал. Сосредоточенная на невозможности в снах донести ручку к чернилам, она так и не заметила, как в одну майскую грозовую ночь золотая кухонная посуда разом стала бронзовой, тяжелой, неподъемной, ненужной. «Дай мне слово, что ты не сразу женишься, — иногда, глубоко задумываясь о своем, говорила она мне. — Я ведь вижу, как ты изменился, как она тебе нравится, как ты думаешь только о ней и больше ни о чем. Удивительно, но твой отец больше всего мечтал именно о том времени, когда ему придется познакомиться с твоей девушкой, — согласишься, что это несправедливо по отношению к нему... Но знаешь, иногда мне кажется, что все мои сны про чернильную бутылку — и слава Богу, что они прекратились! — о том, что я хочу написать это письмо твоему отцу, но, видно, во всем этом что-то с самого начала неправильно».

Сентенции бабушки раздражали ее неимоверно, бабушка раздражала ее и своим видом, и отчасти еще потому, что встречалась с какими-то «скользкими» личностями, верившими в магическую силу решета и яблок, перевязанных крест-накрест красными нитками. Яблоки они опускали в колодец, и когда надо было вытащить ведро воды, ты поднимал с водой ведро яблок. Вот и весь фокус. Бабушка утверждала, что так они лучше сохраняются до весны. «В голове не уместается! — восклицала на это мать. — Пожилой человек, прожила жизнь, а несешь такой вздор». Конечно,

и про яблоки, и про решето все было бессовестным враньем, как и ее рассказ об ангеле, которого она увидела у забора на сливе (помнишь, я рассказывал тебе тот случай?), но которому скользкие личности верили безоговорочно, как, в общем-то, любому ее слову. Но тогда почему я увидел ее однажды в двух местах сразу?

— А как это у тебя получилось оказаться одновременно в двух местах? — спросил о. Лоб.

— Был в Киеве и, уезжая, увидел ее на вокзале. То есть я увидел ее из окна поезда, когда она шла по перрону, сгибаясь под тяжестью какого-то мешка. А спустя три часа, когда я вошел в дом, она как ни в чем ни бывало читала на кухне.

— Возможно, у нее была сестра, а мать тебе ничего об этом не говорила.

— Вполне может быть, — согласился я. — Но какой в этом смысл?

Мне не хотелось говорить, что в Казатине на перроне я увидел ее еще раз, с тем же мешком.

Ну нет уж, это ни в какие ворота не лезет. Вторую неделю они корчуют пни. Подумать только, как летит время. Однажды мать не выдержала и попросила знакомого слесаря приковать бабушку на цепь. «Что же ты думаешь, — говорила из сумрака комнаты, завешанной всякими травами, бабушка, — Думаешь, ты *меня* приковала? Куда уж как не меня, ты сына своего приковала, и не к сундуку, а к печали». — «Вот-вот, — отвечала мать, — я бы этот сундук печали с моста в воду спустила вместе с клопами, были б мои на то силы!»

Все басни о памяти (какой-то особенной, чудесной, якобы запечатлевшей в «бессознательном» процесс отделения моего физического тела от материнского) представляются мне явно преувеличенными.

Угадай, сколько мне лет? Верно. Но я принимаю их с надлежащим смирением, сколько бы народу ни сидело в комнате. Естественно, я могу допускать разные вещи, в том числе и то, что моя память в самом деле способна хранить

подобного рода подробности, но тут же неотвязно возникает другой вопрос: каким образом сознание может «осознать» их своими? Впрочем, не уверен, что вчера именно я пролил на свои изумительные белые штаны Willa Forest. Умирая в причастии. Умирая в кругообразной тьме. Речь не спасенье и не оперенье. Я имею в виду грамматические формы и осень как медленное отклонение в тавтологию пробела, в ад палиндрома.

Когда мы говорим о чем-то, означает ли это, что мы об *этом* чем-то «думаем»? То есть означает ли в данном случае говорение ряд рутинных умственных операций, удерживающих в одном горизонте чувственный образ, значения, смыслы, связи смыслов, включая еще не схватываемые (не проявленные) структуры их логики дальнейшей трансформации в *иное*, позволяющей функциям разрозненного вступать в призрачные, но от того не менее убедительные отношения частного и целого? Наверное, нет, не решился я тогда в ливень прийти к тебе, все сложилось бы по-другому. Но удивляет в этом другое: я прекрасно помню как я выходила из дома, как ехала в пустом трамвае — помнишь те дожди, они начинались в самый разгар июля, ничто никогда их не предвещало, и в тот раз точно так же, с утра необыкновенно яркое и жаркое небо, ты как раз вернулся из Крыма, а я в самом деле хотела тебя увидеть, думала, загорел, наверное, как черт, а тут люди с ума сходят по конторам, — но, прости, совсем забыла, напроць из головы вылетело, как вышла, каким тебя увидела, — иногда мне кажется, что я тебя просто не застала, или... не доехала, решила вернуться, может быть, что-то о тебе вспомнила и это меня повернуло назад, знаешь, как бывает... кажется, мы тогда часто ссорились... нет, не ссорились, наверное, не соглашались в чем-то, а в чем — совершенно не помню. Иначе стали бы мы возвращаться к «определенным темам» несчетное число раз, принимаясь рано или поздно осознать (и то только как-то мельком, косвенно, будто бы не желая задерживаться мыс-

лью на том, что ее должно позднее отвергнуть), что каждое такое повторение принципиально перечеркивает, отрицает предшествующее ему такое же возвращение/повторение. Из чего следует (согласен, абсолютно бессмысленный риторический оборот!), что мне не то чтобы нужно другое в высказывании, но по какой-то неотчетливо выражающей себя причине необходимо *обесмысливание* говоримого, сведение его в конечном счете к неартикулируемому остатку как к предвосхищению, бормотанию, нечленораздельному подземному гулу (приложи ухо, услышишь), — если к тому же верить, что «в языке все давным-давно свершено». Тогда возникает: «да, я понимаю». Что понимаю? Или же такое утверждение есть обыкновенная фигура воздержания, предполагающая иное значение: «оставь меня, не докучай мне тем, что меня никоим образом не касается»? Действительно, *что понимаю?* То, что для объяснения «понятого» нужно опять возвращаться к высказыванию того, что стало понятным, а потому не взыскующим никакого повторения? Да, ты уже говорил об этом. О чем это я говорил? Когда? В своем ли ты уме? Я говорил о другом. О том, как однажды утром, — иногда (впрочем, все реже, реже и реже...) случаются такие осенние утра, когда окружающее необъяснимым образом предстает в совсем иных пропорциях, объемах, в ином цвете, в другого рода длительностях. Туман окутывает полуоблетевшие липы, косая стена солнечного октябрьского солнца очевидна вполне, а с северо-запада заходит охватившая полнеба клубящаяся исполинская туча, будто некие небесные хребты двинулись на город, — косой гребень солнца, листья, источающие свет нежнейшего растительного распада, пропитанный терпкой камфарой воздух, отчего поднимается ощущение, что он заткан ледяными прядями инея: назовем это «здесь».

«Здесь» нам необходимо, чтобы понять «там», — либо, выражаясь по иному, соотношение с тем, что названо «там» (темной смолы грозовой цвет небес и т.д.). Возведение пейзажа в слепых потемках — штука, по обыкновению, непрос-

тая и требующая достаточных затрат. Видение его также требует серьезных усилий, поскольку ни лист сам по себе, коснувшийся твоей щеки в ломаном и неравномерном падении, ни атмосферические явления, ни хрупкое равновесие тумана не могут стать тем, что они есть в совокупности, — мгновением холодного, как укол освобождения от... ну, скажем, истин. В качестве пояснения прибавлю, что, например, если бы меня сегодня утром не отпустил геморрой, я, возможно, ничего бы не увидел, но с другой стороны, геморрой, его настоящее и сокровенное присутствие в приостановившемся раздражении боли также, безусловно, является одной из составляющих этого пейзажа, наравне с изветшавшей системой памяти, наобум предлагающей немислимые в своей безжизненности и смехотворном ничтожестве «воспоминания», которым якобы должно служить связующим составом воспринимаемого. Все, бесспорно все факторы, включая и те, что являют собой в определенный момент чистое прямое отрицание как таковое, в действительности становятся неотъемлемой частью действительности. По отношению к которой множество фактов, имевших, возможно, явную значимость, тотчас оказываются *вне, за*. И которые нужно впоследствии добывать, вновь оживляя или лучше вновь вживляя их в себя. Трансплантация фактов как органов. Те же проблемы — отторжение, неприятие, совместимость.

— И где ты вычитал все это? — спросил о. Лоб.

— Где-то по пути из Москвы в Петербург, в поезде, — уклончиво ответил Турецкий. — Мало ли где можно вычитать!

— Не понимаю, как можно умиляться такой напыщенной чепухе!

Но я не дал ему договорить:

— Но ты видел Карла?

— Если и видел, то что? *Что* бы, по-твоему, я мог увидеть?

Слева зеркало, справа окно. Да-да, еще в туманном детстве, когда я спрашивал о заброшенном замке, стоявшем на скале, возвышавшейся над округой, мать прикладывала палец к губам и, умоляюще глядя поверх моей головы, едва слышно молила не пытаться судьбу, поскольку в давние времена, следовало из ее поспешного и тем не менее каждый раз обстоятельно повторявшего себя повествования, жил в том замке баснословный злодей, главным наслаждением которого было мучить детей, а затем поедать их живьем. Пояс целомудрия располагает к определенному роду размышлений. Каких детей? Плохих? Детей, которые держат ночью руки под одеялом? Съевших остатки торта и пытающихся это скрыть от Бога? Не выйдет. Отнюдь. Еще чего. Так расправляла свои крыла мечта выучить итальянский. Я думаю о преимуществах знания перед незнанием, в том числе знания итальянского языка, которое позволит, на худой конец, не только петь, но и читать в оригинале Данте Алигьери. Кому он на хуй нужен, твой данте.

Детей, в чьих глазах цветут бледнейшие во всем мире цветы, а тело сковано хроническим насморком? Детей, которые в горячечных мутных фантазиях раздевают — и что маниакально повторяется каждую ночь... ни с чем не сравнимое наслаждение, наподобие итальянского языка или языка как такового — живущую через дорогу двумя домами подальше, к площади, несколько месяцев тому приехавшую из столицы учительницу музыки, и делая это иной раз чрезвычайно медленно, а иногда исступленно быстро, не в силах, впрочем, пройти самую малость, всего лишь последнюю фазу, черту, и потому ничто от того не меняется, поскольку непонятно, что с ней *делать* дальше. Остаток. Потому что это самый настоящий тупик, безвыходность, какая только может приключиться в снах, это — подлинный нескончаемый кризис бессилия! Нет, такие дети впрямь достойны того, чтобы их поедали живьем. Какое там!

Просто детей. Дети, скорее всего, определенно превращались в абстрактный материал, и каковое превращение в итоге оказывалось не совсем ясным. Каким образом? Почему? Я смотрел на скалу, на замок и, отвлекаясь от собственного образа и тела, к тому времени неотступно следовавших за мной по пятам, наподобие двух блуждающих осей отражения, старался понять, как возможно существование «детей» вне всякого статуса, придаваемого им их поступками или функциями. Да и возможно ли такое? Где же то, что именуется мудростью младенца (наподобие врожденного умения плавать, которое в мгновение ока теряем, очутившись на берегу океана, обнаружив впервые, что окольцованы собственным телом)? Детство как чистейшая безотносительная функция (под стать амальгаме) представляло лакомой наградой тому, кто видел его в качестве операторов удвоения, умножения и бесследности. Я сказал матери, что начинаю понимать мотивы злодея, некогда жившего в замке, стоявшем на скале, царившей сквозной буквой пролета над окрестностями. «Так ли?» — испытующе-пристально глянув за пенсне в ультрамариновую бездну моих глаз, спросила мать.

Я провел ладонью по лицу, как если бы хотел снять с него невидимую паутину, — жест, почерпнутый из прочитанного (второй шкаф, третья полка сверху, абрикосы за окном, ноготь цепляет за шелк расшитой полевыми маками и васильками пузырящейся занавески, голова после купания точно в раскрашенной охрой глиняной скорлупе: два определения заведомо лишние), казался мне как и величественным, придающим нужный вес в глазах зрителей, так и выражающим неслыханное одиночество тонкой детской души. Денег мне давали мало. Приходилось воровать в раздевалке гребного клуба, благо я еще сидел на плоту, осваивая автоматизм управления веслом. Только потом я заполучил «Ежа», посудину времен взятия Измаила, но я был безмерно горд и вел его по водам с неподдельным изяществом — байдарка будто что-то изменяла во мне, стала the

best part of my soul. Владение легкой ладьей изменило во мне не только метафизическое ощущение мира, но и сам мир: неожиданно я открыл, что понимаю язык зверей, птиц, некоторых видов насекомых (не всех), слышу, как растет трава, о чем негромко под ногами переговариваются мертвые, причем однажды, направляясь по эллингу с «Ежом» на плече к выходу, вопреки неукоснительно крепнущим привычкам постоянного самоуглубления и анализа, я прислушался: невнятная скороговорка и вздохи доносились из дальнего угла, скороговорка прерывалась восклицаниями, затем наступало кроткое молчание, слышалась сомнительная возня, а затем чей-то отчужденно знакомый голос вновь недовольно бубнил, словно упрасивал кого-то, так иногда спросонок голуби проклевывают кисею утренней тишины вечными и бесплодными жалобами. Подойдя ближе, я тотчас понял, что сравнение увиденного с голубями окажется чрезмерной натяжкой. Гиббон (он зверски выгребал на каное и на пари ел мух), перекинув веревку через балку, подтягивал Зою, буфетчицу с соседнего пляжа, на шею которой была наброшена петля (уму непостижимо, как это ему удалось проделать!).

— Уверен, что в таких случаях своего добиваются обещаниями, — сказал Турецкий.

— Если бы... — буркнул о. Лоб. — Так бывает не всегда. Должно быть, он ей чего-то наврал. Уверен, что ложь более универсальный подход, чем разного рода посулы.

— Но позвольте, разве обещание не может быть лживым?

— Психологически обещание зачастую достаточно себе.

— Я ее выиграл у Шнифта в буру, — кося красным глазом и выдыхая жар пустынь, сказал Гиббон. — Можешь попытаться счастья, они играют за эллингом.

И закончил:

— Хотел бы я видеть тебя на моем месте!

В ответ мне оставалось пожать плечами.

Происходило все до дикости четко, едва ли не машинообразно. Гиббон тянул веревку, девушка хрипела, Гиббон нечленораздельно ругался, ждал одно, второе мгновение, затем веревку отпускал, Зоя валилась на тырсу, Гиббон, подобно льву, бросался к ней и принимался тащить с нее трусы, но Зоя превозмогала обморок, открывала глаза, мучительно мычала и с неожиданной для ее хрупкого телосложения силой отбивалась, но Гиббон опять опрометью бросался к валявшемуся концу шкерта, снова начинал тянуть, все шло по своим кругам — я чувствовал, что еще немного, и мозг не выдержит, я медленно сходил с ума. Черепахи, Сизифы, Ахиллы, вращая свою карусель, иступленно устремились друг за другом, точно в хороводе на краснофигурном килике. «Гиббон», — обратился я к нему, раскрывая портсигар и предлагая ему угощаться. «Гиббон», — повторил я, зажигая папиросу и красиво выпуская горьковатый дым моего любимого сорта. На мне были белые фланелевые брюки, бежевый пуловер, под который в этот день я надел пурпурную шелковую сорочку, на ногах — замшевые туфли на веревочной подошве. Ветер ласково играл моими волосами.

— Реальность, любезный Гиббон, возникает, — но прими мою искреннюю благодарность за предоставленную тобою эмпирическую возможность убедиться в подлинности того, что я намерен высказать... Нет, — и ты вправе мне попенять за допущенную неточность, — не *возникает*, но является из «реального» как следствие особого ощущения возможности — я подчеркиваю! — эту реальность утратить. Короче, реальность не существует вплоть до момента начала ее исчезновения, но также нельзя утверждать, будто она, реальность, существует в несуществовании, а если она возникает в процессе собственного распада, она неминуемо переходит в категорию действительности, поскольку мы воспринимаем ее в осознании ее же действия, i.e. действительности...

Что-то еще мелькнуло в голове относительно стрижей и липового чая, однако я почувствовал, что неотвратимо теряю интерес к казавшейся столь заманчивой идее. В горле запершило. Работа была не закончена. Времени оставалось в обрез, а у меня конь не валялся. Но первое предложение, которым я намеревался начать рецензию на книгу «Холоднее льда и тверже алмаза» для «Коммерсантъ-Daily», давным давно было уготовано самой судьбой.

Остальное, как в таких случаях водится, не представляло трудностей: «поскольку сегодня книга стала не чем иным, как ритуальным текстом, с первых же страниц которой (какое бы название она ни носила) читателю предлагается проникнуть в “центр циклона”, потому что именно там (где там? Что за вздор!) возможно чтение как разделение, расчленение опыта исключительного по силе и воздействию.

Прежде всего, следует отметить, что предлагаемая автором перспектива не имеет ничего общего со злом. В самом деле, наш космос функционирует как/и ~~человеческое~~ (антропологические экстраполяции убираются)... <...> хотя сюжет, анекдот сам по себе кажется слишком уж незатейливым, чтобы быть убедительным. Действие книги открывается тем, что в последнее воскресенье августа некто спешно пишет рецензию для известной газеты (рецензия заведомо заказана) на роман, который начинается ничем не примечательным описанием раннего утра в квартире, обстановка которой носит очевидные следы ночного пьянства. Действующие лица просыпаются один за другим, и по мере возвращения в социальный процесс каждый пытается продолжить историю, вроде бы начатую им накануне. Начала историй читателю неизвестны. Неизвестно также, сколько их было начато. Можно предположить, что некоторые присутствующие играли и продолжают играть отведенную им автором роль пассивных слушателей, что делает догадку о подлинных рассказчиках весьма актуальной. При всем том возникает подозрение, что истории в их последующем изложении оказываются вовсе не теми, что рассказывались вчерашней ночью.

К примеру, одна из них, как следует из разговоров, доносящихся с кухни, где готовится кофе, началась с повествования о запуске воздушных змеев и небольшом английском городке. Увы, одного этого упоминания оказывается явно недостаточно — только-только воображение начинает блаженно таять в краях темного кирпича, плюща, запахов горящего в каминах угля и т.д. (пишущий рецензию, несомненно, отдает себе отчет, насколько он необязателен в риторике), как читатель начинает понимать, что речь идет совсем о другом, и, очень может быть, даже о некой подоплеке написания воспоминаний человека-волка, точнее, о том, как одному из известных русских литераторов той поры приходит в голову идея (впрочем, немного громоздкая) мистификации, которой по истечении времени не преминули воспользоваться определенные круги в целях проникновения на европейский финансовый рынок. Попутно увлекательно рассказывается о русской художественной жизни летом в Одессе, куда съезжается цвет литературы из Петербурга и Москвы. Кто-то из гостей (его фамилия слегка настораживает), кажется, приват-доцент Лобов, оговаривается: “Не уверен, что Панкееву не удалось бы встретиться с W.” Все делают вид, что не слышат этих слов. Сам Панкеев деланно улыбается. Он жалок. Причину его улыбки мы узнаем позднее. Иными словами, предложение, сделанное ему на 10-й линии, делается не впервые. При всем при том определяется, что ни начало этой, отдельно взятой истории, ни ее фальшивое продолжение в нашем чтении (собственно, сам роман) не может рассматриваться отдельно. А в это время читатель, а вместе с ним и мы понимаем, что нам предстает иной, хотя опять-таки очень несложный порядок повествования: от конца к началу, несмотря на то что точку пересечения вымышленного *продолжения вспять* и действительного развития истории к ее будущей развязке поначалу невозможно разгадать как начало (постоянное начало?), возможно, иного рассказа, не имеющего отношения ни к квартире наутро, ни к проснувшейся в ней компании.

Немаловажная деталь, которая не сразу бросается в глаза, сможет, как позднее кажется, облегчить понимание сложившихся обстоятельств, но даже осознание того, что действие происходит в городе, где идет (15? 30? 40 лет?) война, лишь усугубляет путаницу, привнося в повествование привкус банальности, — “поворот” к необитаемому острову кажется неминуемым, если бы не телефонный звонок и подслушанный вслед за тем разговор — неважно, ты бы лучше позвонил утром, потому что он уезжает, все таки он остановился на эпизоде с телефонной будкой, он ему очень понравился, он сказал, что если бы знал раньше, то по другому отнесся бы к актерским пробам, тут, знаешь, эта актриса, не скрою, у нее все неплохо получалось, но чего-то в ней недостает, жалко, конечно, ну все, не траться, клади трубку, как приедешь, сразу звони; а тому, кто хочет проникнуть в роман во всем его реальном объеме, можно только посоветовать обращаться к спрашиванию метафизического плана, поскольку аморфное и лирическое повествование, отягощенное неуместной иронией, в конце концов обнаруживает скрытые разветвления фабулы, и даже не столько самой фабулы, как возможностей такого разветвления. Но что в самом деле неожиданно, так это бережное, едва ли не благоговейное обращение к традиции подробного прописывания характеров, и что в будущем, если автор не изменит себе, обещает стать тем, что называется “большим стилем”, и что, конечно, сегодня утрачено множеством пишущих. Фактически эта первая книга автора, известного ранее по более чем скупым журнальным публикациям, изданная с неожиданным вкусом, на хорошей бумаге, робким, однако не чуждым высокомерия тиражом, ~~предлагает на первый взгляд~~ не оставляет возможности для мысленной проекции будь то портрета друзей либо мира самого автора... *мне не нравится, что тебе придется по сценарию кончать самоубийством, все это настолько безвкусно, что, поверь, мне просто тебя жаль...* который сегодня кажется особенно нелепым и старомодным: классическая последовательность письма,

не унося в иные времена, действует между тем как почтовая открытка, отправленная неизвестно когда неизвестно откуда неведомым корреспондентом утраченного места/времени действия...» — О. Лоб отвел взгляд от страниц, лежавших перед ним, и подумал, что всему свое время. Теперь, а это становилось очевидным, наступало время уходить и передвигаться по улицам к другим местам. Жаль, подумал он, вечер обещал быть легким и приятным, как жизнь замечательных людей.

Но к сердцу подступала знакомая тошнота, означавшая одно — какой бы выбор ни был им сделан, тошнота останется — как осенняя головная боль (может быть, это и есть мигрень, или, на худой конец, подагра, или моя обыкновенная жизнь). О. Лоб почувствовал, что начинает слегка задыхаться, и тем не менее надежда на исцеление вином его не особо влекла.

Словно сквозь стекло, он видел, как беседуют приятели, как за окном в лиловом отсутствии плавает (ты думаешь, плавится? — конечно нет) снег, и чем ярче становится подземный свет фонарей, тем невразумительней то, что вырастает из сумерек. Идучи по Фурштатской, о. Лоб несколько раз остановился, как бы боясь звуком собственных шагов что-то отпугнуть — то, что обещало явиться ему и предвестием чего стало случившееся с ним в кафе удушье.

Он пересек площадь у цирка, но по недолгому размышлению повернул назад к Литейному проспекту. Но и кафе, и разговоры приятелей оказались в неопределенном, в некоем не совсем отдаленном прошлом. А помнить настоящее, подумал о. Лоб, дело совершенно бессмысленное. Достаточно сказать, что выражение «помнить настоящее» лишено смысла изначально. Помнить же прошлое невозможно, потому как в самом *воспоминании* (в действии) его прошедшее превращается в иллюзорное настоящее, а настоящее отнюдь не нуждается в воспоминании самого себя. Драго-мощенко не прав, сказал он вслух. С другой стороны, я не

могу присутствовать «здесь», я всегда словно подбираюсь к произошедшему «сзади», из прошлого уже произошедшего, — любая мысль ведет себя так же. Но все же как я не люблю этих вот... жителей со своими псами, по вечерам, — он отвлек себя преднамеренно и снова, ускользая от призрака ответа, ускорил шаг. Работа его ума в первую очередь ему самому более всего напоминала некоторую рефлекторную деятельность: раздражение — реакция (маятник). То, что десятилетия тому вызывало у него едва ли не головокружение, учащенное сердцебиение, сложные предчувствия, предвосхищения возможных мгновенных изменений, теперь стало непоправимо иным. Впрочем, это произошло еще задолго до первого исчезновения Карла. Он явственно увидел тот день в замедленном движении всевозможных предметов, световых пятен, из которых, чуть наклоненный вперед, вышел Карл, опустился в кресло у стола, повертел книгу в руках и тихо произнес: «Лобов, мне не повезло. Мне не повезло даже потому, что я думал, что мне очень повезло. А надо было думать, что это бред, и никогда больше к этому не возвращаться». То, что Карл ему рассказал, могло быть сущей ложью, но, к сожалению или к счастью, рассказанное было правдой. Простой и доходчивой. Доступной ребенку. Карл мог читать — как любой человек читает газету — все, что находилось на компьютерных носителях. Он мог читать и то, что «находилось» в рабочий момент в оперативной памяти. Он это видел как-то по своему, но «увиденное» мог переводить в доступные ему знаковые системы. Впоследствии перевод оказался наиболее узким местом. «Знаешь, я ведь все вижу, все понимаю, но как это все передать?» Картинки же с ограниченным числом модификаций он просто описывал — вот лес, за лесом река, на берегу голая баба и так далее. Картинку открывали, деньги он клал во внутренний карман. Самое странное происходило в виртуальной реальности. Именно это было менее всего понятно. Ее динамическая среда принципиально не могла сводиться к диспозиции данных и их структур (аналогия с вирусом),

но к вовлечению этих данных во взаимодействие с воспринимающим и так далее. Потом Карл исчез. Особенного секрета в том, кто был в нем заинтересован, ни для кого не было. Он и сам знал, что многое уходит на глазах, просто на глазах, уходит, и все. И что их беспечной и безбедной жизни наступает конец. За несколько дней до исчезновения он забежал к Ю., которого спустя два месяца упекли на всю жизнь якобы за вскрытую сеть Fargo Bank'a, оставил ему немного денег, так, на всякий случай, а тот в тот же вечер передал их Лобову, в конверте находились не только деньги, была также и тонкая тетрадка с записями, смысла в которых Лобов после более чем скрупулезного прочтения не нашел.

Конечно, все стало иным. Как и любовь, пробормотал Лобов, не сдвигая глаз от линии крыши, «как и любовь» — ничего лучшего не придумать. Впрочем, все пространственные категории не релевантны значению в описании того, что занимает меня в данный момент: настоящее есть постоянная агония отсутствия, начал он снова, как бы совсем не заинтересованно и буднично, рассеянно пошевелив при этом пальцами в воздухе, определив про себя, что свойственная такому моменту жестикация должна была бы быть невыразительной, вялой, что в итоге можно было бы обойтись всего-навсего легкой гримасой недоумения, вызванной неуместностью самой гримасы, — корректней так: агония установления не-тождества. Отсутствие также никогда не свершается, собственно, мое время (или я сам) и есть разрыв времени как таковой, небытие, угрожающее самому себе отрицанием. Тут-то и получается, что оказываешься перед этим разрывом наподобие Нарцисса, который не в состоянии переступить черту, отделяющую его от самого себя. Дальше шло про вечерний свет и утренний снег в Нью-Йорке, следовали другие образы, их объединял пронзительный холод, отстраненность и вместе с тем странная необходимость существования. О них возможно было сказать, что они бесцельны и потому бесконечны. Их нельзя

было обменять ни на какое воспоминание, но своей несомненной силой они вызвали хрупкое чувство неотвратимости наступающего, неизвестного и желание чего было явно.

С Литейного моста о. Лоб смотрел на заснеженные кварталы — в детстве, вспомнил он, здесь была река, у стены крепости люди весной загорали. Люди загорали также и зимой. Еще, кажется, он ходил в школу. Да, естественно, в школу. Там были... странные шелковые занавеси, неистребимый запах картофельного пюре (он незаметно слился с первыми сексуальными мечтами, от чего было позднее очень не просто избавиться), а у сторожа жил щегол в клетке. Свяжись с тем, что добыто, соединишь с тем, за кем следуешь. Вот именно. Давно пора. Глядя с моста на искусственный холм с сахарной церковью, освещенной хилыми цветными лучами, Лобов рассеянно (скорее по привычке) хотел еще дальше понять, как все, что окружает его, может иметь к нему отношение. Машинально он потрогал пальцем щеку, где еще напоминал себя узкой свежестью недавний порез от бритвы. Ощущения кожи пальца и кожи щеки на миг сошлись в одно. В прикосновении терялась возможная глубина. В любом пункте высказывания разрушается время, скорость его распада зависит от намерения продолжать. Каждая часть тела имеет имя, которое ничего не означает. Совокупность всех этих частей также имеет имя, которое тоже ничего не значит. Голубей мы стреляли из пневматического ружья. В недавнем разговоре в кафе с одним молодым писателем он попытался высказаться на эту тему, но сказал совсем другое, и теперь это другое тоже занимало его, непрошено заняв место среди «окружающего», потому что слова писателя о «музыке языка» на удивление не вызвали ожидаемого отвращения, но, напротив, напомнили что-то, что он полагал необходимым выяснить, наподобие того, как иногда забываешь какое-нибудь слово, и представляется, что, не вспомни его, все начнет монотонно исчезать, все, что удалось ценой значительных усилий собрать

за многие годы, и поэтому он, упустив, вероятно, звено в рассуждениях своего нового знакомого, а может быть, внутренне обрадовавшись представившейся возможности, сказал, что от музыки (любой) он требует только одного. Чтобы она не раздражала. Ни «страстью», ни «гармонией», ни громкостью, ни «красотой» etc., и такой удовлетворяющей его вкус музыкой является на первый взгляд отсутствие музыки вообще — ее растворение в шуме его слуха, иными словами, в *ожидании* ее.

Я подразумеваю такую музыку, думал он, которая развивает себя как бы вспять, и истоком которой может служить мое тело, собранное из разного рода последовательностей, направлений, препинаний, замещений, но я не настаиваю на непеременимости такого ощущения. Да... скорее ощущения, невзирая на невразумительность этого слова. Наваждение стлалось за мной, как дым степного пожара. Нас возили в кривых ящиках из прозрачного кристаллического металла (между тем то, что для других оказалось несносной пыткой, требовавшей незаурядного мужества и выдержки, для меня лично обернулось возможностью удовлетворить ненасытное любопытство — причем не следует упускать из виду, что проблема перехода из ночных фантазий в явь представляла предо мною как теоретическая задача, взыскующая необыкновенных усилий, требовавшая наряду со всем приумножения, так сказать, знания, и я ждал, чтобы, произнеся еще раз свое «нет», ввести уравнение утверждения в сонмы видений, не поддававшихся разрешению в знании), а серебряные, золотые, изумрудные, выкованные из медных подземных кож луны крались по нашим следам, как эхо небытия, подбираясь на ночных остановках все ближе и ближе к хрупким порогам слуха, где дышали на прозрачные стены, вселяя в детские сердца сладкий ужас несбыточности и сонное предчувствие бесконечности. Наипаче всего меня поражала бесшумность нашей жизни.

Дым осенних костров на окраинах обжигал легкие при глубоком вдохе, морозы теснее подступали к всевозможным растениям. Зернистость, острота, хвоя.

Безмысленно круживший вокруг свечи покуда еще призрачного декабря, сгорал мотылек осени и возрождался в истончении горизонта, перерезавшего ложное сияние перелета. Вопрос вполголоса: что изменилось бы в предыдущем высказывании, если бы автор написал: «остро обвивая запястье»? Ответ: ничего. Может ли такой ответ заполнить пробел в тезаурусе? Ответ: сжигая свечу горизонта, облеченный в ложное сияние осени, призрачный перелет по уступам истончения нисходил к бессмысленному возрождению очертаний прошлого предложения. Продолжительность нажатия на клавишу извлекает количество повторяющего себя знака. И что указывает на вероятную важность другой части высказывания, а именно — «дыма морозных костров» и т.д. Как сделать так, чтобы никто не умирал? Изобретение элемента под номером «Х». Обретение неизвестного в уравнении сходств. В огромных волосах земли тонкая смерть звезды, сравнимая с возвращением божества в зрачок.

Иначе зачем вообще оно возникает и, помимо того, предлагает себя предметом рассуждения? Но я не понимаю также, откуда берется необходимость вообще «высказываться». (С этого момента мы читаем написанное другим — изменение имен.) В силу воспитания и перенятого опыта я довольствуюсь скупой мыслью касательно того, что литературное высказывание (то есть особо сконструированное выражение) вызывает (или должно вызывать) определенные реакции у того, кто его воспринимает. Так, например, обладая особыми способностями, я мог бы вызвать у читающего представления, эмоции, образы, идеи, узор взаиморасположения которых, в свою очередь, создавал бы ощущение непреложности и истинности переживаемого высказываемого в момент его трансформации в опыт воспринимающего. Но коснемся даже такого банального и незначительного момента, как сопряжение ужасного и прекрасного, engine взаимодействия которых обеспечивает стоимость *возвышенного*. Если исходить из того, что рассмотрение ужасного возможно лишь в перспективе неукоснительного требова-

ния категории прекрасного или того, что якобы противостоит ему, мы опять-таки неизбежно возвратимся к тому, что эти термины отсылают к высказыванию, в котором возможно их «явление» (пусть оно и не принадлежит мне). Вместе с тем высказывание в обещании подобия порядка определено собственными границами (в противном случае «окружающее» следовало бы воспринимать как одно незаконченное предложение в разомкнутых кавычках), а эти границы носят имя ошибки, которая обладает неисчерпаемой возможностью изменять самое себя и окружающее, — вирус. Высказывание как мыслительный акт изначально двойственно. К примеру, для меня на протяжении многих последних лет не было ничего ужасней мгновений (в подлинном, «высоком», античном смысле), нежели пасмурный прямоугольник окна, на котором время от времени останавливался взгляд, — такая погода, как известно, вовсе не редкость в наших краях, — безотчетный ужас пред которой в соединении со звуком нескончаемо каплющего засаленного кухонного крана, несомненно относящегося в этой диспозиции к разряду прекрасного, я испытываю и поныне и что тем не менее ввергает порой в упоение, которое я вправе и по прошествии времени называть переживанием *возвышенного*. Нет, скажут мне, мы не в состоянии продолжать этот разговор, мороженое тает в руках, горят на закате окна, умы смущены шумом листвы и мыслью о природе шума как таковой, но прежде всего, мы потому не можем продолжать разговор, что не ввели столь необходимое антропологическое измерение. Да, мы его не вводили. Не вводили преднамеренно. Чтобы это сделать, следует по крайней мере не считать человека границей собственного о себе высказывания, — иными словами, нескончаемым отклонением от оси представлений о самом себе. К тому же я не расположен любить людей (в любом из щедро предлагаемых мне смыслов), так как у большинства из них отсутствует... ну, к примеру, желание сказать обо всем сразу, а «если бы мы не говорили *все*, откуда было бы знать, что нам свойственно?»

Трюфеля отыскивают не провидцы, но свиньи. Я и сам вызываю у себя интерес лишь только как спятившая функция исключения, наблюдая которую (опять-таки благодаря воспитанию и обученности) возможно вообразить некоторые невятные продолжения во всевозможные области великой двойственности, чьи взаимопроницаемые потоки кажутся недвижимыми.

Подобно речной глади, которую нет нет и разобьет рябью слабый ветер, текущий с холмов, привнося некоторое разнообразие в дремотно колеблющееся (насколько же, право, неудачно слово!) заблуждение, но к которому неотвратимо относит в памяти, приходящей во все более нелепых одеждах в одни и те же, исступленно повторяющие себя сновидения. Каждый, даже едва слышный стон, вырывавшийся у спящих, изможденных жарой и дрянными дорогами (измученного собственным идиотизмом государства) детей, сотрясал паутину лучей, ткавшую вокруг нас основу для появления демонов, и тогда судороги, как обнаженные электрические кабели, пробегали любовью даже по моему телу, которому я дал слово всю жизнь никогда не спать, дабы неусыпно наблюдать жизнь во всем ее восхитительном однообразии. Мы продолжали уменьшаться в размерах, чтобы вместить как можно больше из того, что перерабатывалось нашими телами в бессмертие (известное дело, оттого и уменьшались!), конденсат которого вязкой, по цвету напоминающей коньяк камедью сползал из незаживающих надрезов на коже по хромированному дренажу вовне. Отдаленно это напоминало где-то виденную гравюру с изображением сбора латекса в душных лесах Амазонии. За исключением того, что дальнейшая его судьба никого не интересовала. Распространение низкоточных технологий, прав на птичьи внутренности и бессмертие, как и раньше, являются прерогативой правительства. Конечно, много спустя мне довелось узнать о дальнейшей судьбе эликсира, однако, признаться, сознание отказывалось верить тому, что я услышал от чело- века, на одном духу прошептавшего мне на ухо всю эту ис-

торию и, верно, не понимавшего возмутительную вздорность того, что он поспешно облакал в слова, время от времени с лихорадочной, просто неестественной жадностью отпивая из захватанного стакана. Надо отдать должное, рассказ наводил на некоторые размышления, которым я позволил себе предаться, наскоро распрощавшись со случайным (так уж и случайным?) знакомым, когда пришло тому время, вследствие чего обнаружил себя идущим заснеженными линиями Васильевского острова по направлению к Академии художеств. Настал вечер. Медленно валил теплый снег. Я пытался собрать разрозненные части услышанного в единую картину. Клетки пространства впитывали время, словно в некоем химическом процессе буквосочетания или припоминания. Иногда я вздрагивал от устрашающей явственности представавшего уму. Деление пространства, как и раньше, оставалось единственной возможностью представлять время. Я видел Литейный проспект, мост через высохшую реку, на месте которой расположились кварталы особняков под лоснившейся от дождя черепицей, где негромко звучали ноктюрны Шопена и гипнотически горели витражи в лучах садящегося солнца; я видел косые, как у Льва Толстого, линии дождя, очень крупно, будто в увеличительное стекло, и в то же самое время за кулисами медленно проливавшегося за спину снега — старика на велосипеде, пыльные вихри и с грохотом катящиеся по асфальту тыквы, затем я оказывался в запущенной квартире, где громоздились штативы с укрепленными на них сосудами (надо думать, капельницами), а под ними было простерто неподвижное тело, соединенное разноцветными проводами, шедшими от головы лежавшего к трем или больше компьютерам. Можно было повторять само слово. Существовало мнение, будто такое повторение (обязанное, наверное, практике суфизма) изменяло внешность человека до неузнаваемости. Я слышал металлическое треньканье, но одновременно с этим крался по пустынным коридорам огромного ночного здания, держа перед собой карту и карманный фо-

нарь, до рези в глазах вглядываясь в сложное плетение не совсем понятных мне голубых линий и пунктиров, по которому было написано — *«возможное пролегание трубы»*. В самом сердце монетаризма, риторики обмена и круговорота капитала — вечное невозвращение. Но в Соловьевском саду я присел на холодную скамью, достал из сумки бутылку и единым махом опустошил ее до половины. Последовавшая за водкой сигарета окончательно вернула интерес к окружающему. Я накинул на открытую голову капюшон и внезапно рассмеялся — вот почему о. Лоб тогда толковал о Танта-ле. Было ли это озарением? Трудно сказать. Все было не так, как казалось, все обстояло совершенно по иному. Наша привычка непременно доходить до предпосылок, искать мотивации в очередной раз ввела в заблуждение. Именно тут я понял то, что до сего момента как бы ненамеренно уводило в сторону, и то, как близко я находился от грани неотвратимой катастрофы.

В следующий миг, приметив краем глаза движение тени у ограды со стороны Съездовской линии, я бросился в снег, на долю мгновения опередив последовавший вялый хлопок. Когда я поднялся, никого нигде не было видно. В том месте, где моя щека прижималась к земле, темнела проталина. Война кончилась, и пели мускулистые птицы. Жаль, что мы ошиблись, но втройне жаль, что мы забыли, в чем заключалась ошибка. Тишина, стоявшая вокруг, показалась неожиданной наградой.

Молчание охраняло нас от чрезмерной впечатлительности в долгих, как северная весна, географических перемещениях. Одна только девочка (роль ее во время выступлений в селах сводилась к произнесению довольно небрежно написанного монолога в русском духе: о страдании и возрождении души в горниле такового), стриженная ежом, стоявшая в углу, где, как ей казалось, было прохладней, она через равномерный промежуток времени повторяла что-то вроде: «Не представляю себе, что настанет время... что я

стану красивой, что я выйду замуж!» Прижимавший к груди истлевшую мумию тибетской мыши мальчик, имени которого мне, увы, не вспомнить, как не вспомнить того, как выглядел в лунном сиянии труп мыши, лишь однажды открыл мечтательно смеженные веки, на которых с немыслимой быстротой сменяли себя покорные картины его видений, и, отвлекаясь от своего постоянного размышления о природе понимания (вынужден сказать, что оно не блистало оригинальностью, хотя в некотором роде было достаточно любопытно, и действительно, — странным образом связанное со скрупулезными наблюдениями поведения воздушных змеев, оно утверждало абсолютную незаполненность какого бы то ни было действия, а по истечении нескольких умозаключений и знака, пустота которого представляла суммой проекций всех возможных, *будущих* смыслов и что в теологическом отношении давало возможность представить в том же ряду и отсутствие Бога, как его же всепоглощающую интенцию стать Собой, хотя дальнейшее, следовавшее рассуждение представляло очевидно слабым и аляповатостью напоминало апорий о стреле...), открыл глаза и безо всякого осуждения или же вызова сказал: «Вставила бы ты себе, сука, палец, а там бы и поняла, насколько неизбывно обречено самому себе наслаждение». Это произошло, судя по записям, в начале лета в городе бумерангов и числа 11, в городе, где закончилось наше детство и исчезла Ася, девочка, стоявшая в углу, мечтавшая выйти замуж и т.д. Говорили, будто алчные и коварные жрецы возвращения принесли ее в жертву второразрядному божеству ветра, обладателю стеклянных бескровных губ, заявляя как бы этим действием, что хотя они-де и намерены манкировать своими обязанностями, однако вынуждены во имя сохранения соразмерности космоса следовать, увы, рутине, ничего не имеющей общего с подлинным порывом души и истинным знанием. И вместо того, чтобы в созерцании приумножать величие и великолепие *одинадцати*, им вот приходится заниматься формальностями, одной из которых как раз и был запуск воздушно-

го змея с распятой на нем девственницей в горние сферы. А на деле, насколько я понимаю, убедив предварительно девочку в том, что она таким образом соединится брачными узами не то со змеем, не то с ветром, ее подняли высоко в воздух, в котором она на закате растворилась вместе с летательным устройством. Возможно, ее отнесло за хребет, окружавший плато, и там она благополучно грохнулась на скалы. На одной из них стоял замок. Есть картина. На картине двое — он молод, в пенсне, рядом пастухи, олени.

Мало кто из нас присутствовал на церемонии запуска, нам, в ту пору всецело занятым собственной судьбой, было не до сакральных процедур небесного брачевания и двоичного исчисления. Мы постигали тайны одного-единственного сна и возможности яви в его беспредельных мирах.

Интересно другое, замечает он, когда я пишу это, я не вижу перед собой никакого города, а на прозрачных подкрыльях зрения пробегают тени иных соответствий, иных мест, вещам которых опыт ничем, кроме как легким (окисление... что-то похожее на свежую кислинку сливовой кожицы) удивлением, не отзывался.

Тем временем идущим осторожно ступать по камням. Явленное приближение. Морщинистый воздух темнел. Будто рощи. Будто идущему вдалеке открываются сладостно темнеющие рощи, но камни, ступать. Как явленное в неподатливости частностей: никакое определение вещи невозможно в пределах слов, как конечных чисел, и первые и последние (*vice versa*) всегда могут быть и всегда есть другие. Вечером открыть окно, тетрадь. Не изыскивая доказательств. Открытое окно и запах мокрых тополей. Откуда привкус талого снега. Где произошло смешение, наложение одного запаха на другой, если учесть, что окно закрыто, а на улице созревает чудовищный полдень, рвущий тени с шелковым треском. Единым взмахом поименований, предназначений, следов несвершившихся перелетов, рассудку близи-

лись оборванные птицы — им не совпасть в падении к ним оставленных мест, о которых с полной уверенностью высказаться (минуя силки сослагательности): «вот еще что-то, чего не хватает мысли, что поочередно можно назвать осенью, старым пальто с побитым молью воротником, обманутым литературным героем, стоящим в чулане, надколотой рюмкой, рамой намеренного присутствия, секретом крепчайшего кофе, беспристрастно падающего шелестом геркуланума, горстью кремнезема на исходе августа и руки, северным сиянием в надрезе рассвета, тошнотой, насилием, нищетой, рождественской ночью, всем вышеперечисленным, а также: остерегись улыбаться, будто это что-то значит, ну вот, и живи на здоровье, чего там», невзирая на то, что любое слово проходит сквозь них, будто бы никогда не было этих мест, бездumno пропадавших при одном взгляде на них.

Много, слишком много. Чего больше: пуха или железа? Железа или золота? Золота или мертвых? Мертвых или никого? Сколько строк бормотания, не оставив следов неравенства себе самим, скользнули по грязным столам, по линиям жизни мимо полых глиняных холмов, зеркальных путей, свернувшегося во сне вина? Таков уговор. Таковы власть, бессилие и бессонница уговора, извлекающие разом с неумной и призрачной силой прибыль из переливания пустого в порожнее. Заметим, никто о нем не намерен был упоминать. Вопреки тому, что в моем подходе уже и сейчас можно углядеть произвол, — истощение и последующее пожирание представляется актом высшего отточия (...) в когнитивном процессе. «Мне трудно разобраться, но как бы это сказать точнее...»

Скрепя сердце я перебил мать. О чем потом не раз горько сожалел. Изволь, я попытаюсь, я покажу тебе, насколько это несложно. Ответил я. Во-первых, уединение, горный воздух, едва ли не тактильное ощущение материальной первобытности мира, его мер, и потом, разве трудно допустить, будто система означающих, присущая определенной идеологии, как и любая система, — я поднял прут и в качестве

привходящего доказательства стал чертить на песке нечто, напоминающее рыбий скелет, — вполне опирающаяся в собственном воспроизводстве на себя, не способна более довольствоваться ни позитивными, ни отрицательными аргументами, подтверждающими возможность ее перехода на иной уровень сложности, а следовательно, и изменение скорости операций с данными. Таким образом, экспансия идеологии, включая и ее ядро — мифологию, являющуюся в действительности единственным ее *значением*, — утрачивает контроль над опосредующими машинами производства значений, находя себя в чрезвычайно плотном мире односторонней... How can I say it? Output and/or input? Тут следует добавить, что структура допусков, упреждений, молниеносных пересчетов отклонений и их компенсации превращается в безукоризненный механизм безумия.

— Но тогда получается какой-то кошмар! — воскликнула мать, не отрывая глаз от моего рисунка.

Разумеется.

— И когда ты вырастешь, ты попытаешься все это рассказать своей... — Она запнулась от неловкости, по-видимому, не находя приличествующих данному моменту слов. — Девушке? Невесте? Обещай мне.

Я не счел нужным отвечать. Вниманием снова овладели — гора, черная хвоя сосен, напоминавших тянь-шаньские ели Медео: другие места, другие разговоры. Савойские Альпы, папье-маше объемной карты, бредущий пехотинец с ружьем, нет, скажем так, с мешком, нет... не ружье, не пуля, не мешок, не ножницы, но отроги гор и пленник, удаляющийся от узилища со скоростью одинокого хромого путника. Его лазурные безвоздушные губы повторяют что-то неопределенное во имя еще более неопределенного. Имя ли это девушки? Тайной идеи? Родной страны? Имя ли палача, который открыл ему ночью ворота в сад ковров и танцующих кадуцеев? Или же это имя бродячего шарлатана, научившего летать посохи в лабиринтах рощ, сладостно темнеющих на самом краю искусства композиции? Сколько белых роз

расцвело там в первый день, а сколько красных взошло на третий? Нет, здесь не кроется никакой загадки. Здесь чистота, абсолютная чистота лазоревых уст. Найди мне имя, попросил я мать.

— Зачем? Ведь у тебя уже есть одно, прекрасное имя, мы все к нему так привыкли! Ах, знал бы ты, сколько дней и ночей провели мы с отцом, отыскивая его для тебя... Мы перебрали десятки, сотни альбомов, газетных вырезок, фотографий, старых журналов, пока не остановились на твоём!

Мне нужно много имен, сказал я тогда на это (осмелился бы я выразиться таким образом сегодня?), мне нужно столько же имен, сколько и смертей, поскольку для того, что я намереваюсь свершить, одной недостаточно.

— И помимо того, откуда вам было знать, что вы даете мне правильное имя, что будущее ему отзовется, станет его настоящим?

— Правильное имя? — рассмеялась мать. — Чему? Тому, чем ты был в ту пору? Посуди сам, тогда то, что являло «тебя», можно было звать по-всякому: ржавчиной, веткой, сквозняком, телефонным звонком, яблоком, натуральным рядом чисел, сном; ты так же был чужд этим словам, как и кровно с ними связан, каждый звук, каждое сочетание их открывали для тебя будущее, в которое ты входил, минувшая наступавшее по пятам настоящее. Иногда я подозреваю, что некоторые доживают до смерти и входят в нее, ни разу не оглянувшись.

— А что он на это сказал? — спросил о. Лоб.

Диких перелистнул страницу.

— Он... он не сказал. Тут стоит: «подумал».

— И что же он подумал?

— Что он оборачивался только затем, чтобы увидеть, как все исчезает.

— Всё или все? Иногда буква ё многое значит, — сказал о. Лоб.

— Дай же человеку дочитать! — в конце концов не выдержал я. — Невозможно понять, чего ты все время добиваешься.

«Можно, конечно, понять, будто все происходит наоборот. Чем пристальней взгляд, тем прозрачней вещь, ее время, ее обещание, гримаса ее присутствия. Прозрение есть освобождение зрения от оболочек, но явь никогда не бывает столь глубокой, чтобы найти в себе силу стать сном. Все это известно, но всякий раз известно по-иному». Потом опять говорит кто-то другой.

— Ну не будь же таким жадиной! — с улыбкой восклицает мать. — Войдем лучше в дом, мой мальчик. Уже вечер, видишь, с гор спускается туман, ветер несет запах снегов, луговые звезды сегодня не обещают исцеления, а крики пастухов отдаются в моем сердце обжигающей пустотой утраты и молодости».

Да хватит, ты лучше прочти *вот это*. Нет-нет, посмотри, как интересно — *«управление шерифа и администрация обещают немедленную выплату \$20 000 тому, кто окажет непосредственное содействие в задержании любого, проявившего насилие по отношению к работникам»*.

Мои дневники (не все теперь мне в них понятно), путевые заметки насчитывают пять тысяч семьсот восемьдесят три страницы. Четыре из них бесповоротно утеряны. Даже лежа подчас в постели со случайной и такой же глупой, как я, женщиной, я развлекаюсь тем, что перебираю воображаемые страницы (тем самым удваивая их существо), спрашивая время от времени: а что может находиться, допустим, на 178-й? Чаще всего те, кто остается, говорят, что на странице, названной мной, говорится о любви. Я не спорю. Я забыл, что такое спорить. Я живу, не выпуская пера из рук даже во сне, вернее, никогда не засыпая, что само по себе действует на меня, как алкоголь — последнее, что мой же лудок покамест не извергает обратно, о да, так нежно мы таем друг в друге, а дальше облака, образы пернатых, разводы влажной жимолости, шумящих склоненных ветвей, но иногда несколько фотографий, и они никак не складыва-

ются в то, что обещают в будущем, а порой он напоминает серый кипящий лед, который кто-то кладет на веки, и никак не проснуться, не выйти из паутинного сада бессонницы, ставшей единственным измерением пространства, за исключением движений руки, ведущей тупое, безразличное, брызжащее орудие по пористой, в рыхлых щепках бумаге, глине, изъеденному кислотами металлу моих дневников, рассеивающих чернила или какой другой вид пустоты, отличающийся по цвету от страницы, камня или кожи, на которой в равномерном освещении рассвета можно прочесть вытатуированное пожелание никогда не отказываться от сказанного, или когда оно вовсе ничем не отличается ни от чего — именно оттуда берут свое начало корни сущего (но я не успел записать, какая досада, что это относится только к пределам неопределенных времен, где и происходят безбедные процессы), — так как главным считаю то, чтобы не отстать зрением от руки, чьим предназначением является точно рассчитанное опережение будущего события, сведение его к случившемуся, чего скрывать, этот незатейливый трюк мне удастся в течение более четверти века. Ничего особенного. Проще пареной репы, так, салонный пустяк. Вероятно, мне, как теперь кажется и разумеется безо всяких на то оснований, в своей работе над дневниками (хотя едва ли кому-нибудь это покажется *непосредственной* работой в общепринятом значении этого слова; пожелай кто ознакомиться с теми или иными описаниями переходов через перевалы, зловещих криков предрассветных птиц на берегах тускло стоящих в тумане рек, обреченных мятежей в никому не ведомых странах, горящих плавней, исследований человеческого перводвижителя, он не обнаружит ни одной страницы, повествующей об этом и о многом другом) хотелось... как бы это точнее выразиться? — «опередить» другого, других в их завоевании и присвоении слов изначально, хотя само по себе представление «изначальности» откровенно сомнительно и существует в прозрачном качестве аллегорической фигуры. Не уверен, что мне довелось

внятно рассказать об отступлении и его стратегиях. В свое время они были великолепны. Предвосхищая любое возможное намерение и следуя логике установленного порядка, я должен был стремиться стать *всеми одновременно*, затем чтобы далее, оставив всех «в себе», всех ставших «мною» (человек западня), устранить себя (иногда я помышлял об элементарном физическом самоустранении — кто же в молодости не грезил всеми женщинами мира, победами в абсолютном весе, присутствием на собственных похоронах и тому подобным...) либо уничтожить пределы собственного представления о себе и, таким образом, того, что нескончаемо прибывало в различие, образующее некоего «меня». Мысль о том, что ни время (в каком бы то ни было его понимании), ни пространство не играют существенной роли на весах взаимопроявления, привносила порой ноту покоя. Что по тем временам (как и в дальнейшем) было отнюдь не маловажно. Отсутствие денег. Война. Холод. Делать нечего. С этим надо кончать. Есть письма (я упоминаю о них в дневнике, не приводя, впрочем, их целиком), которые мне до сих пор не удастся прочесть. Многое в них продиктовано чувством справедливости. Главное, что покинутость в этих случаях становится необходимым состоянием для изучения физиологической особенности разложения. Распад отражения в твоём зрачке понуждал меня еще более пристально вглядываться в твое лицо, в его нарастающую пустоту, в лицо, которым я полон сегодня, поскольку больше его не вижу, и знания о котором меня ни к чему не обязывает. Простота инверсии также очаровывала. Можно представить, скажем, обратный процесс, не расширение, но — такое же теоретически абсолютное уплотнение, сжатие, при котором в *нигде* располагается *есть*. Расширение и сжатие.

Писание дневников, в сущности, было тем и другим одновременно.

Я искал твой след и в том, что еще не случилось... и, наверное, никогда не случится. Это первое. Где-то поодаль находится второе. Третье всегда не концептуально. Идея

третьего не может быть артикулирована. Его присутствие описывается достаточно безыскусно — оно просто есть, когда надо. Всегда остается два изначальных значения. Угадай, написал в начале страницы Диких. Его пальцы таяли на клавиатуре по мере того, как он уходил по Кирпичному переулку.

Так давно. И совсем под иным расположением звезд, под другим сумраком век. Конечно же, вот-вот! — волшеб-но затихший во впадине зрения вовсе не постижимый городок на каком-то совсем другом юге... где остановились от-тисками вечера все тех же палисадников, дремотно шумящих акаций, а ночи пропитаны эфирной смолой петуний и ноч-ного табака, а днем — летящая над Пятничанами в одуряю-щее никуда пыль, в то самое никуда, где стоят руины каких-то усадеб, трижды, четырежды превращенных в гнусный прах, не помнящие ни родства, ни начал, ни распада, кото-рые также не применимы в описании тех мест. Я хорошо помню. Я ведь тоже, надо сказать, с юга. Как о. Лоб, тогда еще безумный программист с железной гитарой, видевший компьютеры в ту пору, быть может, только в пьяных снах; или Карл, ушедший впоследствии в свой последний surfing к пределам Матрицы с горстью коралловых бус во рту, ку-рящемся и по сию пору инеем жидкого азота, так же как Юрий Дышленко, ставший мертвым в минуту произнесе-ния кем-то под низкими прокуренными сводами слов: «он умер в Quinsy, и в тот же час грамматика предопределения превратила его в Единственный Цвет Вселенной (окраши-вающий все, не прикасаясь ни к чему, он извечно предстоит очертанию, черте, числу, вступающему в торг различения с иллюзиями вещества, подобно свету и вкраплениям квар-ца, обнаруживающему искры поверхности — именно так, многомудрые риши! — поэтому просветленный, хотя и смот-рит на ши, созерцает ли, изначалью ведая, что эти ши не ли...»), — как много их? Насколько долго? Зачем? Нужно ли думать? Думать нужно всегда, поскольку «всегда» неминуе-

мо необходимо, равно как «думать», «секунда» или «парадокс лжеца», — мы строго взошли каждый в свой час на положенную дугу, подобно деревянным птицам, к спинам которых бронзовыми гвоздями была приколочена бумага с неразборчивыми наставлениями, и, шевеля скрипящим опереньем плавников, двинулись в слепом и алчном блуждании к ослепительно-белым углям, где, как говорилось в 7-м пункте наставления, нет ни зенита, ни надира, но после поедания книги всех ожидает восстание из золы, в которую по мере разматывания веретена превращало наши телесные механизмы шестерично зубчатое трение о свет, о ночь и ветер солнцеворотов, о зубы ангелов, бывших не чета нашим — прокуренным и с кривым присвистом, не лишая одновременно с тем необходимых для дальнейшего опознания очертаний, в которых мы двигались точно так же, как в слепом и алчном блуждании, и столь медленно, что физические законы, управлявшие жизнью металлов, кислот, призраков и приливов, утрачивали правомочность, а скользящие по мыльным осям тяготений и противодействий философы заканчивали свои диспуты на двенадцать минут раньше положенного, сумрачно укладывая в сундуки трапеции и лоскутные ковры, засаленные от несчетных прикосновений босых ног, — стоит ли говорить, что солнце и луна утрачивали смысл в ежемгновенных сочетаниях и разъединениях? Я помню, как прекрасная и раскаленная собственным совершенством сталь бескровно отворила то, в чем появились первые робкие изображения (пятна, линии, плоскости, затем добавились измерения времени, цвета, запаха, среди которых предлоги устанавливали власть векторов, а неделимые частицы языка раскрывали веера хитроумных предположений касательно узоров, текущих по неостывающему воску воображения) — так я стал обладателем пары глаз, данных мне в долг и возвращать которые, знал, наступит свой час, хотя никакой боли я не почувствовал, как если бы ее во мне еще никто не создал, будто способность ощущать боль являлась чем-то наподобие последнего штриха, тон-

чайшей детали свершения, и потому точно так же беструдно было отделение кожи от липкого, молочного воздуха, в котором жадно и жарко, подобно астматическим жабрам, журчали ручьи крови, — в тумане роились десять тысяч мерцающих голодной солью миров; каждый готов был понести имя, которое несли ему иные. Кто-то утверждал, что видел всех Будд, — мол, они мололи орехи, распевая молекулярные песни подземных пернатых. Мы же не ведали ни возгласов, ни удивления, но лишь одну скорость и движение, неукоснительно собиравшие пыль, из которой состояли мы, в тяжесть и пространство предположений. Что необходимо для продолжения? Объятия, слияние, секс, изведение целого из частных, несколько спазм, переламывающих горло пополам? Одно тело или множество различных? Третьего сестре не дано. Поодаль неслись стада бизонов, перетекавшие подобно лаве в пустотах еще не познавшего *представления* мира. Рыбы находили приют в реликтовых заводях нашего существа, но не были нам известны ни удивление, ни возможность простого возгласа радости при встрече обыкновенного знакомого за поворотом улицы у булочной. Что напоминает мне эта дорога? Она напоминает ему о морозном рассвете, ведущем к вокзалу. Затем... ах да, а за спиной остается школа? Не был ли тот, давний разрыв времени осуществлением путешествия *сюда*, именно в пределы этой страницы, предложения, строки? И не предстоит ли мне еще раз открыть глаза, как если бы те двадцать минут были исключены из моей жизни с целью научить меня возвращению — не окажусь ли я, передавая дрожь пальцев от буквы к букве, в один прекрасный миг на утренней зимней улице в двух шагах от железнодорожной колеи в черной сутолоке ненужного дня? Уверен, что именно цепь подобных мгновений исчезновения, неповиновения ведомому и видимому составляет то, во что сливаются их следы, как дыры перфорации сливаются в односложное *есть*.

И все же именно в сквозящих разрывах надвигающегося вживления в следующие безмысленные слова я угадываю городок на юге, — и кто посмеет помешать мне говорить о нем, о ком, о чем еще, когда? — и вот еще чьи-то совсем уже детские глаза, в которых возможно прочесть и уходящее за телеграфные провода, за степные скаты, неизъяснимо высокое, немилосердно пустое небо и, конечно же, все ту же арифметическую пыль, стоящую сизой мглой в углу зеркала, на самом его дне, того самого, прозелень которого могла удерживать свет после его исчезновения на период, число меры которого теперь уже невнятная тайна: там, и дальше, за углом, где из-за забора свисают ветви цветущей сливы. Ты всегда обгорала на солнце. Нежно обгорала и кожа вокруг твоего рта, вечером губы твои были совсем сухими, и ты сама говорила, что вот это всего-навсего весенняя лихорадка, всему виной большой свет. За зиму от него отвыкаешь.

Перед тем как что-нибудь сказать, она быстро облизнула губы — маленькая сияющая ящерица мелькнула мне тобою по песку обочины шоссе Santa Fe в Solana Beach спустя без малого полвека, — как если бы они у нее пересыхали вмиг от осознания важности и огромности того, что она намеревалась сообщить хриплым, не по детски надломленным голосом.

Тем не менее они продолжают говорить в ней, ее интонациями, ее телом. Они придумали ей реплики, они создали ей прошлое, сотканное из соображений социальной безопасности и чужих, выверенных воспоминаний: в доме полуживых книг, исполненном меланхолии солнца, визуальных искусств и вечного шелеста падающих листьев в заросли бугенвиллеи, в холодно кипящем (как перекись водорода) безмолвии только ослепительные голуби рассыпаются мраморным стенанием в бумажных стенах, увешенных фотографиями карстовых садов Versailles и San Susi под гончарными крестами мексиканской черепицы.

Нет, не думаю. Все же недавно. Почему ты спрашиваешь меня об этом, почему? Разве это было нам не известно? Я ничего не говорил, я не спрашивал, я молчал, как стал, так и молчал, и бровью не шевелил, не двигался, неужели ты не заметил? Да, многие знали. А остальные? Нет, это ты только что выдумал, ты сказал это нарочно для того, чтобы я услышал твое якобы молчание, которого нет, точнее, которого не было тогда, когда я спрашивал тебя на крыше, а ты мгновение спустя неосмотрительно и бездумно поменял предоставленную тебе возможность на бесплодное созерцание горящих судов, явленных поверхности и в нее канувших, — но почему ты спрашивал? Начинать необходимо с начала и с остального. Неужели искусство погибло, или же кем-то была проявлена слабость? Именно так, как оно предстает слуху и зрению, когда происходит из того, что известно было немногим. К счастью, об этом было можно узнать где угодно, в ларьках, на станциях, в оперных театрах, банях и тюрьмах. О чем ты спрашивал? Смерть изменяет в итоге состояние вещей в нужную сторону. Входит в то, что было досконально известно. Увеличение строки не предусматривает укрупнения дыхания. Иными словами, абсолютно длинная строка равна среде, ее представляющей, вакууму. Реальность возможна. А если быть точным — горела книга, ничто другое, ее страницы теряли цвет и память в легком летнем огне, который несет западный ветер с островов, подымаясь вслед беззвучной воде. Все благополучно сошлось и не нуждается в лишних свидетельствах. Возможно — просто возможность не прекращать то, что предусматривает свое прекращение.

Никто нам этого не скажет, мы неизвестны в ночи скальзывающих слов, мы еще не вписаны в карты обмена между богами и неодушевленными предметами из крашеного железа и искрошенного фаянса. Тут ты прав, зрение обманом втянуто в происходящее, чтобы вести пустое знание вестью, и, как ядро каторжника, оно не дает ему двинуться ни на волос дальше возможного. Оставим черные

сверкающие доски счета. Уроним под ноги мел и досуха вытрем стеариновые следы роения на стеклах. Хорошо известно, что возможность есть граница известного. Например, предел вещи есть ее *возможное*, ее будущий передел другими, но куда тебе в этом случае хотелось бы двинуться, предполагаешь ли ты, что сможешь пересечь пределы движения или возможного? (Почему ты спрашиваешь меня об этом, почему ты настаиваешь, чтобы я отвечал? Ты хочешь, чтобы они в самом деле поверили, будто я сумасшедший. О чем недопустимо говорить прямо? В голове не укладывается, что они действительно верят, будто где-то на неведомых глубинах залегает труба с коньяком. Легче поверить в Грааль, чем в эту трубу или в другую, что, по слухам, прозвучит над холмами и долами в день восстания из-под капельниц Карла. Можно в трубу, в щебень и в тыкву. Куда ты смотришь, когда говоришь? Кто говорит? Я молчу. Война бессильна превзойти собственное изображение. Изобрази меня с кружкой пива. Чтобы я сидел на стуле у кирпичной стены на закате, чтобы мне не снились телефонные сны об элементарных частицах и чтобы глаза смотрели вверх и слегка влево, тогда как тополиный пух не прекращал бы падать в великие воды канав.)

К той, едва видной в желтом стекле весеннего солнца птице, хотя я не знаю, зачем она мне на сухом ветру. Расслоение, бедность фоном. Кто знает? Никто. Потому что это никого не касается. Потому что воображение и есть единственная мера невозможного. В вечном запаздывании. Круг — образ любого образа.

А мокрые листья на выщербленных темных кирпичных дорожках тоже никого не касаются? Да, не касаются. Они касались в падении лица, а теперь парят в колодцах тления. Хорошо, будь по-твоему. Ну а радужные водопады, которые обрушивались с кустов бересклета, стоило их только качнуть рукой? Безумие находит надежду там, где мы черпаем нескончаемый страх. С другой стороны перспектива закрыта. Ветви всегда касаются того, кто к ним ближе. Какое не-

померно длинное и утомительное слово. А мерцающие в дожде стволы кленов, а это желание, чтобы другой хотел, как хочешь ты? Тихая пьеса журчит в стеклянных сосудах поплавков, прозрачная, безлюдная, размеченная стекларусными лентами полдня. Тогда хотелось бы знать, что вынудило ее стать подобием мембраны, дрожащей пленкой, преобразующей неосязаемые волны в вещественную дрожь желаний (упрямого и старого, как гортанная галька) — незрячего и одержимого своей историей *ничто*. Но «ничто» появляется секунду спустя, стирая собою — «ночто», по причине чего едва не возникает строка: «слепой и не отражающей ничто ночью». Что. Мне кажется, нет лучше слов для последней фразы, оканчивающей повествование: «так прошла наша жизнь». Недурно. Как глупо... Глупо и странно. Есть простые вещи, которые страшно вымолвить, например: «дай мне чаю», «поцелуй меня», «какой сегодня льет дождь», «налей вина», «сколько стоит», «давай поедим», «читал ли ты книгу N?». Заметим, снег при этом безудержно тает. Иногда кажется, что зиме пришел конец. Так прошла зима.

Что значит это «что»? Теперь все находится слева, там, где чашка кофе, кожура апельсина, пепельница, фотография теплых источников Большой Канавы. В невесомости, словно сдернута петля с усталой шеи — а тело осталось парить во многосоставном пространстве оргазма и наказания, склоня голову, как если бы кипящие пружины рассуждения (валансьенские кружева, коллекционная капля крови, сползающая по груди к соску, — взор опускался в туманном неведении следом, — веер, заламывающий бормотание мелом игрушечных морей и гротов, ракушки, и рисовое письмо в порче монотонной назидательности — вещи и тени, легкие, изогнутые, как золоченые луки возмездия или недоговоренные формы натянутых до онемения умолчаний) замедлили скорость толкования того, что означает эта поза, ее проницаемость, а прежде всего выгоревшая бумага самой фотографии. Тончайшая черная по-

лоса пересекает то, что не имеет формы. Мы говорили о ножах. Естественно. О чем еще?

Оно спокойно, дышит. Оно облечено могуществом среднего рода. Возможно, когда-то это было мной. Равнина, тогда. Можно сказать, это было местом, пространством, отделенным от *не меня*. Но стоит отвернуться от равномерного и успокаивающего чередования обстоятельств, смутных, но отнюдь в своей артикуляции не лишенных достоинства причин всевозможных следствий, предполагающих наряду с тем беспечную и безотносительную динамику перехода во что-то иное, что, по обыкновению, мыслится паразитически, вопреки ускользающему в последний момент значению; стоит сделать такой шаг, хотя бы на мгновение позволяя стремящемуся со всех сторон течению миновать тебя (известен ли тебе такой способ? Манера изложения? Адреса? Телефоны? Издательские данные?), как принимаешься тотчас рассуждать о том, сколь магически-завораживающе было такое движение: нечто случающееся/случившееся (находящее отзвук и продолжение в телесности, в сознании и, более того, обретающее там подтверждение собственного не существования в присутствии, подобно лаве определений, нескончаемо перетекающих друг в друга по натянутой струне никогда не свершающего себя исчезновения, но только тенью предчувствия, предупреждения, осуществленного в ускользании; здесь каждый день распускаются новые листья, каждый день и каждую ночь осыпаются пожелтевшие, иссохшие — осень и весна, проникающие друг друга времена; чрезмерно наглядно; весы; опыт) являлись непреложными фактами и даже в неуклонном стирании одного другим волна за волной они несли тебя, одновременно наполняя, протекая, мнится, через заведомо установленную с каким-то умыслом проникаемость тела, памяти, воображения, страсти, молниеносно слагаясь в податливую последовательность мысли, праздную и ничем ничему не обязанную, ничем не обусловленную; — такова весна этого года; вероятно, таковы годы, века; — и облекали, совлекая

одновременно, нескончаемую разрозненность того, что именуется «тобой» в меру целесообразности либо, если угодно, бессмысленности, и что опять же являло себя в кратчайшем ощущении медленной, невыразимо медленной вспышки, в чем неукоснительно разветвляющемся свечении всегда начиналось блаженное расслоение простой длительности, ее развертывании в памяти.

Совершенно верно, никто не намерен произносить: будущее, прошедшее настоящее (present perfect continuous). Догадка принята. Наличие таковых не поддается доказательству.

Я был не мной — но кем? завораживающей идеей знания, не требующего доказательств. Разве я хотел быть доказательством самому себе? Никто не нуждается в оправдании. Приветливость как главная черта характера. «И речи быть не может! Он пишет, потому что ему нечего сказать!» — Именно. Чтобы снова не оступиться на ледяной тропе артикуляции собственной принадлежности: пространство, история, политическое устройство, пол, возраст. На 101-м старом шоссе, роясь в книжном развале у Джанис (обычный Thrift на обочине, набитый одеждой, источающей запах химической въедливой опрятности, подсохший хлеб в пластиковых пакетах из мексиканского ресторана через дорогу: — *one bag for family, please, thank you*).

Что и говорить, я попал на свое место. Рай, в который попадают случайно, бесплатно, не понимая вполне, куда попали, потому как никому в голову не приходит спросить об ID или грехах, равно как и о добродетели. Идея пустынного, опустошенного, как 5th Freeway после раздачи слонов, красной смородины, рая. Где горизонт под ногами, а на горизонте Ганг, и горизонт одновременно там, где ему положено быть, — в виде утешения. И никогда не поймут (будто это кому-то впрямь нужно), что такие мгновения рассеяны по всему бредящему маревом полотну дороги, по всему старому шоссе. За окном новое условие ветра. Снару-

жи оледеневшая на слюде зноя фигурка; кренясь, как требование доказательства у Витгенштейна, всего в пяти минутах ходьбы от которого взмывает обрыв к океану, мусор: вымытое до желтой кости дерево, груды гниющих сетей. Груда юности. На старом шоссе — поется, наверное, в какой-нибудь песне, «на старом разбитом шоссе». Не может быть, чтобы никто никогда не спел нам такой песни. Я просто не верю. Так вот, тогда, значит, на старом забытом шоссе верификации. Нагнуться, подобрать выеденный солью сук. В качестве дополнения. Действия «я» обусловлены необходимостью перемещения угла зрения наблюдателя. Что необыкновенно важно для сюжета. У меня есть что сказать, например: «как тогда, на старом шоссе» и так далее. На каком берегу рос тот бамбуковый, исполненный тишиной строгой мысли ствол? Рукав в росе поднеся к глазам. Солнце уходит к далекой фарфоровой лампе (о которой известно, что вылеплена она из красной глины и речного ила, и императоры, ею владевшие, были крылаты), по чьим стенам тени дельфинов сплетаются в нервную пряжу письма. Подобно сердцевине стебля, люди в машинах, стоящих вдоль съезда на берег, — конечно, безмолвны. Губка. Но грохот.

Он мешает, я хотел бы в полнейшем безмолвии утратить равновесие, возведенное океаном значение собственности сослагательного наклонения — прилива. Этого (того) не случилось. В час убывания луны. Сужение луча. История поворачивает к себе, проходит сквозь самое себя, как бедные, узкие врата блага. Скрип прежде и затем. Завтра я найду ему имя, род, окончание. Грамматика смещения. Да, говорю я себе, откладывая в стороны книгу за книгой, надо спешить, надо перейти улицу, подняться к океану, там станет намного ясней, зачем рыться в книгах, а некоторые, откладывая, листать с прохладцей. Образы. Возможно, все дело в образах, которые только и ждут, чтобы возникнуть в голове и скользнуть к сердцу, чтобы в одно мгновение и во второе мгновение, а также и в третье спеленать его осязаемостью. Существует мнение, будто допустимо и десятое мгно-

вание. Последнее играет наиболее важную роль в формировании опыта. Словно сквозь несколько колец стекла. Сквозь словно. Различные степени преломления. Но сумма ничтожна. Когда она встретила с Жаном Поланом, ему было пятьдесят. Вот как?

В полуоткрытую дверь Диких видел руки, перекалывавшие книги с полки на полку, далее помещение, напоминающее часть какого-то магазина, торгующего подержанной одеждой (запах вещей после химчистки), за широким окном нескончаемо образовывался воздух, выше чертил ворон, а в разбиваемом солнцем постоянстве складывались стекловидные тела чисел и пропорций. После обильного света глаза с трудом определяли (деление — вот что остается синонимии, веер деления) то, на чем внезапно было остановлено внимание, — очертания человека, стоявшего с раскрытой книгой в руках и смотревшего поверх нее. Ясен ли вам рисунок? Но сам он — вне присутствия, и предопределено ему имя из знаков, враждебных друг другу. Потому что «дни наши суть сквозняки в домах без стен». На протяжении трех глав продолжает рассказываться о похищении монеты сновидений, окованной льдом, — если ее приложить к векам блуждающего на границах яви и луны, на них тотчас выступает испарина мгновенных надписей, повествующих о будущем того, кто осмелился взять монету в руки, и смывающей, как водится, сами сны, а также рассудок спящего. С той поры ночи последнего станут бездонными колодцами, а душа и жилы, на которых она висит в зрачках, будут бесконечно пожираемы мелкими тварями, наподобие вшей, и ночь никого уже не отсудит у немоты. Кого напоминает вам человек с книгой? Душу? Близорукость? Необходимость разослать письма? Без единого знака вторжения цвета. Это мне *кажется* (вероятно, другим также), и, следовательно, это неукоснительно *есть* для меня на самом деле, хотя выражение «на самом деле» мне *кажется* наиболее уязвимым местом в предположении. В желании создать беспорядок слышатся отголоски не меньшей заносчивости, не-

жели в желании утвердить гармонию. В известной мере большая часть словесности есть уверение читающего в особого рода знании, которым обладает пишущий. Особенность такого знания заключается не в проблематичной категориальности, но в точном чередовании (в меру искушенности) спрашивания и утверждения (что относится также к риторике, где, впрочем, утверждение принимает форму подтверждения), в создании иллюзии неустойчивости любого представления. Непременным условием является устойчивая идея общности личного опыта, разделения значений. В иных областях умственной деятельности такие процедуры могут именоваться по-другому. Однако меня интересует вид письма, в котором даже вопрос не имеет смысла. В таком письме не значимы ни «отрицание», ни «утверждение», а их присутствие можно описать как служебную роль в незакрываемой ситуации замещения. Что меня привлекает в этом? Скорее всего то, о чем я «постоянно догадываюсь», но что в силу своего проявления во времени остается нераскрытым, не явленным, не данным, а именно — постоянное ускользание того, что притворяется наличествующим, острое исчезновения (глагол настоящего времени, несовершенного времени), которое возможно представить пунктом равновесия «есть» и «нет», их идентичности. Пустейшее находит себя в пустоте, в взаимовхождении, во взаимоотражении. Ожерелье Индры. По-другому это вероятно сказать следующим образом — возможно мыслимое место/время, в котором происходит сам акт превращения: нечто уже не то, чем являлось, но еще пока и не то, чем намеревается стать. Станет ли оно иным по отношению к тому, чем оно было или даже есть, не будучи ничем? В теснейшей и постоянной вспышке разрыва времени и непереходного различения, не мыслимой, но всего-навсего предполагаемой, воображаемой — всегда лишь предчувствуемой, а потому не существующей вне, становятся видны некоторые вещи, по отношению к которым наше не-существование как бы обретает движение и внятность.

Первое видение сменилось устойчивым созерцанием. Причины его были Диких понятны. Мальчик, приснившийся ему за день до этого на рассвете, перед тем как приложить к его векам опаляющую неземным жаром монету (за нее ничего не купить, она, так сказать, воплощение «бесплатного» как такового), сказал, что люди «с папиросной бумаги» имеют обыкновение совершать обряд усекновения волос в новолуние, вследствие чего возникает идея тотального понимания совершенного присутствия как имени собственного. Если оставить в стороне неприятный сон, после которого у Диких еще долгое время ныла голова (выпитое накануне также сыграло роль), в остальном было вполне понятно, что «созерцание» не может иметь причин, подобно любому акту приятия чего бы то ни было, вплоть до непрекращающегося процесса несовпадения сознания с создаваемым им в сознании. Вопрос: что «располагается» в этом не поддающемся описанию локусе — принадлежал не ему, но мне. Я держал перед собой изрядно просоленный (зачитанный) New, но, глядя поверх страниц, повторял про себя где-то однажды услышанную малозначащую фразу: «условия человеческого существования», пытаюсь вникнуть в то, что повторял, не шевеля даже безвоздушным ртом. В словесном сочетании, думалось, была скрыта разгадка. Вялость и раздражительность. Такое порой (я слышал) случается, когда разгадка обнаруживает себя вне каких бы то ни было условий, ей предстоящих. Не столько даже в словах, ее образовавших, сколько в обстоятельствах, послуживших импульсом ее возникновения в памяти.

Причем мне было абсолютно безразлично, кому она принадлежала. Или же — чьим достоянием она перестала быть, неожиданно-негаданно вовлеченная в диковинную игру трех имен, которая, скорее всего, никогда не разрешится ни в чем более или менее определенном, но лишь послужит причиной возникновения «новой» смутной привязанности к тому, чему суждено оставаться бесконечно отдаленной точкой догадки, не имеющей никаких предпосылок ни в воле, ни в предощущении.

Невнятная, но все же, вопреки жаре и свету, кое-какая связь возникала, предлагая, по видимому, явно неверные пропорции. Не то. Не этим. Я рассказывал о другом. Мне были даны значительные полномочия.

Ночная, полупьяная исповедь *landlady*, у которой я снимал северную комнату, как бы предопределила неожиданное знакомство с Джанис и ее благотворительным магазином, где я коротал утренние полчаса в ожидании автобуса в школу. Это нужно непременно запомнить. Забыть. Услышать от другого. И снова забыть. Решительно важно установить точное время ожидания. А затем вернуться в ночь на кухню и последовать обескураживающему переходу к «проблемам истории», «протестантской этики и феминизма» (*notes on margins*) как таковым, за которыми звучит непостижимо прямое и потому фальшивое предложение «*дать развитие отношениям*» (мы пользуемся поспешным и неловким переводом довольно искусно построенного пассажа в 4:30 am). В исповеди, как мне потом показалось, звучала явственная нота настойчивого недоверия к высказываемому, вплоть до произнесения пресловутого «развития» — та же настойчивость упоения, с какой разворачивалась история самоубийства отца семейства (*self-made man*), свершаемого на глазах у жены, в виде акта тщательно подготовленного и взвешенного воздаяния за «все», но именно в этом моменте (сколько я потом ни вспоминал, сколько ни ломал голову, на ум ничего не приходило) возникала путаница, и было почти невозможно понять мотивы, понудившие известного состоятельного нейрохирурга прибегнуть к пистолету (тип упущен, как и положено в художественной литературе, хотя лично я склоняюсь к кольту 44-го калибра), поднести ствол к седому виску и, если верить продолжавшемуся рассказу (а я ежеминутно верю всему на свете — вот почему на протяжении жизни ложь никогда не предавала меня, не то что остальное: зрение, разнообразные математические символы, поэзия etc.), вышибить мозги на ко-

лени жены (вот-вот, придвинемся ближе, именно так: качалка, завывающий в камине ледяной ветер, лишаящий медленно рассудка, cartoons в карамельном окошке телевизора; конечно, я все понимаю, я все более чем прекрасно понимаю; что тут говорить, взяли и поехали), тогда как действие, миновав со скрипом, на мой взгляд, слабейшее, а по просту говоря, провальнейшее место, уже вновь набирало грозную красоту готического романа, исполненного пышными закатами Луизианы в феерических испарениях болот, inferнальной яркости полудня, связками тлеющих в склепах писем, когда после первых же страниц, на которых мы сталкиваемся с фактической развязкой повествования, начинается разворачиваться «настоящий» сюжет, приоткрывая «подлинные» мотивы, различные «изнанки» заинтересованности действующих лиц, за чем уже впрямь, подобно бумажным декорациям, громоздятся швейцарские пейзажи бездн и высот, предваряя зев ада, охраняемый выжившим из ума почтальоном и шоколадницей. В награду достается бронзовая табличка в непристойно изумрудном дерне Елисейских Полей, сразу же за поворотом у пожарной части. Занавес резко дергает вверх.

If you do not surf here, don't develop here. Первое имя, точнее, то, с которого начинается *иная* игра, имен собственных, ничего не имеющих в собственности, — Paulina Reage. С упомянутой выше «исповедью» вообще не имеет ничего общего. Хотя это как еще посмотреть. Интересна другая деталь, пишет он в следующем письме, ровно десять лет тому в часе лёта отсюда я впервые прочел ее роман. Он стоил мне двух бутылок Willa Forest, дикого скандала по телефону и разочарования в Шкловском.

Сейчас, когда я пишу это, ей, если верить свидетельствам, 89 лет. Нет — восемьдесят девять лет. Я хочу, чтобы она жила. Мне кажется, что она что-то должна мне вернуть. За ней числится невнятный, но все же, скажем так, долг. Впрочем, неизвестно, как к ней попало то, что ей надлежит

возвратить. Описывает ли термин «тавтология» некие закономерности, процесс? Незаметно и постепенно ей было отказано — я уже останавливался на этом, но прошу не упускать это обстоятельство из виду — в спрашивании о собственной природе, равно как о пределах предания (книги), то есть об одной из тотальных форм, предлагающих существование миру вне какой бы то ни было «картины»...

— Понимаете, — говорит Турецкий, — в этом месте я совершенно перестаю что-либо понимать.

— Не останавливайтесь, не то перестанете *вообще* понимать. Не спору, это место действительно кажется темным, что на деле объясняется его принадлежностью к другому эпизоду. А если вы хотите знать мое мнение, — продолжает о. Лоб, — то на вашем месте я бы так не сокрушался. Так ведь вам нужно что-то определенное? Не так ли? Вы ведь не просто взяли и пришли сюда поболтать со стариком...

— Помилуйте, какой вы старик!

— ...чтобы посетовать на некоторые неясности, темноты, с которыми вам довелось встретиться при чтении? Нет, вам очевидно нужно другое... А если я, быть может, ошибаюсь, поправьте меня. Идет?

— Чепуха какая! Хорошо... вы знаете, ну, никак не возьму в толк: зачем он ее ищет?

— Кого «ее»?

— Ну, ведь мы постоянно сталкиваемся... с чем-то похожим скорее на какую-то тень, которую он пытается поймать.

— Ну и что?

— Скажите, вот в первый раз он уехал в начале восьмидесятых... Да? Точнее, в начале сентября 79 года. Согласитесь, что выехать в ту пору, вот так, просто, по своим личным, скажем, делам было делом очень непростым, да что там! — полностью безнадёжным. Как же получилось, что будучи, если я не ошибаюсь, человеком негосударственным, человеком сомнительной лояльности, он уезжает почти на полгода? Интересно другое. Знаете, у меня много

знакомых в Финляндии, естественно образовались, когда мы начали заниматься лесом еще в самом начале... Так я справлялся у них, а они, конечно, в свой черед у других, — доводилось ли кому встречаться с ним в Хельсинки. Посудите сами, тогда там русских было не так уж и много! По пальцам...

— И что ваши знакомые?

— Да вроде никто его там не видел. Не было такого. Понимаете?

— А где же он был?

— Вот это мне и любопытно. А затем, тотчас по возвращении, поездка в Италию.

— И там вашим знакомым тоже не удалось видеть?

Турецкий промолчал. Подозвал официантку и попросил принести два пива. Посмотрел вслед и произнес:

— Замечательное место. Отличное! Кого нужно, всегда здесь встретишь.

— У вас какая-то чисто русская тоска по встречам, — заметил о. Лоб.

— Наверное, хотя я еврей... а помните, у него был приятель детства или юности, звали его Карловский? Не знаете, что с ним случилось?

— Что-то не могу представить, — ответил о. Лоб. — Не знаю, не знаю. Может, и был. Почему не быть? В детстве много чего было. У меня, например, в детстве была коза. Сколько прошло с тех пор! Скажите, Турецкий, а о приятеле вы тоже где-то вычитали? Ладно, мы уже и так потеряли много времени. Вернемся к вашему роману. Откровенно говоря, там тоже немало мест, которые нуждаются в прояснении.

— Значит, вы согласны, что здесь очень многое неясно, а может, и специально напутано?

— Так-так... — говорит о. Лоб, открывая папку. — Вот и псевдоним, который вы избрали, меня, мягко говоря, настораживает.

— Это не псевдоним, это фамилия моей матери.

— Допустим... — о. Лоб напялил очки. — Кстати, если я верно понимаю, это ваша первая книга?

— Как вам сказать, не такие, конечно, как эта... но были. За границей...

...любой метафоры пролегает следующая метафора. Горящие. Синестезия — беспамятство любого определения. Точно так же как за словом — слово, и за воспоминанием нет ничего, кроме обнаженного строения памяти. Гром не является ни существом молнии, ни ее означающим. Время слуха и время зрения. В назывании времени прекрасным, устрашающим или «кислым» (длинным, легким, твердым...) подтверждается беспомощность перед скоростью распри невидимых материй. Зрение всегда лишь лингвистическая операция, процесс описания, выявляющего возможность (намерение) преодоления фантазмагии пространства между описанием и языком. Меланхолия языка. Как я понимаю, примерно около десяти лет ушло на создание фотографий садов, созданных Ленотром, — Vaux-le-Vicomte, Versailles, Marly-le-Roi и т.д. Трогательные замечания о садах абсолютистской монархии во Франции сопутствуют среднего качества отпечаткам в каталоге. Курортный сезон в разгаре. Если следовать автору замечаний (профессору социологии), сады *являются* манифестаций власти.

— С таким же успехом можно утверждать, что восточные ковры являются символом азиатского способа производства, — дыша мне в затылок, произносит Паскуале В.

Сады Иеронима Босха, маниакальная регулярность лабиринта парков, где исполненность ожидания растворяется в повторении, преступая риторику зеркала в усилении и изведении симметрии из непреложности. Прошлым летом. Прошлым летом... где же, где же мы были прошлым летом?... Конечно же, на старом 101-м шоссе. Кто же не знает этого места!

— How it's going? Они тебе пишут? — спрашивает Паскуале, легко обживаясь в настоящем, насыщенном сыром и вином. В окне — улица. Дождей давно не было.

— Вроде как пишут... — В окне располагалась улица. Вот что было важно.

— Sorry... Между прочим, я был бы тебе невероятно обязан, если бы ты рассказал побольше об этой таинственной трубе!

— Трубе?

— Brandy pipe! Кисельные реки, молочные берега.

— Ну, он не всегда течет, — сказал я. — Бывает, что и не течет.

— Кризис! — радостно сказал он.

— Именно. И чаще в полнолуние.

Нет, я не мог ошибиться, в окне действительно была улица, иголка в лунную ночь.

— Отлично. Все это мне очень нравится. Как бы устроить туда приглашение? — Незыблемый вид улицы в окне доводил до иступления.

— Да брось ты! Проще пареной репы. А это кто? — Я показал глазами на худощавого человека в синем льняном пиджаке: тщательно зачесанные назад льняные волосы, очки, пронизательный (на выбор: уставший) взгляд, на дне которого одновременно стояло два отражения: улицы и выставочного зала. В последнем зажгли свет.

— Oh, boy!.. — Паскуале как-то очень по-восточному прикрыл глаза и скороговоркой пропел:

«...multiculturalism and deconstruction are new rage on college campuses — and they are destroying a students' ability to think and to value. The two movements teach students that objectivity is a myth, and that students' subjectivity whims determine the meaning of text. Here I will explain how philosophers for the past two hundred years have paved the way for today's irrationalism by systematically divorcing reason from reality...»

Последние слова произносятся страстным шепотом. Сахарный храм на горе в русле бывшей реки. Почему «Паскуале» в одном случае наделяется английским языком, тогда как в остальных его ограничивают языком, установленным

повествованием? Сахарный храм — для облизывания языком слов. Оральный секс.

Но ее имя было иным. Его не облизать, оно не тает.

Dominick Aury — взявшая псевдоним Paulina Reage, составленный из двух предпочтений, прочтений — *Pouline Borghese* и названия какой то захолустной деревни.

— Там наливают, Паскуале. Никакой способ производства не способен произвести вина, вино само создает события производства!

— Но не *репродукции*! — подмигнул он.

Оказывается (несколько позднее), и это не было ее именем. Ничего особенного. Не попытать ли нам Chardonnay? Ночь прислонила зеркало к окну. Единственное, что не было подвластно руке Мидаса. Формула двойного превращения. Поскольку истинное ее имя исчезает во время войны, уступая место *Dominick*, — «*потому что оно с легкостью могло считаться как мужским, так и женским...*» — и девичьей фамилии матери — *Aury*. В этом следовании утрачивается четкое представление об означаемом, скользя по спиралям тройного узнавания и переозначения, «по ледяной тропе принадлежности себе». Осень как пора года. Либо другая пора, сочащаяся из пор времени. Иногда как определение того или иного отрезка истории. Мне кажется, будто я писал тебе, что фигуры речи тут обретают осязаемую явь. Аркады такого непрерывного переименования в буквальном утверждении неуязвимой связи и есть, по сути, ее роман, который она «*начинает писать, лежа в постели на боку, поджав ноги к подбородку* (странствие письма во младенчество), *мягким черным карандашом*», одним из известных инструментов нежного пресуществления лица в иное, в фаямский иней персоны — прикосновение, второе прикосновение, третье прикосновение, несколько прикосновений, — продолжая с явно не скрываемым изумлением и много спустя возвращаться к своим онейрическим провалам (качели), к этим «*кратчайшим мгновениям перехода из яви в сон,*

скользящим в неуловимом падении вдоль возможности сосчитать, вдоль осей направляющих их смутных поименований, когда цвета вновь собираются вокруг полюсов и становится возможной только самая дикая, самая жестокая и чистая любовь, или же, скорее, к которой всегда только и обращается сознание, тающее на пороге перехода, — в которых к детским образам сокровенности, бичевания и цепей добавляются символы заемного принуждения... не понимаю, но знаю наверное, что все эти годы они непостижимым, таинственнейшим образом хранили меня».

Я ощущаю непосильное смущение. Сад огромен. Имя закрыто. Ее фотография елочной спазмой продергивает то, что за глазом. Сводит желудок, как если бы в чистейшем, безо всяких примесей, понимании, лишенном предмета. Итак, рукопись отсылается по почте, частями. Мы видим, в какой восторг он приходит. Горят стекла окон на закате. Шум проходящего поезда отсылает к Европе, словно Нарцисс, склонившейся над зеркальными потоками сообщений. Он требует: «еще». Известная фраза. Как все знакомо! Воздух напоен тлением осенних лесов. Длительность закрадывается в каждый жест, каждый мгновенный образ, понуждая движение обрывать себя в призрачной нескончаемости. Но нет уж! Отнюдь не все. Книга движется еще медленней. Пчела повисает в воздухе. Покуда не иссякает, как увядающий выстрел. Греза не может служить повествованием отстоящей «реальности». Я говорю вам, многомудрые риши, — не мужское, не женское, но и не не мужское и не не женское. Существовая только в одном экземпляре рукописи. Остальное вы помните — эпопея публикации, поисков автора, скандалов, переводов, болезнь и смерть Полана. Подагра, чума, костры.

Как собака, как оглохшая собака, свернувшись клубком в его ногах... Все же чем была ваша книга, мадам?

«C'était une lettre d'amour» не уступает чеховскому «Шампанского».

И уже совершенно по другому поводу (хотя въяве вероятно услышать — *кто же вы, мадам?*): «*кто же, в конце концов, я, если не та самая неисчерпаемая часть чего-то, что ничем не именуется, кроме утраты, а здесь носит имя eidola, — но что известно тебе о тех краях? Скажи, быть может, я не знаю, но кто побывал там и вернулся? Как произносит его рот слово aidoneus? что в это время делают его руки, ноги, — но это и есть ночь и потаенность, ее восхитительная, вскипающая пеной безмыслия частица, тень которой, облекая себя и меня, нескончаемо уходящую от нее, никогда не предавала меня никому, ни единым помыслом, словом или действием, — находящая возможность связи с другими такими же, исчезающими в отражениях, да, только через средиземные глубины воображения, сквозь нескончаемый шелест skia, благодаря снам, снимающим слой за слоем плоть, разматывающим клубок крови, снам старым, как мир, как разделение ножа, танцующего на нити, как змеиный укус (но вот что до сих пор остается загадкой: откуда было взяться на Невском проспекте змее, хотя, возможно, я путаю и все произошло в других местах, где больше солнца и небо гораздо выше»), как автобус Encinitas — Chateau Roissy. Перемещение вдоль путаной линии ожерелья (кислорода). Остается приписать: какое бережное побережье.*

Взаимосмещение, пересечение систем добавляет каждой энергию дальнейшего существования, независимо от инерции, энтропии, к которой система сводит себя в своем функционировании, — но мы уже совершенно другие, безумное пение пересмешника ничего не сообщает об озере, которое должно было листаться безо всякого шелеста в бирюзовой грозе детской грезы; точнее, мы совсем другое, не то, чего вправе были ожидать, даже шум, которым мы представляем друг другу шорохом в телефонных проводах, отстающим от голосов, и, главное, пред самими собой, скорее лишь обратная сторона некой складки, где правое отражалась как правое, тогда как знание непостижимо застывало, под стать

капле, избравшей миг в сознании, где — мгновение, где — время не имеют нужды *начинаться*, как и пение птицы, которая не нужна вовсе ни повествованию, видящему себя в нескончаемом умножении историей, ни мне самому, не имеющему к повествованию ровным счетом никакого отношения, кроме любопытства, с которым глаза наблюдают краткую дрожь следующей буквы, напоминающей каплю, которая в силу некоторых законов должна оторваться от стекловидной массы. От «всей воды»? От — «сказать обо всем сразу». В оправдании нет нужды. Я об этом писал. Кажется, это выглядело так. Вначале она остановилась и подняла голову, хотя необходимости ни в том, ни в другом не было. Даже рот открыла, прислушиваясь. Сухой жар полдня был развернут, как пустой свиток. Изнанка ничем не отличалась от лицевой стороны. Глаза обратились к муравейнику. Мешал слух. Слушая, нет особой нужды видеть птицу, но можно было бы сказать, что за слухом в тишине как бы возникла еще одна тишина, ну а вокруг все без изменений, хотя тело несколько опережало зрение, будто переменялось, разошлось на две стороны, как если бы его отпустили за ненадобностью (кому придет в голову думать — обута ты или не обута?), и этот голубоватый оживший метнувшийся к щиколотке как бы стебель, но, конечно, никакой не стебель. Да, ее движения, писал я, должны были напоминать исчезновение рыбы, когда она косо уходит, бесследно, оставляя тебя в дураках. Но несколько прежде стебель сжался в кольцо и выпрямился, а потом сдвинулся и подался по песку. Я уверен, что все происходило не так быстро, и если иметь не два глаза, а много, как у стрекозы, мухи, чтобы они трепетали гроздьями, излучая абсолютное видение, тогда бы все оказалось во сто крат еще медленней. Что-то было дальше, что-то, что в пейзаже странно томило, — запах шпал, горы песка, где можно лечь и, переходя окончательно в зоны черного зноя, смотреть на играющие пламенем десятки летящих с разных сторон солнц. Возможно, бегущая вода или неподвижность огня. Но я не вижу никаких

возможностей объяснения. Скорее следует говорить о ритме. Писал, не писал — толк один. Необходимость развернутой метафоры и неусыпное наблюдение строения ее как процесса, стремящегося к одновременности завершения и начала. Третье всегда не концептуально. Идея третьего не может быть артикулирована. Его присутствие описывается достаточно безыскусно — оно как бы есть, когда надо. Два значения. Однако ритм, движущий всем этим, наиболее любопытная вещь. Даже движение воспринимается как цепь остановленных и соединенных инерцией частных. Точно так же происходит извлечение движения из неподвижности. Его восприятие всегда открыто, говорили о нем. У меня ничего нет, отвечал он, я не понимаю, о чем вы говорите! Как можно короче, говорили ему, еще короче. Ты смотришь и видишь *вот эту* вещь, говорили ему. Допустим, отвечал он настороженно. Возникает ли эта вещь как таковая прежде, чем ты осознал (время в данном случае является рабочей категорией), что ты ее знаешь, или же после того, как она совпала с возможностью таковой в твоём опыте, которому доступны те или иные поля предпосылок вероятности возникновения любой вещи, — значит ли это вдобавок и то, что ты «собираешь» вещь, как Франкенштейна, и каждый раз удивляешься его миролюбию? Нет, отвечает он, я бы на вашем месте спросил, продолжая сравнение, если оно вам так по душе: откуда берется тот разряд молнии либо как возникает первая конвульсия пересечения с энергией, в которой вещь, которую я вижу, узнает себя в моем сознании? Тогда я предлагаю повернуть за угол и присесть в этом замечательном месте. Сколько тут знакомых лиц! Нас здесь любят, нам верят, а потом нальют, более того, никогда и никто не станет здесь спрашивать ни о каких там «вещах».

Но мы их видим. Кого? Вещи? Лица? Иногда они сняты нам совсем другими. Что это значит?

Это значит, что они все те же, они даже не покинули орбиты своих именовании, очертания их не вызывают сомнений — кто или что они тогда? Есть ли мой смех — вещь?

Нет, отвечают ему, какое там! — это *факт*. Является ли вещь фактом? Несомненно. Мне бы хотелось (а кому бы не хотелось?) вначале перевести слово «факт» на русский язык, чтобы узнать, где *вещь-слово* впервые произнесла себя в действии. Но настроение мое отнюдь не испортится, если даже доведется узнать, что не существовало никакого «факта» и, пожалуй, одна легкая изморось неслась по ветру в деревьях, произвольно слагаясь во всевозможные слова, или же, быть может действительно существует произвол в возникновении из не изведенного ни в одну форму значения того, что потом находит удобную для обитания вещь. Довольно запутанно и поздно, здесь смеркается рано. Как раковина. Я очередной раз заканчиваю. Обоев — 4 рулона (на три стены), где шкаф, там — обойдется, уплотнитель для труб (на сгоны), ведро черники и две пачки (по 500 листов) финской бумаги для мемуаров. Обычное дело. Служебные слова управляют дикостью речи. Хруст. Как солнце — садится в океан ровно в 19 часов 23 минуты. Далее не так. Далеко не так. Я опаздываю на час. Не торопи. Прости, не напомнишь ли мне, кто такой Фрейд? Не связано ли это с тем музеем... ну, ты помнишь, где мы с тобой были той осенью в Мадриде? Нет, скорее это связано с твоим сном накануне Пасхи. Или же с надписью на сигаретном киоске бензоколонки у выхода с Leukedia Blvd. Так, во всяком случае, нам кажется, когда мы в очередной раз собираемся вместе — о. Лоб, Диких и я, — намереваясь провести время за неспешным выпиванием вина и в очередной попытке связать некоторые нити интересующих нас событий. Предложений, как водится, слишком много. Поначалу, разумеется, дело идет вяло, медленно, но вот выпивается положенное количество вина, производится некоторое количество телефонных звонков знакомым барышням, в душах мало-помалу воцаряется нечто вроде томительного ожидания, свершение которого необязательно, затем поднимается ветер, швыряющий в стекло первую горсть холодного декабрьского дождя, голоса утихают, становятся глуше, иными словами, мы самым обык-

новенным образом исчезаем, не оставляя в какой раз ни единой приметы. Кто здесь был, зачем приходил, насколько необходимо это было? И кому? Как обычно, как всегда.

В какой момент человек понимает, что он мертв? В случае смерти — и тому научены становящимся впоследствии собственным опытом — знание должно себя прекращать, однако вместе с ним должна прекращаться сама смерть, то есть *мое* о ней знание (смерть как бы всегда *до*, *после* и *вне* золотится, мерцает крохотной литерой «а» в полях песка: скорость света заведомо уступает скорости тьмы), в результате чего она вынуждена оставаться событием другого, фактом в опыте другого, легкой изморозью, летящей по ветру в деревьях, совлекающей горсть знаков в известную последовательность. Должен сказать, взгляд действительно скользит по фотографии, не встречая препятствий. Утром вязкость воздуха продолжила свечение, исходившее из ночи. Избыточность утра в отличие от пространственного предела ночи. Но может ли с достоверностью быть известно кому-либо, что, к примеру, другой мертв или жив? Если я не могу с уверенностью судить: мертв я либо жив, насколько уместным тогда будет говорить о *подобных* «состояниях» другого? Два созерцания. Какое из них предшествует другому? Я упоминал тебе о вещах в комнате. Возможно, это упоминание пока не возникло среди этих предложений, строк и слов. Наверное, мне показалось. При/в первом, скажем так, созерцании вещь дается пределом, непроницаемой границей намерения постичь (предпочтительней — «настигнуть») эту вещь, и твое намерение, отражаясь от само явленности вещи в ее облике, форме, и возвращается неуловимо измененным, поскольку время (даже кратчайшее) тебя уже давно изменило. Но ничто не изменилось. Для того чтобы преодолеть искомое расстояние, летящему телу следует преодолеть некий первый отрезок, который никоим образом не связан со следующим. Все отрезки в итоге расположены в плоскости одного времени. Банальность этого положения исполнена неизбывного очарования. При/в

втором — ты проходишь сквозь вещь, ты (иногда кажется именно так) проникаешь ее,ходишь в нее, но точно так же покидаешь ее, переходя к «следующей», словно несомый потоками длительностей (ливни), производимых вещами, их вихрями, стоящими на месте, со временем начиная осознавать, — подобно тому, как это происходит в кошмаре, — что никакого «множества» вещей не существует, что не существует даже одной вещи. Что также особо не удручает. Ветром распаивает окно и швыряет мертвую, мокрую листву ясеня на стол. Например. В чем заключено очарование этой бессмысленной фразы? Вызывает ли она «в душе» образ осени? В чем значимость возникающего, предположим, «образа осени»? Вспоминаем ли мы нечто определенное: прогулку, прощание, надежды, прочитанные книги, предвкушение затерянного покуда в будущем мгновения, в остановленности которого на экране станет появляться извлекающая из себя ритм фраза о внезапно распаханном окне, порыве дождя, мертвой листве? Не сдвинувшемся с места — перемены. Горлу — тьма. Заключена ли значимость любого, мельчайшего события в усвоенном знании его неминуемого продолжения в будущее и в осознании принципа неизбежного следствия, как а) изменения, б) неодолимо сохраняющей логики? Опиши мне амплитуду этого маятника. Прекратить странствие невозможно, поскольку изначально ты им являешься — перемещением, протеканием в остановленном мире. Синий, как аравийское солнце, воздух. Снега весны. С другой стороны, моя смерть явно вненаходимо «находится» в досимволических областях, предшествующих какому-то смехотворному мне самому во мне и одновременно выносимых вовне постоянными усилиями. Так навсегда запах ирисов будет связан с неизбытым ощущением полудня, оцепенения, зноя, зелени и пылающего в этой зелени неба (с тех времен осталось явственное ощущение, что уединение/мысль/порез на пальце/пыль на столе/анатомические подробности есть одно и то же). Куда проще. И это «вне» есть наиболее странное, наиболее влеку-

щее, поскольку не имеет еще/уже места, и вдобавок оно таково потому, что к нему, к отсутствию места, не приложимы никакие пространственные характеристики, сходные с только что упомянутыми «вне» и «внутри». Письмо должно быть опустошено до пределов, отвергающих какой бы то ни было умысел, включая умысел опустошения, и тогда его нескончаемое наполнение в опустошении явится последней и самой отчетливой иллюзией. Я ничего ни с кем не хочу делить. Писание, говорю я студентам, разглядывая в раскаленное окно подрагивающий над заливом дельтаплан, как процесс, а также как и сумма, лишено пространства. Drag and drop. Какое счастье: физическое пространство белого листа уступило место иллюзии монитора. Давайте так, — говорит девушка в шортах и с сэндвичем в руке, какой бы то ни было знак, появляющийся на экране, является проекцией других, связанных в более сложные системы означающих. Они слагаются в конstellляции команд, предшествующие самой заурядной букве, например *petit a*, которая должна быть истоком других, остальных. Вычитание.

Она является неотъемлемой частью собственного описания. Это даже не настойчивость. Это — по меньшей мере наглость! Но мне не хочется принимать участие в шествии Данаид, я хочу быть действующим лицом и одновременно зрителем, точнее, его взглядом, самым актом зрения, охватывающим и замыкающим в пределы меня саму и каждое действие, в котором происходит возвращение в никуда не ведущем восхождении, — я говорю: мгновением зрения, проникающим во время, когда «действие», «я» и (пусть, меня в настоящее мгновение менее всего волнуют тонкости стиля) сфера моего взгляда (куда уже всегда все включено) существовали бы единственно как возможность самой возможности обозначения (продолжения, распространения, простираня) в постоянно соскальзывающем в будущее созерцании: при/в первом плывущем зерном ничто, источающем ослепительное *есть* в кратчайших прерываниях привычного хотения воплощения. При/в втором бесконеч-

ное «бы» без завершения в птичьих «тии» или «ть», нескончаемое сослагательное наклонение есть подобие слабой тени, почти незримого отблеска, величия невозможного, не сообразного ничему. Женщина поправляет волосы рукой, ее рот полуоткрыт, будто она намеревается продолжить... отточие... влажный блеск... у меня нет времени... я ухожу... привести последнее неоспоримое доказательство того, что вопреки ожиданию не возникло в очертаниях суждения, однако едва появившиеся слова, по-видимому, кажутся ей неуместными и не заслуживающими того, чтобы их произносить. Летний сумрак в комнате становится темнее. Проходит несколько, затем еще несколько минут, и из окна падает бесшумный вечер. Описание внезапного порыва ветра, ожидания дождя, незначительных разговоров ничего не прибавляет. И не убавляет. Равновесие фотографии. Танцующие картинки. А потом, возводя здания памяти, окончательно терялись в них, становясь преданиями, пустым звуком, падающим в тончайшую воронку падения. Так было всегда. Возможность не предусматривает ни «завтра», ни «сегодня». Лишь однажды мне довелось найти деньги. Просто лежали у станции метро поздней ночью на асфальте. Нужно признать, что нам доводилось порой брать на себя ответственность за многое. Ехать в автомобиле, словно спать наяву. Изменения пейзажа происходят вне каких бы то ни было признаков наличия самого изменения. Можно было бы сказать: вот, пейзаж; он состоит из того-то и того-то, и это никуда не уходит. В таком постоянстве свободы больше, чем в катастрофе. Бремя ответственности в итоге рассеивалось дымом, но мы необратимо превращались в то, ответственность за что в силу различных обстоятельств ложилась на наши плечи — неосмотрительность, да, опрометчивость, да-да, неосторожность, нужно было раньше думать, по волосам не плачут — в горящие автомобили, трупы кошек на автобусных остановках, молекулярные соединения, во вскользь услышанные молитвы. Прекрасно и загадочно, говорила мама. Отец курил (он всегда после позднего ве-

черного чая курил с особенным удовольствием) и сквозь дым, слегка досаждавший глазам, следил за ночной бабочкой, бившейся у потолка. Когда нечего делать, я стараюсь следить за предметами так, как это делал отец. В эти мгновения я — никто. Но изменения пейзажа в самом деле происходят, не являя никаких признаков изменения. Таинственная точка в глазу, позволяющая видеть все, но сама остающаяся невидимой смотрящему, есть составная часть окружающего, не меня. Вероятно, она это имела в виду, когда написала «ты никогда не найдешь меня». И дальше: «ты стараешься уловить разницу между тобой и мной, уловив которую ты в дальнейшем сможешь отличить себя от не себя, но она никогда не дастся тебе в руки, и не потому, что такой разницы не существует, — я не знаю, наверное, она есть — даже твои сокровенные фантазии (вот в чем открывается наша самая настоящая убогость!) не что иное, как разговоры, которые ты забыл, где и слышал, но которые тянутся к тебе и уже не оставят твое сознание и то, что за ним, и до него никогда, возвращая к непостижимой убегающей точке начала этих разговоров, этой речи неисчислимых других, к которым ты хочешь принадлежать, потому что ты по ним непонятно почему тоскуешь, но от которых ты бежишь и в то же время в которых ты мечтаешь бесследно исчезнуть. Так не бывает. Я пытаюсь найти место, где несколько лет тому назад мы неожиданно нашли деньги, и не помню даже, сколько мы нашли и что с ними сделали». Море в детстве пахло смертью из-за запаха йода и соли. Sea food.

Каждое высказывание не имеет причины, так как оно возникает, не имея никаких предпосылок, а главное, никакого будущего, оно появляется, будто перечеркивая привычный уклад временного распределения, идя рядом, а иногда порознь, но подчас с ним сливаясь, что создает качественную иллюзию намерения высказаться, иллюзию предмета высказывания, его объективности, постепенно заражающую хаотическое (но имеющее собственную несомненную

логику) мерцание реального вирусом надежды на то, что говорящий, пишущий не случаен по отношению к отражающим друг друга знакам, в жизнь которых он вовлечен собственным намерением переменить их «состояние»; более того, он производит их, как, в свою очередь, производит история его, исходя из представлений, предшествующих первым его движениям пишущего животного, не подозревающего, что в акте мнимого высказывания происходит упразднение его же самого, уповающего если не на утверждение себя, то хотя бы на косвенное свидетельство своего присутствия. Чашка кофе, туман, стоящий за окном, сухая трава в цветочном ящике на балконе. Ее полощет едва уловимый октябрьский ветер, переводя дрожь безымянного вещества в вибрацию контуров, во выющуюся линию ловли, или — жжение виска, презрение к отражению в стекле: мало ли что может стать неотвязным представлением *начала*, отторжения, перехода, природа которого загадочна, поскольку мгновение изменения в нем постоянно пребывает в настоящем, независимо от точки или места, в котором неустанно начинается повествование. Но рука быстро (ее скорость чисто абстрактная величина, так как было бы наивно измерять ее временем, потраченным на изведение рисунка или перебор знаков (знаков) в той или иной очередности, и потому «быстро» остается метафорой в достаточно тонких створах попытки) исчезает из поля внимания (третья сигарета подряд, две чашки кофе и три сигареты за один час — кому это интересно? И значимо ли это, а если да, то о чем повествуют перечисленные действия? К примеру на крыше в душную белую ночь? Чем там все закончилось? Турецкий — Диких. Все благополучно. Для беспокойства повода нет. Много ли у них общего? О необыкновенной сосредоточенности? Одержимости? Слабоволии? О способностях потакания дурным привычкам? О ходьбе по периметру? Не здесь ли берут свои истоки некоторые ритуалы, действительно вызывающие к жизни необходимые реалии? Удар лбом о стену в темной передней порождает задумчивость.

Вас спрашивают, как вы себя чувствуете. Ответ следует без промедления. Удастся ли соединить несколько слов кряду только лишь постольку, поскольку я прибегаю к магическим действиям: курю сигарету за сигаретой, пью кофе? Вместе с тем значения этих жестов могут быть бесспорно утрачены в ином контексте, где работает другой код, предписывающий определенные действия тому, кто намерен этот код развернуть в язык описания опять-таки предпосылок...), как метафора, никоим образом не производящая дополнительного смысла, но скользящая по траектории косвенности, чтобы в итоге коснуться слова ночь (ни кавычек, ни курсива, ни единого выделения из обыкновенной синтаксической последовательности — беспристрастность/безразличие наиболее чистая форма манифестации присутствия энергии), извлеченную зрением из вторжения в соположение черт, хотя зрение опять-таки играет роль, вторичную по отношению к истокам требования такого слова. Несколько позднее в ходе собственного осуществления появляется потребность распространения, разветвления ночи в такую же множественность возможностей, ограничений и переходов. Не ночь ли — тень, мелькнувшая на стене? Не ночь ли загадочные стекловидные червеобразные тела, проплывающие по сфере обращенного на себя зрения и не подвластные никакому контролю? Зрение, видящее самое себя и наблюдающее изъяны в себе как таковом, безотносительно к предметам, ему предстоящим/отстоящим. Я мог бы назвать ночью и тебя, так как ты, подобно многому либо всему, просуществовав кратчайшее мгновение как равная себе — такое снисходительное допущение возможно в виде вспомогательного инструмента недолговременной аллегории, — стала пятном, туманностью на сетчатке глаза, не схватываемой ни изменением фокуса, ни длительностью процесса вглядывания, радужным пятном, беспрестанно стекающим вслед за собой за горизонт видимого. Но как ты однажды заметила, я прибегал к различным и не всегда схожим способам описания своего чувства (осталось одно — неловкости), тщетно

полагая, что это единственный путь воссоздания тебя, исчезнувшей в самом обыденном, заурядном смысле слова более четверти века тому назад, когда утром мне пришлось в голову, каким именно образом мне надлежит закончить то, причиной чего я по недомыслию считал тебя и что теперь я продолжаю, медленно обучаясь иным ощущениям и подходам. Для любопытных: не оставив ни записки, ни слова, ни лоскута платья на кустах крыжовника, не опрокинув чашки с молоком — как и не было никогда, как будто не должно было даже возникать самой мысли о ее присутствии на земле.

Переворачивая страницу и углубляясь в ошибочное зрение — или же, располагая предложение в предложении, сужая поле каждого до неосязаемого зерна точности в рассыпающемся песке намерений, — я узнаю, что здесь есть нечто такое, что могло бы быть даже не тобой... я бы и не назвал это тобой, чтобы не впадать в противоречие с употреблением этого слова другими. Но разве ночь не есть некое материальное образование, обладающее, скажем, определенной частотой излучения бесплотности, безымянности, вовлекаемое в спектры соотношений в ходе своего утверждения, — и это отчасти так, рука не пишет, рука как бы натывается, прекращая следование ритмичной пульсации предощущения, а слово ночь возвращается в ту ночь, которую уже ни рука, ни зрение, ни память, ни даже ты сама, ее впитавшая и собравшая подобно пчеле, не в состоянии превозмочь в плачевном усилии знания, но далее тень перекрывает тень, и свет становится слишком резок для того, чтобы проследовать за возможностью отличить одно от другого.

Если бы зависело от меня, их бы не было. Наиболее слабая позиция — «они». Кто они? Кого бы не было? Какой сделать вывод? Поспешность необыкновенно утомляет. Я устаю, ничего не утаивая. Особенно в условиях, когда ничто не возобновляется. Почему кому-то нравится читать газеты, расписание поездов, листать телефонные книги? Что за этим кроется? Некоторые пишут наоборот... я встречал такие стихи. Кому-то нравится. Какое различие в чтении Ав-

густина Блаженного и рекламной полосы, состоящей из нескончаемого перечисления. И там и там — обещание. И тем не менее их ненависть (они даже не знают, что это — ненависть...) исходит из того, что моя жизнь не несет на/в себе ни единого следа *их* жизни. Гордиться нечем. Это скорее порок. Либо подарок. Но моя жизнь в самом деле не несет ни единого следа ни надежд, ни разочарований. Как стекло. Да, как ногтем по стеклу. Как прощание в осеннем парке, когда от рта дыхание и не слышно ни слова. О чем они? Какие слова избрали для этого часа? Конец ли это? Они другое, средний род. Вернее будет иная последовательность: другие — они. И так неплохо. Но и это неправильно. Отчего же, говорит он.

Поскольку не содержит в себе даже крупички, ничтожной крупички лжи. Изъян, с которым пытаются мириться, прибегая к так и не изменившимся за тысячи лет доказательствам приоритета иного, обратного. Обратного чему? Тому, что не истинно, что ложно, что неустанно требует доказательств собственного несуществования, точнее, неправильности. Сексуальные фантазии понудили меня думать о чем-то действительно (на первый взгляд) нелепом: я решил вообразить свою жизнь, как ее воображает смутное и достаточно темное пространство (любое слово, как всегда, вызывает подозрение), заполненное неизвестно чем (но не страхом, не отвращением — никаких воспоминаний), ежевечерне простирающееся между обмороком сна и обмороком яви.

Я видел точку, которая уходила с вызывающей медлительностью (в какой-то миг я даже был склонен написать — «таяла») к воображаемой черте способности ее воспринимать. В точке ничего особенного не наблюдалось, что-то на уровне *первого, что подвернется под руку*, и она уходила куда-то, симулируя движение, которое должно было придавать месту неизбывную иллюзорность пространства. Точка (здесь я неотступен) была моей жизнью.

Я, кажется, сказал, что ни единого следа? Да-да, так и было. Точка вмещала в себя все, что было в ней, что будет и что есть, включая и это время созерцания ее самой. Неяркая и довольно нерезкая. Насколько я был раньше глуп, доверчиво открываясь навстречу тем, кто убеждал меня, будто жизнь состоит из событий. И чего-то еще. Одни говорили, что человеку неизвестно, откуда он пришел, другие настаивали на том, что человек и есть собственное предназначение, нечто вроде жеста, постепенно выгорающего вдоль осей некой логики предназначенности. Точка не может состоять из точки или точек. В том, что я наблюдал точку, сомнений быть не могло. Какой от нее толк? И все же то был страх. И это поправимо. Ощущение его коснулось затылка, будто открыли окно, но ведь его никто не открывал? Не таял. Многое говорило о надеждах. Например, проволока. Моток сталистой проволоки, доставшийся задарма в заброшенном доме. Я связывал с ней таинственные мечты. Однако прошло немало времени, прежде чем я осознал ошибку. Не так ли мы рассказываем истории о своих близких. Я помню, что множество «я», следующих друг за другом в цепи донесения, размывают представление о том, кто им явится.

Кто научил меня мечтать о вопросительных знаках? Понятия не имею. От меня ничего не зависит. Не знаю. Мне сказали, что вокруг много трагичного. Любопытно, кому или что. Вот так, отказываясь от различных выгод, можно подняться до подлинных высот, где разреженный воздух постепенно сменяется полным отсутствием — конечно, легче всего (и пристойней) умирать на недоступной высоте, на кручах, скалах, когда из ушей течет кровь. Куда она капает? В таз, чашу, землю, наконец. Что за чушь. Остальным это куда понятней, чем мне. Иногда это приводит меня на грань слепого оцепенения — я говорю о тех мгновениях, когда мысль, пройдя положенный ей путь (как бы то ни было, ее притязания в конечном счете сводятся к незавершаемой попытке постижения собственного побуждения) в среде

некоторой безначальности, подступает к единственному последствию, заключенному в безоговорочное принятие собственной неправильности (я намеренно избегаю иных определений, в частности таких, как «истинность», «ошибочность», etc.). Как писатель, или человек, привыкший себе таковым казаться, я полагаю, что можно было бы довольствоваться одной-единственной записью, сохранив ее из числа остальных, опыливших в положенный час яркой невразумительностью множество явлений, и превратившейся в таковую вместе с ними, — одного-единственного словосочетания: «все неправильно», пишу я, оказалось бы вполне достаточно, чтобы разместить различные смутные догадки, редкие просветления, заблуждения, то есть всю ту неопределенность, что не оставляет мой ум и по сию пору, когда бы не знание того, что и эта мысль, исполненная, казалось бы, торжествующего смирения и непритязательности, в итоге окажется подобием личины, тугой пелены хризалиды, в пульсирующем тумане которой зрение всегда готово углядеть очертания следующего *отречения*, — такова предстоящая нескончаемость, выражающая себя в самоизводящей фигуре мнимого продвижения, несущего угрозу на много более явственную, чем картины, вызванные к жизни воображением и значение которых обязано зыбкому основанию опыта или доверия.

Таким образом, если бы не заведомо приобретенное равнодушие, столь необходимое в ремесле пишущего, из всего сказанного/написанного я, не обинуясь, оставил бы только эти несколько слов, которые смогли бы, пускай в ничтожной мере, но все же отстроить угол зрения, с тем чтобы... наиболее полной мере... занимавшее мой ум долгое время...

С другой стороны, нашептывает мне голос, не находящий ни соответствий, ни истоков, очарование этой, преступившей мыслимые пределы простоты фразы проистекает лишь из нескольких произведших ее и растворившихся пос-

ле интонаций; паузы, предполагающей возможность любого начала, общего тона и его расслоения в ритмических возможностях, развивающих токи и силы сказуемого. Нелишне представить движение по лабиринту неравномерностей и асимметричных длительностей, чья осязаемость представляется неустанно мерцающими, ничего не освещающими смыслами.

Но означает ли высказывание «все неправильно» обыденное тщание переступить образованную усилиями присвоить *дающееся* мне повсеместно форму, выступить за ее пределы, полагаемые ее же желанием артикуляции, вписывания, извлечения за пределы *самого действия*, сотканного из очередности мнимых причин, возможных следствий в не прекращающем себя переделе мира?

Сделав еще один мысленный шаг, вероятно принять очевидное: фраза, находящаяся сейчас в центре внимания, в поле этого же внимания возвращает себе качества, которые мы не без основания полагаем во всем окружающем, i.e. фраза *становится вещью*, и, продолжая дальше: становясь таковой, она, как и всякая вещь, становится становлением собственного конца, а входя в резонанс с моей «конечностью», пробуждает в чувствах, рассудке образ совершенно противоположный по значимости — образ невидимости и абсолютной протяженности. Но и это неправильно.

Поскольку, и я это знаю, поводом рассуждения об этой фразе послужили насколько вещей. Усталость, вызванная хроническим безденежьем, количество выкуренных с раннего утра сигарет, плохой кофе и неотступное воспоминание о глупости, с которой, невзирая на изощренные усилия и хитроумие, доводится встречаться едва ли не всюду.

И тогда я пришла к выводу, что мне хочется видеть только собственный взгляд, рассматривающий меня. Вот почему мне нужен был ты (как любому другому — другой, «ты»).

Но именно это место, а я это великолепно понимаю, является наиболее зыбким звеном любого возможного объяснения того, чего я хочу. Но в ближайшие дни все будет по-другому. Да, конечно, согласен. В ближайшие дни. Они вскоре наступят, эти другие дни и луны. Другие дни, луны, люди. Вне людей находится еще больше людей.

Разветвления ночи в такую же множественность возможностей, ограничений и переходов.

Я мог бы назвать ночью и тебя, так как ты, подобно многому либо всему, просуществовав кратчайшее мгновение как равная себе и слову ночь, возвращающемуся в ту ночь, которую уже ни рука, ни зрение, ни память, ни даже ты, ее впитавшая, собравшая, подобно тяжелой пчеле, не в силах превозмочь в плачевном усилии знания, но далее, кажется, тень перекрывает тень, и света становится слишком много, и он чрезмерно резок для того, чтобы проследовать за возможностью отличить одно от другого.

Разные люди... уверен, что все это разные люди, думает мимоходом Диких, рассматривая любительский фотоснимок, на котором видны открытые стеклянные двери из небольшой комнаты, где стол и круглая стеклянная ваза с белыми цветами, а в дверях виднеется еще одна, просторная, плохо освещенная комната — отметим, что недостаток света придает ей глубину многословия, — и кто-то с нерешительным (задумчивым? сосредоточенным?) видом стоит у стола, опершись на него руками, как бы слушая иного, кто, скорее всего, находится поодаль, не попадая в кадр, но более всего привлекают внимание блики, бегущие по потолку, словно от стекол проезжающих внизу автомобилей, и негромкий монотонный шум вечерней улицы, — душно, жаркое лето на исходе, обычно об эту пору в городе никого не застать, на горизонте горит трава, а если кто и позвонит, то жди либо неприятностей, либо незваных гостей, что опять-таки трудно отнести к разряду приятного, а вот и другая сторона улицы, жизни, монеты, раскрытые окна, тюлевые

занавески, разговоры, сливающиеся с уличным шумом, а дальше, справа, Симеонова церква, лоснящийся рдеющим солнцем асфальт. Действительно, разные люди. Но в ближайшие дни все станет по-другому? У этого — одно имя, думает Диких, у того — другое, и еще несколько различных имен. Не много, впрочем, но на первое время достаточно, чтобы дожидаться ближайших дней, а пока мелкими шагами можно исчерпывать расстояние до станции пригородного поезда, по ходу движения перечисляя четки предметов, которые, не совпадая со скоростью, образуемой перестановкой ног, несутся навстречу и пропадают позади, за затылком, за спиной, в сорной станционной траве, в зарослях сизого, точно от инея, бересклета. Жест противления и далее движет предложение. Упомнить хотя бы их последнюю беседу об одиночестве, требовавшую невыносимого внимания к деталям. В кладовую можно было попасть из коридора. Из нее годами не выветривался запах подсолнечного масла. Однажды мы с сестрой видели, как в сумраке кладовой шевелится чья-то высокая тень. Войти в дом с ослепительного зноя. Вот что это значит. От тени исходило чавканье. Чудесная жуликоватая овчарка, воспитанная отцом, им выкормленная, собака... Она стояла на задних лапах, опираясь одной передней о полку, на которой находилась банка маринованной сельди, а другой лапой тащила рыбу.

Сквозь угольное ушко перечисления. В детстве незаконченность радовала.

Но в детстве мы не знали такого слова. Сетчатость.

Странно только, что заметить это удастся не сразу. Обыкновенное физическое ощущение укромого, совершенно изолированного знания.

Наблюдая строение страницы на безжалостном солнце, трудно было представить, что на бумаге может появиться какая-нибудь литера.

Не рекомендуется, нет, совершенно не рекомендуется затрагивать мои рассуждения. Какого они рода? Как возникают? Напоминают ли они голоса или трубчатые кости не-

ведомых музыкальных инструментов? Нужно собраться с мыслями — вопрос не прост.

Просьба заключалась в одном: не следует спрашивать. Тем не менее возникающие вопросы складываются в некое подобие архитектурного взаимодействия.

У меня много чего было. Не было только желания это иметь. Я протянул руку за сигаретой, но взглянул на нее и вдруг понял, что все это время она меня совсем не слушала, а глаза, подернутые какой-то влагой, были пусты и бездонны, как тогда, когда мы оба исчезали в грязи коровника, обремененные ярости и памяти.

Но ее глаза все таки встретили мой взгляд. Ее сухие, горячие пальцы коснулись моей щеки, после чего она резко поднялась, отошла к столу и поправила цветы в вазе. Не позднее было время. И так далее. С каждым случается. Пустой субботний вечер в летнем городе.

Я заметил, что узор на шелке ее платья слегка изменился. Кажется, я даже сказал ей о том, что в нем возникли какие-то другие линии, может быть, другие цвета, переплетения. Постояв у раскрытого окна, откуда несло жаром, она сказала, что, наверное, все, что я ей говорил, и в самом деле правда, и что не было никакой змеи, а была обыкновенная телефонная будка, и еще совпадение, и еще толпа, а кроме того — зной, мягкий асфальт и все такое, и что над этим стоит подумать, потому что времени у нее много, и если кому-нибудь рассказать, сказала она, сколько у нее времени, никто не поверит, да она сама в первую очередь не поверила бы, скажи ей кто о таком, а потом улыбнулась и подошла снова, но ты этому, сказала она, не придавай большого значения.

— Хорошо, если простая телефонная будка...

— Тут мне самой многое не ясно, — прервала она меня и вновь положила обе ладони на мой лоб, а я почувствовал, как они странно и быстро охлаждаются. И то сказать, вечер шел к концу.

— Потому что очень жарко, — сказала она. — А лоб у тебя горячий.

Возможно, так и было. Но в качестве вещей возникло еще что-то. Например, мне показалось, что теперь я без труда могу смотреть сквозь ее руки.

— А что ты видишь? — спросила она, отстранясь и как-то внезапно старея на глазах.

Я не ответил, так как знал, что ей не важно, что я ей скажу, потому что ей, вероятно, не важно и то, что ничего кроме десяти солнц видеть не получалось, хотя стань я об этом говорить, у меня бы ничего не вышло, потому что я видел десять солнц, медленно сходящихся в одно, и оно было не большим, но и не малым; не светлым и не темным, и по мере того, как они друг к другу приближались, исчезая одно в другом, я видел, как меняется их свечение.

Из обыкновенного зеленого они превращались в огненно-синие, лиловые пульсирующие лохмотья легчайшего пламени, которое, постепенно собираясь в форму единого кипящего диска, чернело, будто наливалось неисчислимой глубиной вторжения. Десять ее пальцев, десять солнц сошлись в один черный проем. Что было правильно.

Потому что я ощущал, как выхожу в эту дверь, как будто раздирая завесу из ртути, словно без труда добавляя слово к слову, и никому нет дела, в каком месте кто и как появится на свет. Выйдет. Некоторые грамматические формы совершенны и прекрасны, как музыкальные инструменты. Стоит ли выпускать их из рук даже в воде? Вода — одна часть истории. Песок — другая. Поэтому.

Вероятно, все это время мои глаза были открыты, — те, что однажды были даны в долг и возвращать которые, я знал, наступал час, хотя никакой боли, понятно, я не чувствовал, только жажду. Я так думаю потому, что, беспечно проходя кипящие иероглифы орбит, я продолжал (а как долго?) видеть несколько оставшихся в поле зрения теней, стоявших надо мной точно в ожидании.

Но солнц больше не было. Чего там было еще ждать! Конечно, может быть, они отошли куда-нибудь влево или назад. Либо их закрыли облака или тени. Меня, впрочем, это нисколько не интересовало. Я хотел пить.

Вот что меня интересовало. Я знал, что пить хочу давно. Что означает «давно», я только догадывался, но я знал, что давно знаю о том, что хочу пить, и, облизывая пересохшим языком такие же ненужные, как и желание, губы, думал, что надо бы как-то попытаться сказать о том, чего мне так *давно* хотелось.

Но чей-то голос уже опережает, не дает сказать, неотступно приближается, спрашивает. Голос невыносим. Он вызывает отвращение, как все, что сделано из глины, слюны и дрожи некоторых оболочек. Жаль, но мы так и не узнали, из чего состоит грязь.

— Карл, ты слышишь?

— Карл... — вторит в терцию еще голос.

— Карл, — присоединяются другие.

(В это мгновение мне кажется, что когда-то я их хорошо знал: голоса добрых старых времен.)

— Ты нашел наконец то, что искал?

— Нет, — говорит кто-то словно из-за затылка, издали. И будто бы в ответ:

— Нет, не помню, чтобы я что-то искал.

Разумеется.

Я бы и сам не смог лучше ответить.

Краткое осязание

Воссоединение потока

Итак — следующее повествование, в котором одновременно с пересказом истории о «переходе сомнения в существование» и «торжестве обретения добродетели» рассказывается о снеге, мокнущем на подоконнике, о неизвестных серых птицах с хохолками, поедающих рябину; более того, о человеке, вообразившем себя на короткое время протагонистом самого повествования. Приостановясь на улице, он спрашивает: «Почему на твоих глазах слезы, девочка?» Он также спрашивает, ощущая слабую боль в спине под левой лопаткой: «Кто обидел тебя?» Возможно, вопросов, которые он хотел бы задать, существует гораздо больше, чем ему отведено времени, однако его уже настойчиво отвлекает другое. Приходит ветер. Высокие сосны беззвучно клонят долу черные кроны. Я не знал, куда поворачивать. Здесь, в этом месте, где кончались границы усадьбы Вишневецких, белел в сумерках мертвый мраморный указатель: ангел, ожесточенный резцом и грязью. Пыль стояла, как весть, прочесть которую знание отказывалось. По мере того как темнело, луна все откровенней лгала воде, проводя по ней тонкие, лишь слуху доступные

линии. Линии свивались в бездонную точку, в фокусе которой мелькали завихрения тонкого песка, серебряные мальки и монеты с отчетливо выбитыми очертаниями профилей: со временем утопленники превращались в деньги, за которые в августе каждого года на несколько часов вода выкупала у луны дар быть невидимой. Но на самом деле она оставалась такой как была, только уходила на время из памяти. Мы утрачивали воду, и огонь повелевал воздухом и растениями, скрупулезно заноса запись за записью в тайные их клетки. Вырисовывались глинобитные крепости, рдея по углам вихрей, неустанно перемещавших центр тяжести.

Власть, которой он, оказывается, вождедеет, погружаясь в собственное повествование о себе и тающем снеге, о кричащих серых птицах на фоне стены соседского дома, становится неким эквивалентом справедливости. Но что такое справедливость? Справедливо ли безоговорочное принятие утверждения о неизбежности страдания? Или же — следует другая версия вопроса: возможно ли страдание от того, что по ряду причин ему/ей довелось избежать его? Последняя версия очевидно негодна, представляя не что иное, как уловку по введению фигуры бесконечности в процесс порождения (отражения) следующего вопроса о наслаждении. Из этого ничего не следует. Это тупик. Стоит сухой горячий день. Ящерица древней ртутной литерой дрожит на камне. Не стоит выказывать намерение ее поймать. Она неуловима. Ручей в меру прозрачен и быстр. Кипарисы источают сладостную истому. Смена масштабов и объемов простирающейся горной цепи создает то, чему сознание откликается словом «пространство». Над всем или за всем — синева неба. Медлительные. Уменьшение. Муравьи. Терпнувшая в оторопи тропа под стопами. Длительное уменьшение травы. Сознание как бы покидает тело, проходя через врата сна в Бытие, чтобы стать «невидимым», ибо, говорил Горгий, «Быть есть невидимое, если оно не достигает того, чтобы казаться, казаться есть же нечто бессильное, если оно не

достигает того, чтобы быть». Но на самом деле оно остается таким, каким было, уходя на время из памяти, из чего вытекает: поиски и обретение иного вместо искомого. Мы утрачивали представление о собственном подобии в своем облике, и блики управляли явлением и исчезновением растений, воздуха, чисел, исписанных сквозным огнем. И так далее. Все, что не разбито, сожжено или утоплено. Не оказывается ли письмо перечнем, перечислением — и только! — неких раздражителей, вызывающих закрепленные в коллективном опыте ответы? Справедлив ли такой вопрос? Если да, то чтение есть переживание этих, сохраняемых памятью реакций, — играть на таком «инструменте», оказывается, не столь трудно, как казалось иным персонажам. Даже фиктивное или же намеренно избранное безумие не... Так: даже предполагаемые кем-либо сплетения реакций-ответов не... Так. Но как? Бесспорно, дело в количестве такого рода «закреплений». У одного словосочетание «томас манн» вызывает благостную реакцию успокоения, связанную, очевидно, с «первыми встречами» с многотомным собранием сочинений писателя в нежном возрасте, когда на улицах не убивали просто так и «волшебная гора» обещала смутные, но гарантированные привилегии.

Каждый выращивает свою пустыню, как императоры кристаллы одиночества. Вероятно, дело в количестве и в возможности это количество уместить в чем-то. Но в чем? В вопрос о справедливости? Или же все обстоит совершенно иначе, и то, что я называю «реакциями», является в действительности некими средоточиями ожидания означения, иными словами: мы состоим из роя предозначаемых, дремлющих, как дремлет, свисая с ветви, пчелиный рой, и тогда это, желающее быть означенным, ожидает некоего проявления/предъявления в речи, чтобы стать...? Но мы говорили о письме, поскольку упоминалось повествование, рассказ, было дано обещание, и все это давно записано, все это можно прочесть, возвратясь к первому абзацу, где «следующее повествование, в котором одновременно с пересказом ис-

тории о “переходе сомнения в существование” и “торжестве обретения добродетели” рассказывается о снеге, мокнушем на подоконнике, о неизвестных серых птицах» etc.

Я высказал это девочке, но, скорее всего, она не до конца поняла меня, что, вопреки ожиданию, меня никоим образом не удручило, ибо я, конечно же, провидел время — длительность и исход... — глядя на ее безутешные слезы, не смея отирать их (что скажут другие?), когда она превратится в женщину, а я, стоя на грязном и мокром тротуаре с поднятой рукой, не касаясь ее лица, скажу (намеренно будучи при том многословен — чтоб удержать подольше): «Имена, упоминавшиеся едва ли не со сладострастьем во многих критических штудиях, ставших со временем все отчетливее напоминать описания путешествий в средневековый Китай, действительно казались не чем иным, но только мерцающим, завораживающим кодом, птичьим языком, зеркальность которого так же очевидна, как и его бессмысленная прелесть». В иранских деревнях нам не удавалось собрать на представления ни одного человека. Лишь только тогда, когда мы выставили на деревенскую площадь стиральную машину и она заработала, клубясь белой пеной, — женщины селения робко, однако преодолевая себя, стали собираться вокруг нее. Очарование стиральной машины было непреодолимо. Мы назвали свой театр Washing-Show.

Мне приходят на ум, полуразрушенные ленью моего воображения, анфилады комнат, поющие на мертвых языках стен мадригалы гудам брик-а-брака, рассыпанный бисер, выгоревшие ленты, флаконы с сизым налетом тления на стенках, отражавших в свое время не только обнаженные плечи, но и глубокое, быстро темнеющее небо за распахнутым окном, дрожащее в блеске свечей. Гадания на картах разворачивали империи соответствий и ночные царства эфемерных симметрий, подтверждая мысль о том, что время не исходит из прошлого, но в мерцающих соответствиях магического алфавита возникает лукавой оболочкой, обволакивающей каждое мгновение, каждый вздох, любовный

стон, надорванный и летящий острым сухим листом крик, прожилки которого драгоценны странной ненавистью к длительности, равно как и к быстротечности, — их переплетенные руки, спутанные волосы, невидящие глаза, их раскрытые, покинутые звучанием рты, подобные очертаниям чисел в двоичных системах: любовники, влагой исследующие сухость друг друга, но завершающие иссушением же все и знойной стеной в обжигающем кольце солнца, когда глазное яблоко, словно бесценный бирюзовый купол, различает лишь беглую вязь последнего видения: трепещущий ком, камень, кокон сияния. Остается добавить: пора года... цветение каштанов, — вследствие чего разные призраки немедленно соберутся для поразительно грустной процессии, гримасничая и мыча, подобно сбежавшим и растратившим себя в одночасье не-принадлежности ни к чему и ни к кому из своего дома сумасшедших. Длинная фраза по велению учебника требует следования за собой более краткой. Возможны две фразы умеренной длины, перемежающиеся тремя короткими. Проблема ритма стоит очень остро. Число перестановок или подстановок бесконечно. Точно так же, как и число имен, которые человек может извлекать из своей памяти, под стать фокуснику, извлекающему седьмую тысячу кроликов из цилиндра.

Ностальгия имен требовала по меньшей мере «истории», в которой они бы исчезали бесследно (без сомнения, «бесследность» и «расставание» питают любое сочинение, если оно заинтересовано не бесплодным раздором с пониманием, но бесследным сражением с возможностью истолкования, иными словами, с возможностью власти как таковой) затем, чтобы возникать будто бы впервые, однако уже тронутыми легкой, крылатой тенью распада, точнее — чтобы возникать в неизъяснимом смещении их собственного, разрушаемого ими пространства. Я путаю настоящее с прошедшим, точно так же, как путает меня и не-меня будущее. Между мной и не-мной — «ты», или имя, которое мне безразлично. Но я не знаю... к кому обращаюсь... — помните

ли вы меня тогда, когда стояли у больницы Мечникова на перекрестке и слякоть медленно ползла к коленям всех, кто стоял на остановке в ожидании автобуса. В связи со всевозможными социальными кризисами множество автобусных маршрутов было упразднено. Пути обретали праздность. Уехать куда-либо стало невозможно, но я не надеюсь, что вы помните и это. Нас разделяет *n*-е количество строк в зависимости от формата. Разлука *in folio* либо *in quarto*. Разумеется, после того как вы рассказали о существовании необыкновенной коллекции бабочек, находящейся в музее сравнительной зоологии Гарвардского университета, точнее, коллекции гениталий бабочек, сколь бережно, столь и искусно отделенных ассистентом по научным исследованиям, одно время работавшим в этом музее, сопровождаемой карточками, исписанными его безупречной рукой, той же, что впоследствии заполняла с безукоризненностью меланхолии тысячи подобных для будущих романов, сделавших его имя известным и «на другом континенте», я подумал, что «кастрация» — тема, которая до сих пор не пущена за стол «русской словесности». Какая все же странная плата за «изобразительную чувственность» в описании «мира». Не исключено, что мои несколько слов о Набокове, сказанные в ответ на эту историю, были не так точны, как хотелось бы, хотя я особо ни на что и не притязал... Не помесь Л. Кэрролла с П. Чайковским, но все то же хлыстовство в твидовом пиджаке. Птицы садились на подоконник, снег липнул к лицу. Он был так же нечист, как и воздух, его порождавший. Гремящая дуга в поднебесье покуда свидетельствовала, что во вселенной еще существуют такие понятия, как почта, магнит, кувшин, воздушный змей. Мы не ожидали погони. Пусть призрачные, однако утешительные. Потом вода вновь возникала, не питая вражды к луне. Указатель по-прежнему стоит в тех местах, переходящих, подобно сомнению в существование, в местность глинобитных крепостей, где ветер крепок и стоек. И вот я заканчиваю свое письмо словами: «Мы условились, что повествование будет утешительным.

Оно не будет более возвращаться к предыдущим историям. Незачем. Некогда», которое, увы, я получила, вернее, которое получило меня всего несколько дней тому назад, после моего возвращения из Лондона. Но число, которым компьютер пометил принятый file, и число, которым датировано письмо, не совпадают, — впрочем, с вас станется, вы всегда путались не только в числах, но и в том, что противостоит им. Хотя спросили бы вы меня сегодня, что я имею в виду, поверьте, я бы ни за что не ответила. Я не знаю, что противостоит им — драма? Не помню только, что было написано раньше: числа, драма или открытка. Но какое это имеет значение? Можете меня поздравить, теперь я профессор, и для них я теперь вдвойне маленький клоун. Я имею в виду свой рост, отнюдь не свое величие. Но главное, как мне кажется, заключается все же в другом: вы продолжаете все путать: вопрос, заданный кем-то из нас, касался пола повествующего лица в повествовании. Переход «из одного пола в другой», эта стремительная, как сновидение, реверсия, требует перехода из одного грамматического рода в другой — знание залегает во флексиях, то есть в частицах завершения, которые на самом деле ничего не завершают либо видоизменяются с той же легкостью, с какой вы превращаетесь в женщину или в мужчину даже в пределах одного словосочетания. В связи с этим возникает несколько отчетливо выявленных направлений повествования, о котором вы говорите: 1) тема нежелания повторять рассказанное задолго до этого (к сожалению, мне не удалось услышать или прочесть этот рассказ; говорят, те, кто слушал его, очень смеялись, и, конечно же, он был посвящен женщине), 2) тема рассказывания того, что рассказывается, 3) тема опережения того, что рассказывается, выражаемая в почти неуследимом запоздывании, 4) тема «кастрации», которая, мне кажется, намеренно уводит в сторону от нужного вам заключения — то есть от обозначения некой концепции творчества, лишаящей пола творца или возвращающей ему первозданную целокупность андрогина, или же «совершенство» безгреш-

ного, не соблазненного языка, 5) наконец, тема денег и утопленников, связывающая с тем, что было вам необходимо, как мне думается, в первую очередь, а именно с вплетением нити «другого» континента и солнца. Вы хотели сказать.

Что было очевидно. Если ехать из Нью-Джерси, проезжаешь верхний Manhattan. Когда садится солнце, темный его свет ложится на коричневый кирпич домов, возведенных, наверное, еще в 30-е. Это ощущение напоминает мне ощущение при виде элеваторов в степи за Вапняркой на закате. Я не знаю, что мне этим хочется сказать. Вероятно, не подари мне Элиот Уайнбергер книгу своих эссе в тот раз, я бы не сделал следующих несколько сопоставлений, не совсем, впрочем, внятных, от чего, однако, они не прекращают беспокоить и сейчас. Поводом для их появления послужила просьба сына написать несколько строк по поводу «открытия Колумбом другого континента», поскольку покровители искусств, заказавшие серию на эту тему, требовали от него объяснений тому, что было на холстах; скорее же не они сами нуждались в объяснениях, комментарии требовались для других, вышестоящих покровителей, то есть для тех, кто платил. В какой-то степени они были правы. Человек должен знать, за что он платит. Не сегодня-завтра будет отмечаться круглая дата открытия Америки. Сырость сегодня необыкновенная. Ноги промокли. Я перехожу улицу, вхожу в помещение, которое лишь только с известной натяжкой можно назвать кафе. Но кофе откуда существует. Газеты обещают манифестацию голодных. Нож так же совершенен в своей форме, как сон. Схождение двух параллельных в точке замирания воображения. Я видел, как он стоял у дерева, как из его груди, пульсируя, била пенистая алая артериальная кровь. Удивительно, что ему удалось пройти еще несколько кварталов, добраться до трамвайной остановки в центре города. Прислониться спиной к одному из двух гигантских тополей, под которыми торговали душистым горошком, пионами и «цыганским солнцем». На его враз похудевшем лице стояло отражением выражение

сосредоточенной в себе рассеянности. Женщины, торговавшие цветами, тихо говорили, понимая, вероятно, что его не следует беспокоить, отвлекать. Там он умер. Убили его сапожным ножом. Того, кто убил его, убили позже, на зоне. Ему забивали в голову гвозди до тех пор, пока он не увидел стоявшего рядом с ним Танатоса, произнесшего в момент, когда его заметили, следующие слова: «Ты вовлекаешься в игру присутствия и отсутствия». «Вытащи из моей головы гвозди», — сказал тихо его узревший. «Нет, — ответил тот. — Этого я не сделаю потому, что мне безразлично, есть ли у тебя в голове гвозди или их нет».

Они все были обречены. Я тоже. Я рассматриваю страницы. Я перелистываю листы. Картины сменяются картинками. Пружина необыкновенно сильна, она в чем-то подобна листьям. Семена клена, вращаясь, летят за пепельную границу зрения. Вода плавно рассыпается брызгами, собираясь в непроницаемое натяжение глади. Христофор Колумб родился в Генуе в 1451 году. К тому времени древние царства майя и ацтеков переходили черту призрачности. Инки разворачивали империю, вмещающуюся в тысячи узлов *кичу*. Океанос еще тлел слабым воспоминанием в сознании освобожденного западного мира — ибо, как пишет Гигерич, «Христос разорвал какие бы то ни было тяготящие узы». Христофор Колумб родился тогда, когда ему следовало родиться, утверждает еще один из исследователей, поскольку история Запада стояла на грани исчезновения в мусульманском этносе, так как для противостояния Османской империи требовалось золото. К 1572 году население индейцев сократилось на несколько миллионов человек. За два года до начала первой экспедиции Колумба в Толедо (с 12 февраля 1486 года по 3 февраля 1489 года) были заживо сожжены на кострах аутодафе 5795 человек. В Индии было все, и зубы там чистили зубочистками. Гигерич продолжает: «Змей, именуемый Океаносом или Кроносом, окружающий нас со всех сторон, есть образ и гарантия психологического существо-

вания человека». На вопрос, кем был змей Кронос, Пифагор отвечает — *psiche* Вселенной. Ragusa, или Дубровник, на Адриатике был основан Генуей в 7 веке. С 13 века по 15 век могущественная Генуя простирает свое влияние до Феодосии. Открытие Америки открывает «коридор» Кортесу, отплывающему из Панамы в Перу, к инку. История о 62 всадниках и 102 пехотинцах известна всем. Красноголовый Кински, вращая страшными глазами, на плоту переплывает экран. Океанос перестал омыwać круглую плоскую землю. Земля стала шаром. Поток, обтекавший землю, был разомкнут, *psiche* Вселенной перестала быть таковой. И у инку, и у ацтеков Солнце было «единственным» богом. Чтобы умиловить солнце, ему скармливалось, вырванное обсидиановым ножом, сердце на вершине храма. Нож, сердце, солнце — три линии находят друг в друге продолжение, распускаясь трилистником «общей экономии»: «особой формой потребления престижных ценностей было их обрядовое уничтожение». За тысячелетие с чем-то до Батая инки разрешили проблему накопления и «снятия» в *Aufhebung*, создав свою энергетическую систему Вселенной. Любовники не находят места в этой местности. Детей также погребали на вершинах гор по той же причине — не дать солнцу остановиться. Океанос был великим, бесконечным зеркалом Солнца. С исчезновением собственного «зеркала» Солнце погрузилось в одиночество, перестало быть сыном себя, ибо его «другой» перестал быть в нем. В 1991 году на протяжении нескольких месяцев Ragusa, или Дубровник, построенный генуэзцами, подвергался методическому артиллерийскому обстрелу. Однажды вечером в Вене хозяин крохотного полуподвального ресторана (кроме свежести слегка грубоватой еды, ничего интересного) воскликнул, глядя в телевизор: «Не они же строили!» Да. Не они. И не они открывали Америку. Вечером в Петербурге, стоя в закат на балконе, я сказал себе: «Аркадий, солнце близится к тому, чтобы замкнуть свой круг. Оно нежно и по праву требует нашего сердца, чтобы корабликом из коры пустить

его в нескончаемое плавание по многим водам древнего
Океаноса, повествованием, следующим повествованию».

Дубравке Дюрич

<1992>

Формирование

Мне хотелось на этот раз быть конкретным и немногословным. Задача состояла в том, чтобы ничего никому не рассказывать. Чтобы по возможности не писать ни о чем том, что смогло бы посеять в ком-либо нечто, даже отдаленно напоминающее сомнение. Поэтому начало предлагало себя в любом упоминании события, не посягающего... больше того, противостоящего достоверности. Веер диких перемен в замерзшем небе лагуны расцветал изображениями редких звезд. Но дать этим знать, что история творится в косвенном потоке. «Летающий пух от губ». Однако скважины немые, и воздух застыл. Меня интересует, почему или чем живы в сознании читающего или слушающего те либо иные сочетания слов. Почему «звезды, вода, нежная кожа плеча, пламень глаз» и так далее вызывают — по крайней мере у меня самого, читающего, — ощущения несравнимо более приятные, нежели «испражнения, гниющие зубы, немытое тело, идиотизм, разложение»? Огромная звезда, одна из тех, что появляются на склоне века, раскаляла туман низин тяжелым и душным

огнем. Побережье стлалось под ноги вязким настом мокрого песка. Острова уходили вдоль незримой линии, которую привычно проводил к горизонту разум. Многие об эту пору увлекались сказочной фантастикой — неземные создания опускались на невиданных летательных аппаратах и спасали достойных спасения. Демоны наблюдали происходящее с невозмутимыми лицами. По-видимому, они ожидали другого. Мы не знали другого. По истечении времени слово «освобождение» стало, по свидетельствам многих, означать различные вещи: утром, в дождь оно несло смысл неприятной встречи с человеком в зеленых одеждах; зимним же погожим утром оно становилось белой карточкой со сделанной на ней твердой рукой надписью: «во время глубокого сна, когда все растворяется, окутанный мраком, он является в образе радости». Не исключено, что существовала черта, определявшая начало иной реальности, о которой себе никто не отдавал отчета. Мне хотелось бы рассказать все это вам, с кем мы не так давно беседовали о скорости усложнения понятия материи и о голоде, который, мне казалось, является не чем иным, как подобием зеркала титанов, стирающего лишние связи в перемещениях незримого. Где же таится дитя? Вначале об утре, застигшем меня в небольшом городке вблизи северной границы. В руках я держал сияющую белую карточку тисненого картона, на которой вместо моего имени и адреса была разлита притягательная пустота (о, я знаю, насколько очаровывает она вас...). Я осознавал это как явные признаки изменения порядка вещей, некое отрадное отклонение. Вследствие чего мне должно было заполнить ее обычным стихотворением, посвященным прощанию с местностью, которую я покидал неуклонно, входя в незнакомые пределы. Это был приказ. Подчиняясь ему, я вознамерился написать: «На тонкой черте, тающей небесным бессильем несосчитанных планет, или во мнимом пространстве рассудка — встречаетесь вы, дуновения, не облеченные ни в забвенье, ни в образы. Стекла

осколок, хрустнувший под ногами, освещает мне этот вечер». Но передумал, потому что вечер был далеко, под стать ближайшему предгорью, и, помимо того, написанное было бы сочтено неправдой, что могло бы в дальнейшем квалифицироваться как должностное преступление, влекущее за собой медленное срезание кожи полуденными раковинами в прозрачных садах соли. Улицы города были пусты, если не считать немногочисленных прохожих, занятых сложными танцующими исчислениями. Их губы безуданно шевелились, будто мозг их пропускал сквозь себя не числа, но имена Бога. «Это и есть имена», — произнес один и повел ладонью перед своими глазами. Его голубой румянец был нежен, как июньские ирисы, зрачки светлы и расширены. Воздух позади него был неспокоен — плечи дымились инеем. Они собирали картофель в полях. «Поля бесконечны, — сказал он. — Душа бесследно теряется в безграничных картофельных полях и хранилищах слов». Мне хотелось бы рассказать вам не только о летающих серебряных иглах, впивавшихся с тонким пением в гортани повешенных женщин, чья нагота вовсе не смущала детей, пытливо глядевших снизу на них, покачивавших в такт им, покачивающимся на ветру, сожженными летними упражнениями головами. Не было никого, кто бы мог всецело принять музыку. Я был один, и солнце подымалось там, где положено. Телефонный разговор, о котором я упоминал вам, не полагал началом ровным счетом ничего — в силу некоторых условий он окончил одну мою не слишком длинную и совсем не утомительную мысль, которой я, если удастся, с вами поделюсь позже. Но не теперь. Рощи. Я на самом деле не понимаю, зачем думать о них, зачем это слово широкой тенью и покоем застит иные понятия и значения? Время еще не настало. Больше никого. Человек, позвонивший мне, говорил о еде. Он был, насколько я понимаю, поэтом, потому что безо всякого усилия сравнил еду с хрустальной призмой, рассеивающей монотонный луч удовлетворения простой

потребности в радугу наслаждения, что мне лично кажется безусловно претенциозным. И тем не менее им долго не удавалось меня схватить, словно я был частью реальности. Немудрено. Смерть, шедшая со мной по глиняной дороге, иногда невольно накрывала меня своим плащом, который с исподу переливался слабыми, дымными многоугольниками звезд, напоминавшими ледяное небо лагуны в пятнадцатый день января, а также игру, которую недавно привез из Гонконга приятель. Сильный южный ветер дул нам в лицо. Я сказал, когда на мгновение меня прижало к ее боку: «Так как же быть? Мне снился наш прежний дом, которого нет в помине. Мне снилось, что я подхожу к нему с улицы и вижу — у крыльца новые тесовые столбы, а во дворе там и сям разбросаны полки для цветов, тоже новые, и повсюду пахнет свежей стружкой. Утром я понял, что в эту ночь умерла моя мать. Но она позвонила днем и сказала, что неожиданно выздоровела...» Розы ветров, вращаясь с низким гулом, раскрывали усеянные зрачками лепестки. Мы шли, и ее веер, который она несла перед собой раскрытым, с тем чтобы никто из встречных не глянул ей в глаза, напоминал брызнувший в стороны пук бритв, источавших силу беззвучия и неукротимости. Комья замерзшей земли ранили мои босые ноги, но раны не причиняли ни страдания, ни беспокойства. Я больше не подходил к телефонному аппарату, хорошо понимая, что мне следует продолжить монолог голоса о еде, потому что именно так и тогда я ничего не расскажу — это останется в вашей памяти простым изложением общеизвестных фактов. Вы не станете отрицать, что живете недалеко от площади, и из вашего окна открывается вид на крыши «пяти углов»... В тот вечер я поднялся к вам, совершенно измученный городской духотой. Мне хотелось плакать. На работе меня в тот день узнавали с трудом, а когда узнавали, то принимались безудержно смеяться. Над чем? Никто никому ничего не объяснял. Лето не было благоприятно. В юго-восточных районах

города уже с неделю властвовала холера. Туда все чаще ездили в закрытых стеклянных шарабанах: смотреть. Карантин распространялся не на всех — только уж совсем бедные не имели возможности позволить себе несколько часов созерцания и печали. Картофель стал еще дороже. Это слово было в ходу. Некоторые вспоминали прочитанное. Карты у цыганок Московского вокзала проросли безвольно свисающими странно-алыми линиями, издали напоминавшими стебли кувшинок, хотя те, бесспорно, потемней и потаенней. Те, кто не мог приобрести место в стеклянном шарабана, любовались разбитыми машинами на Английской набережной в закат. Там когда-то жил Евгений Рухин. Он сгорел заживо. И все же бамбуковые ширмы снов с прекрасными изображениями треугольников и птиц выставлялись на всеобщее обозрение к четырем часам дня на Фонтанке. Мне все больше нравилось проводить время на работе. Однажды я обнаружил, что не хочу возвращаться домой. Я сложил все свои деньги, а их было немало, в несколько штабелей у окна, поудобней прилег около них и стал отрешенно рассматривать, как бледнеет свет на потолке, на стенах, как там начинают плескаться отсветы воды. Я думал о любви. Мне хотелось понять, как я ее понимаю. Месяц до этого приятель, возвратившийся из далекого путешествия, принес мне сандаловую свечу и новую игру — на темном экране монитора загорались пульсирующие цветные точки, похожие на те, что в Windows. Нужно было глазами сплести из них некий особенный узор памяти и познания. Если же этот узор совпадал с заданным условием, то есть с ритмом «реальности» (я не знаю, зачем эти кавычки...), игравший терял сознание или, точнее, терялся в нем. Из его рта вырывался сноп огня (хотя мне кажется, это было что-то наподобие внушения, гипноза, с чем тоже нужно будет еще хорошенько разобраться), который спустя несколько минут расслаивался на три фигуры, с каждой из которых происходил краткий, но обстоятельный разговор, воспоминание

о чем, естественно, никоим образом не сохранялось. Кажется, у одной из них была голова ибиса. Вторая напоминала рыбу, играющую в прозрачном зимнем водопаде. Третья состояла из вишни и облака смутного беспокойства, которое нужно было преодолеть, повторяя несколько раз кряду (не очень громко) фразу из «Исследования о растениях» Теофраста: «Он укрепляет и голос» Над зеркальными кровлями висел сокол. Чешуя второго и седьмого солнца отливала пурпуром, растекавшимся в круг оцепенения каскадом лившихся отражений. В ваших глазах темнела река, виденная мною однажды в горах, где я вкусил сока, который течет только тогда, когда светло, когда камыш равен блеску, изначально равному самому себе. Вы говорили, что необходимо ясное намерение доказательства чего бы то ни было. Вы говорили, что даже сюжет со смертью на нечистом тротуаре, который в ту пору занимал меня как возможность проникновения в закономерность городского исчезновения и различия между анонимностью и автономностью, требует безукоризненных предпосылок и иного описания, постольку поскольку эстетика происходит от греческого «чувствовать» и на том, кто решился прибегнуть к именно такого рода познанию, лежит серьезная ответственность. Если мир безумен, отвечал я, следовательно, перед тобой открываются две возможности: либо покончить с собой... «Нет, три!» — поправили меня вы. Я продолжал: либо согласиться, что безумия как такового не существует. «А как же страх?» — спросили вы. Наверное, вы правы, но куда в своем рассуждении мы не дошли до страха. Признать отсутствие безумия означает признать безумным себя, чему противится воля как выигрышу, навязанному неумелым партнером. От первого, то есть от самоубийства, удерживает безразличие. Остается только знать это. «И это немало...» — устало сказали вы. Да, это изматывает, сказал я, потому что полагает неустанное знать. Стоит лишь обернуться, нагнуться, чтобы шнурок завязать или же

съездить на пикник в холерный район, как получаешься вне «Знать» — любая добродетель, любая вера — только охотники, ожидающие твоего самообнаружения. «Но знать и есть в какой-то мере обнаружение, изведение из отрицания?.. Я особенно не задумывалась, но так на первый взгляд мне кажется», — сказали вы. Я посмотрел в окно и сказал: «Знать извне невозможно. Любой странствующий учитель несет предчувствие этого в себе. Можно только сознать, можно только, сознавая это сознание, не обнаруживаться, то есть быть в том, что противоречит понятию бытия, “объективно определенного в каждом отношении”. Здесь очень трудно говорить о сокрытости — любое упоминание о ней неминуемо приводит к обнаружению, к игре внутреннего и внешнего. К некоему вымогательству». Знойный туман стоял над крышами. Мне показалась необыкновенно прелестной внезапная складка, скользнувшая к углу вашего рта. Возникали новые тени, и в них блуждали другие измерения. Об этом, как и о многом другом, я вспоминал, вступая на ледяные мостовые некоего северного города, думая о вас и о вашей привязанности к Александру Готлибу Баумгартену. На что нужно немалое мужество. Я хотел сказать — отвага. Тончайшие градации кислого, орошаемые невнятной сладостью... терпкость и горечь, пряди неожиданной пресности, без следа исчезающие в пульсирующих решетках специй, этих абстрактных величин кулинарии — гарам масал, базилик, тмин. Я открывал ваши ладони и медленно сыпал на них из стеклянного кувшина золотистую пыль куркумы, растирая затем, втирая потом ее в вашу кожу, — волосы откликались ей своим зыбким цветом, — тогда как дремота приближалась к вашим очам, и беспокойство, по обыкновению, охватывавшее в этот час сокола, нескончаемо падавшего в свое отражение, неизвестно как передавалось вам, уходившей из моих рук дрожью, напоминавшей осенние кустарники кизила. Я подымал ваши руки и прижимался приоткрытым ртом к вашим подмышкам — язык

встречал вожделенный вкус пота, обоняние узнавало его терпкий морской дух — водоросли на угасающих камнях, красное солнце в молоке заката, мириады кипящих мух, разбитые, как следы Медеи, черные мидии — руки опускались, а вслед им опускался я, вначале по пути восхождения голоса из времен, но вниз, к его едва бьющейся поросли, не отрываясь лицом от груди, слизывая капли, выступавшие на коже, краешком глаза схватывая дугу овала и сразу же темный ореол соска, чтобы еще через несколько мгновений, связав все ваши запахи в единое желание, выплеснуть их, выпить, опустошить, чтобы снова — ждать в пожирающем ожидании, избличающем все, из чего мы состоим. Изреченности? Стивен Тулмин пишет о неких датах-пунктах, в которых по мере исторического развития вступают в действие (неощутимо, однако необратимо, подчеркивает он) новые факторы, влияния или идеи, результаты чего непредсказуемы. Ничего ошеломляющего в этой мысли нет. Если не предположить, что в личностном опыте или в комплексе идеологических сценариев, заключенном в опыте и постоянно его образующем наряду с другими прагматическими данными, происходит тот же процесс замещения, при котором некоторые «идеи» точно так же неощутимо и необратимо вступают во взаимодействие с иными: обычный процесс перекрестного опыления и вживления. Отношения Федорова и Соловьева до какой-то степени являются примером того, как, невзирая на желание первого и сочувственное понимание второго, а главное, несмотря на некоторые, привлекающие внимание сегодняшних исследователей совпадения в высказываниях, такого «вживления» не произошло. Соловьев так и не высказал публичного одобрения идее «общего дела», причем, что важно, не ввел в сферу публичности и «потребления» (обмена) ее саму, чего от него упорно добивался и напрасно ждал Федоров более чем десять лет. С момента своего письма, где он изливает раздражение и горечь, Федоров и его идея становятся одним экзотичес-

ким целым, обретая место на полях плохо сброшюрованного манускрипта русской философии, — вплоть до момента реинкарнации в Калуге. Его маргинальность, однако, продолжает питать альтернативную мысль, поскольку сама «концепция маргинальности», как пишет в 80-х Джордж Юдис («Marginality and the Ethics of Survival»), есть, собственно, «концепция, оседлавшая модернизм и постмодернизм, — она [маргинальность] является оператором во множественных утопиях и радикальных гетеротопиях, следуя логике исключения в первых и тактике необычности в последних». Исключенная (по недомыслию?) из коммунистической утопии, но неустанно привлекающая внимание своей «необычностью» в обществе распада производственных отношений, которым обернулось утопия, идея воскрешения всех мертвых отцов может рассматриваться по-разному... Ее привлекательность и очарование, по-видимому, заключаются в том, что она как бы напоминает, подсознательно возвращает к привычно-устойчивым принципам онтологии марксизма — действительно, она как бы заменяет идею Океана, Хроноса, пожирающего и порождающего себя, охватывающего и содержащего бытие мира, отделяя его от ничто (от Хаоса, не-из-реченности). Чтобы производить этот мир, эту реальность, необходимо, по словам Маркса, «соединяться известным образом для совместной деятельности», однако философия такого общего дела, не обладая возможностью вторжения/изменения парадигмы «конца и цели», изначально обречена на нескончаемое пародирование и самоизживание. Вторжение же в пространство этих двух терминов есть вторжение в актуальную реальность субъекта, то есть обыкновенное изменение господствующего дискурса, языка, — скорее прагматическая, чем синтаксическая операция. Ничто, хаос есть отсутствие означаемого. Воскрешение (не «матерей») Отцов есть не что иное, как желание воскрешения Означаемого (принадлежащего Отцу, унесшему его с собой и вина за символическую смерть которого лежит на «нас»), тоска по утверждающе-

му языку власти, приказа, повеления, оскотпления сонмами скоплений, простирающихся до воображаемой черты последней пустыни. Можно лишь догадаться, почему именно Соловьев так и не упомянул имени автора теории «общего дела» ни в одном из своих выступлений, хотя, говорят, не раз был близок к тому. Сухая река снится мне третье десятилетие. Я иду вниз по ее струящемуся руслу, но дельты нет, извив за извивом, петля за петлей летят передо мной, как сообщение безо всякого адреса. Аллегория, приведенная мной, удерживается лишь угадываемым сходством. Иначе чем же нам быть или жить, говорили вы, лия отвратительное вино в чашки, стоявшие на полу, где мы, охапки жасмина в хрустальных, надщербленных, однако очень удачно расписанных масляной краской вазах, доставшихся, конечно же, по наследству вместе с бесполезными роговыми гребнями, ввергнутыми в необратимое унижение вашей надменно обритой головой. Важен процесс нескончаемого распознавания, угадывания и создания доселе не существовавшего. Пытаясь проникнуть друг в друга тайными путями, скрытыми даже от желания. Вечер вел нас по царствам смерти, вовлекая в сладостную, блаженную одурь пата/пота в путаном фарсе отождествления «ты» и «я». Рано или поздно я опишу вам все это и принесу в короткий дождливый день, исполняя вашу просьбу быть обстоятельным, конкретным и немногословным, поскольку вам хочется, чтобы ничто не было рассказано, чтобы ничто, даже отдаленно напоминающее сомнение, не могло проникнуть в чтение. Перемены не имеют знаков. И значимости, добавите вы. Остается загнивающий залив. Луна. Черные мосты. Лед на дорогах и великое между «распадом» и «пламенем глаз» равенство — некогда легким вестником богов, легким даром пепла и различения пришедшее в мир, но утраченное в первой же попытке рассказа. Не заставшее нас.

Краткое осязание

И этого было вполне достаточно, чтобы. Наклонение или наклонность, или же склонность. Через ручей лежит шаткий мост, каждый шаг идущего отдается у него в голове, каждое колебание возвращает к мысли о целесообразности упоминания «наклонения», «наклонности» или «склонности».

Падающая башня, окольцованная странным желанием не удержать, но только лишь замедлить ее падение. Чего не происходит с погружением тонущего тела. Условием является наличие водоема, бассейна и любого тела, удельный вес которого должен ненамного превышать удельный вес воды. Идеальным было бы такое различие, которое не поддавалось бы исчислению. Любовь в четырех стенах. И этого было достаточно для того, чтобы. В итоге у каждого во взаимодействующих пластах «времени» образуется некий один, запаздывающий.

Он все чаще как бы зависает, подобно башне, окольцованной желанием задержать ее от образования или соприкосновения с окончательным пунктом превращения.

Он зависает, растрчивая и без того ничтожное движение, понуждая чувство откликаться ему чем-то, что в это мгновение я назову предошущением покоя. Рассматривая все иллюстрации с нескрываемым отвращением. Однако на то существуют особые причины, о которых позже, когда речь пойдет о внезапном стуке в дверь, изменившем планы многих. Не о них. Учите язык. Он, в свою очередь, обучит вас, как и где ставить точки. Только не утверждай, что когда ты занимаешься этим, ты изо всех сил стараешься держать глаза закрытыми. Только не говори, что, когда ты вот этим занимаешься со мной, ты думаешь обо мне. О чем ты думаешь? Я думаю о том, как звук пилы мерно пропиливает вертикальную щель в темной стене тумана, дождевого шороха, редких всплесков отдаленных восклицаний, или лучше о том, как хорошо оказаться в такую погоду вечером у железнодорожных путей, мерцающих рельсов, во власти блуждающих фонарей.

Я думаю о потоках и странных плотинах, которые мы строили в детстве из снега, зачарованно глядя, как вода неукротимо размывает возводимые нами препоны. Я думаю об этом еще и потому, что такое созерцание являлось вслушиванием в упоительную и непонятную радость сознания того, что любое наше усилие изначально обречено — благодарным и благоговейным вслушиванием в высшую силу всех миров, пред которой жалкой и ничтожной казалась власть законов, к которым нас приучали столь настойчиво, сколь и терпеливо, как к мысли о будущем. Плотина была Богом, Богом был ручей. И мы — потому что заведомо знали обреченность наших усилий, а стало быть, всего того знания, которому также были обречены, потому как нас называли людьми. Следовательно, я не могла, занимаясь с тобой вот этим, закрывать глаза, потому что границы моего зрения есть границы моего языка, и не говоря о ручье, плотине, отсвечивающих рельсах и тумане, лежащем в зарослях репейника, я не смогла бы этого видеть. Мне требуется несколько больше времени. Нет, не времени, другого, но мне очень трудно сформулировать, чего именно, но несомненно, если

дело дойдет до того, рассказ коснется восходящих потоков и снежных плотин, метелей, мокрых волос. В конечном счете я могу сказать, что это — мысль о совмещении окружности с плоскостью и о преодолении последней.

История побуждает к тому, чтобы знать, чем она рано или поздно разрешается. Эта точка зрения может быть названа, если ты ничего не имеешь против, аксиологической: ценность возникает в результате появления сокрытого элемента (по воле случая, автора, неведения читателя). Отсутствующий элемент является побуждающим импульсом. Я ничего не имею против, за исключением, пожалуй, окна; оно: напротив. В нем небо и ветви. Дальше, за ними, остальная жизнь. Возможно также сказать, что запланированное отсутствие этого элемента является источником его желания. В итоге семья постигает все свои мрачные тайны, и свет проливается в души. В укрупненном масштабе — нация постигает все свои тайны благодаря Царю-психоаналитику, и тот же свет исцеляет их душевные язвы. Царь также есть нескончаемо сокрытый элемент истории. Более того, нескончаемо двоящийся и в своем двойничестве ускользающий в цепи взаимозамещений. История проста: Царь-Отец, он же тот, кто выслушивает бесконечное повествование о самом себе, исчезающем. У Григория Нисского каждая вещь стремится к своему собственному Логосу, равно как и человек, через которого такое стремление тварного возможно и происходит. Может ли существовать история, изначально исполняющаяся в самой себе?

Некий запаздывающий в своем соскальзывании в память пласт времени иногда напоминает голографический натюрморт. Собрание оттисков, умственных слепков. И не было у нее детей, и кручинилась она очень, а муж ее, генерал, и говорит ей: все сделаю для тебя, только прикажи... а ей что... плачет, бедная. И вот был ей сон, что помрет она вскорости, и потому наутро говорит она своему мужу, генералу, про весь этот свой сон — что видела она во сне Спасителя, и тот ей молвил, чтоб не печалилась, а мужу своему

наказала после смерти на могиле Его фигуру поставить. А почему? Да потому, что детей у нее нет, а так люди собираться будут, поминать. Вот почему! Они мертвы.

Ничем не откликается им спящая часть меня, нескончаемо и неустанно лишаящая себя — себя в отслоении оболочек опознания. Мост сравнения был нами устранен. Звук пилы кольцообразен, однако ничем не напоминает спиралевидное, галактическое вращение ветвей. Снег сошел. Снова сухо и тепло, скоро прилетят скворцы. Лето — хорошая пора. С утра мы пошли на покос. Вечером за ужином каждый рассказывал, как он провел день. Чужие вещи брать стыдно. Бедность не порок и не порог. Дальше тоже есть. Моя радость, читаю я, заключалась во внезапной остановке всего моего размеренного, осуществленного в ладу остального, естества. Подрывное действие одиночества. Сплошные формы черного, восхищающие полнотой совершенства, в приближении обнаруживают неоднородность, зернистость. Вторжение материала в материал. И даже этого было достаточно, чтобы понять, как образуются привязанности к той или иной вещи, предназначение которых заключается в неустанной способности связывать или — проще — походить на другие. Мне недостаточно ни сообщения, ни его автономного бытия. Можно будет сказать, что сообщение, как некое универсальное понятие, полностью исчерпано для меня. Больше этого не повторится. При рассмотрении стены оказывается строгой структурой отверстий, взаимосвязанных с собой разнообразно и сложно: их связи образуют медленную катастрофу.

Сеть зияний предстает стеной. Задача заключается в проникновении в поры. Когда раздался стук в двери, никто не повернул головы. Корруптированное общество насилия отражает все пороки политики правительства. Книга раскрывает огромный мир, совмещая в себе аллегорию, лиризм, мудрость и настоящий, захватывающий *suspense*. Символический мир денег, его космогония, катаклизмы, до смехотворного отчетливое подобие: деньги означают деньги. Ри-

торика денежного обращения тяготеет к метонимии. Поэтика инфляции. Теперь о звездах. Теперь о том, что должно оставаться тем, что оно есть, и о том, как то, чему надлежит оставаться все тем же, начинает очаровывать мысль своей иллюзорностью. Или же своей принадлежностью к долженствованию, полагаемому мыслью в воображение. Вообрази, что нас нет, а теперь вообрази, что, не будучи, мы тем не менее есть и, не бытуя, прибываем, ничего не исполняя, в это двоякое пребывание. Но я не одержим ни единой мыслью, я вполне прозрачен и только внимательно смотрю на предметы, огибая их своим убыванием. Как, например, в тот вечер, когда в дверь неожиданно постучали, и все повернули головы на стук. Кажется, на стене висела картина, заключавшая в себе несколько изображений, плавно, в зависимости от освещения, сменявших друг друга. Не доводилось ли тебе иногда, переходя через ласковую пустошь предсна, воображать, что ты натягиваешь лук, кладешь стрелу, отпускаешь тетиву, но стрела, вместо того чтобы лечь в вожаделенную длинноту траектории, предполагаемой всеми обстоятельствами, неловко и плохо падает у ног, сламывая углом необыкновенно желанную линию — нить, натянутую незримой струной к некоему концу? Еще раз, я прошу тебя, еще раз. Это требует терпения. Но как, но зачем! Это изображение не оправдывает себя в том, что оно якобы должно служить оправданием, — мой глаз бережно расколот, его фрагменты слегка раздвинуты, с тем чтобы в меня устремилось видимое. Мы устраняем преграду между собой и тем, что мы создали, подчинив себя созданному. Но вряд ли я одержим какой бы то мыслью. Кто бы это мог быть? Кто бы это в такой поздний час вознамерился посетить нас (включая меня)? Кому нужна наша вечерняя, невнятная жизнь? Возможно, это почтальон, скажет кто-то. Но почтальоны не ходят так поздно, возразит другой. Поздно и рано равно утрачивают свой смысл в отношении вести к вестнику. Но мы это уже читали, заметит голос из угла, вынесенного в центр комнаты, иглой циркуля впившийся в раздумье об

окружности. Нет, мы еще только намеревались погрузиться в чтение, усмехнется тот, кто сказал вначале о том, что «этого вполне достаточно». Да, согласится девятый, весть всегда находит (скорее образует) такое время, когда она в состоянии быть не предчувствием и не интерпретацией, но тем, что она есть — весть. Но тогда как выглядит такого рода весть, раздастся вопрос. Легко предположить, что у разных народов весть и выглядит по-разному, однако образы, которые она принимает, имеют очень много общего, послышится незамедлительно. Возьмем, к примеру, весть, которая настигла во сне китайского поэта Ли Бо. Она состояла из четырех сухих сосновых веток, которым очевидно не хватало присутствия яшмы, чтобы выдать себя с головой. Это была весть из разряда относительно секретных, наподобие грамм вирусов, вписываемых в тело программы. Такая же весть предстала пред Гвидо Кавальканти, приняв вид катящейся в потоке солнечного света монеты. И невзирая на то, что вторая, по обыкновению являлась Чумой, а первая — истонно ложной вестью, касавшейся композиции Антологии Восточных Врат, они говорили об одном и том же: о невообразимом и радостном многообразии форм, в котором настоящее опережает собственную тень, покрывающую предметы и их архетипы животворной пылью. Раздался стук в дверь. Двери были раскрыты настежь. С лестницы тянуло кошачьей вонью, сыростью и отзвуками прозвучавших днем шагов. Под тремя сводами, встававшими друг над другом, обозначила себя выпуклая, как буква для слепого, звезда. Она была желта, как воспоминание о боли, причина которой утеряна. Силок зрачка ощущал ее тяжелый трепет. Нас больше не было, где мы были. Любовь пришла за каждым, как сельский пастух, знающий меру будущему дню, для которого знаки погоды являются простой азбукой. И этого было вполне достаточно.

Усиление беспорядка

If the present had desired to yield us any motives
The floating body may have been forgotten by memory
Bare branches show alternating emergences of leaves...

Barrett Wotten. «Under Erasure»

Или взять хотя бы человека с собакой, идущего по песчаной косе. Свет падает сбоку, и рисунок теней тонко очерчивает на просвет бумагу.

Линия его носа находится в строгом подчинении у скудного освещения. Бумага прозрачна, как ширма, на которой едва-едва колеблется тень бамбука. Сквозь осенний дождь доносится шорох слетающих листьев. Совершенно верно, взять хотя бы несколько птиц, не считая их, довольствуясь одним тонко дребезжащим различием между неопределенным множеством и единичностью. Скользящие над заливом птицы. Как это просто! Но что они означают для меня? На Кавказе существует птица, меняющая свое оперение в зависимости от поры года. Она гнездится в зарослях озерного тростника. Зимой ее оперение черно без изъяна, летом

же она белеет. Весной и осенью ее никто не видит. Когда наступает пора зимних вихрей, эта птица, которую местные жители зовут Чиро (не имея возможности вникнуть в смысл привычного имени), не только не прячется, под стать остальным, но использует восходящие вихри, чтобы подниматься на неимоверную высоту со сложенными крыльями. Ее отсутствие длится один день и одну ночь. Все это время она проводит на плече Гелиоса. Падает на землю обугленной. Теофраст писал о ней как о птице-растении, устрашающей даже скалы и чья печень в необыкновенно короткие сроки восстанавливает утраченные способности ясновидения, а высушенная и растертая с чемерицей на плоском камне у проточной воды используется обычно как средство, успокаивающее память детей, в праздники Осхофори-ев покидающих Аид.

Они появляются на рассвете, их ждут у храмов, где выставлены чаши с заранее изготовленным питьем. Прежде, в глубокой древности, для этих целей использовалась печень коршуна и мак. Тихий мелодичный звон связок монет, вывешиваемых по этому случаю на ветвях дубов, и поныне очаровывает путешественников. Некоторые из исследователей связывают обычай вывешивания денег не с хтоническим культом, но с первым появлением египетских медных зеркал на Крите, настаивая, что Кносский дворец был не чем иным, как воплощением Бога Отражения-Зеркала, тогда как легендарный Минос не что иное, как манифестация образа, встречающегося с самим собой. Они появляются неожиданно, как будто делают всего лишь неуследимый шаг из ледяных волос тумана в явь земного. Родители пришедших не смотрят в их сторону. Только жрец Деметры свободен в этот миг срезать прядь волос у девушки, впервые накануне разомкнувшей круг собственной крови, и сжечь ее на углях. Дети и остальные молчат. Некоторые полагают, что архитектура языка изоморфна архитектуре зеркала, поскольку считают, что зеркалом управляет память. Однако доказательства их туманны, а сведения недостоверны, ибо произ-

водятся в языке, асимметрия которого очевидна в его неисполняемой неполноте. Им не о чем говорить. В предгрозовом свечении зелень травы словно испускает из себя темное сияние, однако белизна ее разительна и мешает плакать.

Все дело в направлении луча. Если угол верен — вещи недалеко отступают от своих подобий. В такие минуты у меня всегда появляется желание заплакать — точнее, заполнить плачем нечто недостающее, то, что открывается в такие мгновения: в минуты, подобные этому предгрозовому свечению и траве, крикам простых птиц над обрывом, сильному свету, о стену которого они исступленно бьются, падая откуда-то из-за спины человека, ступающего по песку у самого края воды. В обычные дни подобной недостаточности не ощутить. Я хотела бы знать, сколько мне лет. Взять хотя бы стены, когда садится солнце, проникающее тебя с той же легкостью, с какой оно проникает сквозь самое себя, переходя во владения луны, улиток и часов, сворачивающихся перламутровыми наростами. Неясное, но неотступно близкое биение сопровождает тогда каждый поворот головы: сны растрачивают неясность, и их чистота охватывает беспредельные области неслучившегося. Теперь я могу сказать, что мысль есть ожидание в превышении осознания времени. Это не означает, что в такой перспективе времени нет. Оно есть, и только. Не знаю почему, но это мне всегда напоминает историю, случившуюся с Мишелем Лейрисом. Причем не нужно упускать и другие связующие элементы, о которых, если не забуду, постараюсь сказать ниже. Так или иначе, время каким-то образом соединяется со знанием. Однажды он захотел, просто до исступления захотел курить, он ощутил прекрасный дым сигареты, свитый с запахом свежего кофе, влажной прохлады камня, не разбуженной голубями листвы, — его пальцы уловили зыбкую дрожь ее тепла... Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что держит в своих пальцах наполовину сгоревшую сигарету; оказывается, он курил. Да, таково было утро. Мостовые

матово отсвечивали голубой чешуей ночи. Песок хрустел на зубах. Отечество дыма вставало со всех четырех горизонтов. Далее Мишель Лейрис предлагает следующее соображение, которое может звучать так: «Я был охвачен желанием того, что я уже делал, как если бы я не делал этого... хотя объект моего желания не должен был быть им, то есть объектом желания, поскольку он свершился в желании — я уже курил; но это желание было абсурдно и по другой причине: оно демонстрировало, насколько ничтожна желанная вещь».

Я продолжаю, естественно, следующим замечанием: да, это так, если бы не одно ускользающее обстоятельство, а именно — сигарета (желание курить) как нечто, желающее быть присвоенным в событии «исполнения желания», чтобы стать этим нечто, в данном случае сигаретой, (которой, между прочим, предназначено превращение в дым, в Рай). Я спросила себя, чем являлась вещь для желания и чем является желание для вещи. Ответить было нетрудно, поскольку мы, вероятно, представляем собой концентрические окружности: путь «желания». Однако путь «исполнения» представляет иную конфигурацию. Я и мое тело суть два путника, идущие навстречу с момента рождения и разминающиеся постоянно; иногда я думаю, что мы — машины, расстроенная синхронизация которых является одним из основополагающих начал ее же проекта освоения смерти. Я смотрела на него, когда он в исступлении ласкал меня, прижимая к себе. Я ощущала при этом каждую ложбинку его тела, каждую складку сознания, то, как мы (не иллюзорно, а буквально) неукоснительно совпадали во всем, оставляя обнаженную — на расстоянии она казалась продернувшей времена стальной нитью — ось, вокруг которой мы исчезали, плавно вращаясь в отстранении, я и он, но я оставалась (наверное, в силу какой-то изначальной погрешности), никуда не исчезая, глядя на него и себя, перестав понимать что-либо из происходящего, кроме отдаления. Это есть описание тош-

ноты или цветущего папоротника. Может быть, я желала того, что уже было, как в случае Мишеля Лейриса, не обретая и не ощущая обретенного желанием. Мне кажется, что мы не имена самим себе. Мы самим себе никто. Для кого-то иногда мы кто-то. С годами проходит и это. Мне также кажется, что вещи тоже не тождественны себе самим. Мне многое кажется. Например, что время просто есть, то есть — его никогда не будет, точно так же, как и не было. На самом деле сигарета должна была желать его, а следовательно, признать (договор) его желание, тем самым его бытие, чего не произошло. Эти тоже разминулись. Какая досада! Я укладывала горстями воду в песок.

Тогда я, конечно, думала по-другому. Мы обращались к народу. Птицы. Множественность, осуществляемая мной и во мне. Я не о том, какой пол, не о грамматическом роде. Тема казалась неисчерпаемой. В том-то и заключается, подзреваю, изъян. Но зимой все по-другому. Зимой оперение меняется. Оно также несет на себе цвета солнца. Так, если взять, к примеру, утро в пустой квартире, серый свет, открытую дверь балкона, снег, залетающий в комнату; он ложится на стул, тает на полу, легкий озноб, платок на плечах, тает в волосах. Фабула внутренней речи не содержит ни одного сгустка существенности. В такое утро можешь безбоязненно считать, что день благорасположен к тебе, что ты могла бы выйти на улицу и вполне внятно сказать себе или другим: «Повсюду невероятно покойно; а что, если закрыть глаза?» Когда гололед, наклоняйся. И иди. Взять, к примеру, юношу в очереди. Мы стояли пятый час. Я открыла глаза, глянула на часы. Изредка кто-то уходил, другой возвращался. Многие уходили, но многие возвращались. Я тоже пробовала, но потом отказалась от такой тактики. И иди, балансируя на вялой черте стирания, напоминая, прежде всего самой себе, дребезжащий звук, вырытый из папиросной бумаги, налипшей на гребешок. Губы. Рот. Горло. Дыхание. Диафрагма. Система сужений, напряжения и распрямления папируса. Сирены и слух — одно и то же. В книге «Императо-

ры, черепахи и зеркала» пишется, что ожидание следует пить полной мерой. Я видела детей в праздники Осхофориев, я видела холмы и страшной силы, сияющее из моря, солнце, в котором мир созерцал себя, отражаясь от меловых скал. На шестой час, смущаясь, юноша сказал мне: «Вы очень красивы».

У меня мелькнуло, что, как только приду домой, непременно гляну в зеркало, чтобы убедиться в сказанном, но тут же рассмеялась, вообразив, как его легкое желание развеется по ветру, исчезнет, сгинет, прежде чем я возвращусь. Сколько мне лет? С чем я вернусь? С десятком яиц, бутылкой растительного масла, с якобы его признанием? Но, взяв все это, взяв многое другое, даже приняв во внимание сокрытые в капле туши все вселенные, — нельзя будет ответить на то, о чем мне спрашивать не хочется. Слова отмирают во мне, как отмирает эпителий, превращаясь в обыкновенную повседневную пыль, которую в домах стирают тряпками с различных поверхностей. Точнее, они становятся тем же, чем и многие другие предметы, о которых я, кажется, говорила несколько минут назад, хотя в том у меня нет полной уверенности. Возможно, я говорила о чем-то другом, но имеет ли это значение для кого-то? О чем мы говорим, когда говорим? О чем я говорила, когда один мой знакомый позвонил мне тем утром и долго убеждал принять его предложение? К сожалению, в памяти осталось только то, что меня окружало в те минуты, а поскольку оно в высшей степени неинтересно (как, например, в данный момент я), лучше не вспоминать. Однако мой знакомый был (нет-нет, не был, а есть; напротив, была — я, во всяком случае, такова логика, которая беструдно испаряется во мне, подобно жидкому азоту) — нет, он есть то, что, кажется, называется режиссером. Иными словами, человеком, увлеченным тем, что посредством не только не очень сложных, но попросту — невероятно примитивных инструментов, создает процедуру совмещения множества как бы отпечатков с окружающего его «реального» — конечно, можно рассказать об этих механиз-

мах подробней, но что в них изменит мой рассказ? рассудок? Станут ли они от того таинственней, сложней?¹ — поэтому лишь отмечу, что, меняя эти отпечатки местами, наделяя их чужими голосами, понуждая людей располагаться в их пределах, двигаться, говорить согласно его предположениям, основания которых, говоря откровенно, остаются для меня весьма расплывчатыми, он неотступно пользуется словами: «событие» «ценность» «человек» «судьба» и еще какими-то, не помню... помню единственное, что, когда он позвонил, я еще достаточно хорошо понимала их значения. Взять хотя бы тот случай, о котором недавно передавали по радио. Воздух состоит из голосов, у каждого свое имя: «ржавчина» «бег по дорогам» «корона»... Надо знать все. Сын в возрасте 24 лет выдавил глаза матери, чтобы та не видела творящегося в мире насилия. Не знаю даже, почему он позвонил. Наверное, потому что я тоже каким-то образом имела отношение к роду его увлечений. Видимо, поэтому он позвонил мне утром, когда я стояла у раскрытой двери балкона и смотрела, как падает снег или как горизонтальные волокна отдельных созвучий пересекают косые линии — не понять, из чего они сделаны, из голосов? — исчезновения звука. В местах пересечения возникало нечто совсем несоизмеримое ни с безмолвием, ни с музыкой. Или возьмем серебряную ложку, летящую к полу, розу, менструальные выделения, нить как таковую, обрыв, срез, половину яблока. Теперь стало больше цветов на улицах. Если бы «истоки» были доступны мне раньше, я, вне сомнения, никогда бы не согласилась помочь моему знакомому, который позвонил утром по телефону и предложил записать все его соображения, то есть придать им общепринятую форму слов, благодаря которой его персонажи смогли бы двигаться, рассыпаясь на мириад отпечатков, благодаря чему слово «истоки» нашло

¹ Мне было легче поверить мальчику на диком пляже в Алушке (меня тоже возили в детстве к морю), который, раскладывая особым образом гальку, каждый раз давал определенное название своим камушкам — «ржавчина» «корона» «книга» «бег по дорогам» и так далее.

бы свое место в списках сделанного за день. Хочу ли я справедливости в мире?

То есть я хотела спросить — кто-нибудь когда-нибудь видел, как обрушивается дождь семян, когда срывается ветер, когда уже осень, и сквозь дождь слышен шорох падающих листьев? Преобладает серый цвет. Смущает и однообразие нашей внутренней речи, состоящее всего-навсего из одних намерений этой речи. Все остальное известно. С самого начала все известно. Свет ровный, мягкий, обволакивающий. Что меня интересовало в ту пору? Высказанному вовне откликаются параллельные, сходящиеся в клетках отслоившегося от скорости. Скорее всего, что-то произошло, потому что я, не думая, дала согласие. Мне казалось, что следует разобраться: во-первых, с насилием; во-вторых, с глазами. Дельфиниум. Вразумительность дара. Меня всегда интересовала природа зрения, его, как многие сейчас считают, мужская парадигма в восприятии и описании мира. Отчасти я согласна... О возвращениях после. Затем случай, о котором говорили по радио, стал разворачивать для меня всю свою грозную красоту апория. Возникла необходимость задать несколько косвенных вопросов. Я купила бутылку финской водки с оленем и северным сиянием и пригласила гостей. Остальное известно, и мне отнюдь не хочется на этом останавливаться. Надежда есть термин, управляющий направлением и дистанцией. Я посмотрела в окно и увидела человека с собакой, идущего по песчаной косе. Является ли окончание абзаца знаком вопроса?

Кажется, я произнесла вслух: свет падает прямо, и рисунок теней тонко ложится на бумагу. Линия его носа строго подчеркивает скудость вечернего освещения. Позволяет ли расстояние видеть мне это лицо как мужское? Бумага прозрачна, словно ширма, на которой едва-едва колеблется тень бамбука. В этот миг он впервые увидел тень красной. В самом деле, взять хотя бы вон ту птицу, не думая о ней вовсе, рассеянно ведя глазами вместе с ее телом по плоскости глубин гаснущей синевы, довольствуясь различием между нео-

пределенным множеством и повторяющей себя единичностью. Между мной и моей смертью, скользящей над заливом. Как все же просто сравнение! Но что означает для меня сравнение? Я хотела, чтобы ты сравнил меня с оптическим эффектом преломления, а еще лучше дисперсии или, например, с тем, который являет нам зрение в мелькании спиц, сливающихся в радужно-жужжащее целое. Это целое не может быть спицами в движении. Но оно явлено скоростью, оно явлено неким запаздыванием в накоплении следа в напыленном тальке моего зрения — длительностью. Именно над этим следовало бы думать в дальнейшем — над избавлением от ретенции. Во всяком случае, когда-то так было принято считать. Другой мой знакомый исчез из виду некоторое время до этого. Он сказал, что так не может жить... Мы жили? Был ли это тот, за кем я наблюдала однажды днем, когда он и я, раздетые, лежали в постели, и наши тела во многом совпадали, и, поверь, не было во мне никакого раздражения — был только снег, летевший в балконную дверь на пол, таявший там, и мое страстное, неутолимое желание дотронуться до какой-то необыкновенно явственно возникшей стальной нити — оси, уходящей за пределы слуха и сил. Мне снилась бритва, подобная звезде. Или же это был еще кто-то, например юноша из магазина, когда мы стояли в очереди? Не исключено, что мог быть третий, четвертый и так далее, вплоть до мальчика, некогда раскладывавшего камни на берегу моря, или старика с собакой. Число их ничто ничему не прибавляет и ничто не отнимает. Да, он так и сказал: не может жить с такими, как я. Право, я его не совсем поняла. И я честно сказала, что не понимаю. Что надо подумать, зачем нужно с кем-то жить. Более того, зачем нужно говорить об этом или вообще говорить? Он спросил: а что нужно? Что нужно? Я помедлила и не нашлась. Он посмотрел на мое ухо и сам ответил, что ничего не нужно. То есть для меня ничего не нужно. А для него? Оказалось, что ему необходимо счастье. Сам он это придумал или же я после вычитала из какой-то газеты, не

знаю. В той же газете говорилось, что придет время, и мы снова начнем думать о «превышающем нас». Нет, он сказал, ему нужно... что ему... Завершение периода речи знаменует утверждение, превышающее начало, если только, конечно, период не завершается вопросом.

Я сказала, что не понимаю, почему нужно жить. А что он? Он сказал, что «жизнь дана Богом», притом с одной определенной «целью — чтобы не прерывалась», потому что Промысел возможно постичь только во времени, хотя мера его условна и непостижима, из чего следует, что и Промысел непостижим, тогда как я, женщина... (здесь, вероятно, я не очень точно воспроизвожу ход его рассуждения... а жаль). Кажется, я остановила его внимание на откровенной функциональности предлагаемой мне роли. На что он тотчас стал пенять мне за нерадивость и желание избежать ответственности. Выходило, что я бежала ответственности ежечасно, просто ежесекундно, поскольку мне, как он сказал, было в «высшей степени» безразлично — называется ли камень яблоком или как-нибудь по-иному. Или: «есть вещи, которые не нуждаются в иронии» (в смысле, что моя ирония... — и так далее). Мне пришлось сказать ему, что иронизировать, по сути, — это желать, чтобы тебя желали, не зная, что ты этого желаешь, и что будь моя воля, я бы вообще обошлась без имен, я вообще перестала бы именовать, не говоря об остальном. Это, судя по всему, был последний мой знакомый, а именно тот, кто позвонил и сказал, что облегчит мою задачу, потому как нашел книгу про то, про что он хотел бы «снять кино».

Я помню, что мы встретились на Литейном и пошли к Дому Кино. Там мы ели. У меня была температура. Тончайшие шелковые ткани принимались прохладно проливаться сквозь пальцы, стоило лишь на мгновение закрыть глаза, но это блаженное ночное течение, передававшееся всему телу, всегда обрывалось внезапной и отвратительной рябью морщин. Я разжимала руки, открывала глаза. Передо мной находилась тарелка, а дальше — лица других. Скорлупа перс-

пективы была разбита. Потом встретились еще раз. В ту пору мои деньги подошли к концу. Из Санта-Крус позвонила мать и сообщила, что отчим нашел мне приличное место, а она скучает «по России, потому что от корней никуда не деться». Я дала согласие работать над сценарием.

Мы где-то обедали, потом разъехались. Неудачи сыпались как из ведра. Утром мигнул свет, и компьютер потерял письмо, которое я писала в ответ матери на ее предложение «по крайней мере навестить ее». Частности розыска. Меня всегда интересовали третьестепенные частности. Цены росли не по дням, а по часам. С другой стороны, письмо, что бы там ни говорилось, было, куда ему было деваться? Это тоже относится к частностям розыска. Если оно было, значит, оно есть и будет. Только вот где будет? Или же таким вот образом письмо было ей отправлено, оно ушло таким же образом, что и признание юноши в очереди. Я ему сказала, что больше не моюсь перед тем, как лечь с кем-то в постель. Он сказал, что будет любить меня такой, как я есть (то есть «какой?»), но главное, чтобы я не мешкая взялась за дело. Я пыталась объяснить, что меня интересует совсем другое, но у меня не вышло. Я хотела сказать, что я сказала про душ и про то, что не моюсь, совсем не для того, чтобы предупредить его или еще чего-то. Отсутствие моего запаха мешает мне сосредоточиться. Отчасти мне это стало ясно, когда я вновь увидела из окна старика с собакой. Потом я увидела осиное мерцание катера, исчезающее в тумане за Стрелкой. По мере того как я видела различные вещи, мне все больше хотелось, чтобы пошел снег. Мои веки ошупывали глаза. Я не знаю, почему я умерла. Некоторые убеждают меня, что я выдумала и это. Меня теперь нет, что абсолютно неотлично от «я есть». Неважно, что меня нет/я есть, дело в том, что я постоянно разговариваю. Иногда в том, что меня нет, убеждает одно неопровержимое свидетельство — я не сплю. Либо я погрузилась в сон, и теперь сон как таковой перестал существовать. Но это тоже, как кажется, ненадолго. Это пройдет. Я очень много передвига-

юсь, потому что я теперь очень легкая. Мои мысли очень забавны, поскольку они частично также не существуют. Вскоре они станут очевидно третьестепенными; для меня. Это смешит. Еще несколько раз возвращаясь и уменьшаясь, я подумала, что люди пишут разные вещи от любви, но так как они не знают, кого они любят, они исчезают в ожидании того, о чем они пишут. Но я не исчезну, потому что я превращусь в нечто совсем другое... Я знаю это. Я только не знаю, во что. Мне осталось только ждать. Теперь это совсем не трудно. Это наслаждение ни с чем не сравнимо, хотя в книге «Императоры, черепахи и зеркала» оно сравнивается с растворением в созерцании падающего лепестка мэйхуа.

В книге Стивена Касседи¹ «Полет из Эдема» среди беглых, но достаточно остроумных аналогий и сближений имя Кратила встречается три раза: на 21-й, 69-й, 105-й страницах. Это напомнило мне, что упоминание известного платоновского диалога так же естественно для любой работы, касающейся проблем сознания и языка, как и имя Августина Блаженного для какого бы то ни было исследования о природе времени. Фабула «Кратила» изящна и незатейлива. Мотивы, побуждающие писателя/критика/философа/etc. обращаться к диалогу, также не отличаются особенной сложностью. Вначале «клоун» Гермоген, затем рассуждение о правильности и законодателях Имен, легитимности и привилегиях знания, за чем следует аналогия между soma и sema (последняя выступает в роли значения «знака» и «надгробной плиты», несущей этот знак; то есть — summa, не подлежащая «продолжению»). Что, собственно, и требуется — «имена суть производные вещей», а Мир — структура алмаза. Действие производится хорошо отлаженной машиной «разговаривания», иными словами, разговора, едва ли не классического (ныне) раз-речения или освобождения собеседника. Однако уже к середине диалога становится очевидным, что «цитата» давно уже созда-

¹ *Cassedy Steven. Flight from Eden. University of California Press, 1991.*

на. Правильность обнаружена и санкционирована. Следует ли продолжать? И чем завершить?

Недоумение усиливает странная, рассеянная податливость Кратила, обращенная как бы вовсе не к искушенному собеседнику. Однако настроение Кратила уже уловлено Сократом и даже упреждено его вопросом: «Но можно ли что правильно именовать, если оно [прекрасное] всегда ускользает?», продолжающим себя в следующем спрашивании: «Разве могло бы быть чем-то то, что никогда не удерживается в одном состоянии?» — Вследствие чего оно не могло бы быть никем познано. — «Ведь когда познающий уже вот-вот бы его настигал, оно тот час становилось бы иным и отличным от прежнего, и нельзя было бы узнать, каково же оно или в каком состоянии пребывает». Недоумевающее спрашивание в свой черед подводит к вопросу о возможности знания, условием которого является неизменность вещей: «Если же изменится самая идея знания, то одновременно она перейдет в другую идею знания, то есть данного знания уже не будет. Если же оно вечно меняется, то оно вечно — незнание». Иными словами, оно вечное — знание (глагол).

Проблема в изменении/неизменении... В первом случае все умозаключения становятся несостоятельными (к примеру, «Пир»... процесс восхождения в любви к прекрасному и достижение созерцания в наслаждении знанием знания — некой неизменности). Сомнение в Эросе? Кратил упоминает Гераклита, тезис об оппозиции в одном, в том же самом, содержащем свое отрицание и так далее. А затем — странная робость, неуверенность интонации в высказывании мнения: «И мне кажется, что то, о чем мы говорили, совсем не похоже на поток или на порыв». Выяснить, так это или не так, говорит Сократ, будет нелегко... Необходимо определенное мужество, чтобы исследовать этот предмет относительно способа существования, то есть природы вещей.

Но поразителен и конец диалога...

Из последних реплик самого Кратила: «Все же знай, Сократ, я не первый раз об этом размышляю».

Странное расставание. Задумчивость, даже печаль вместо триумфа победы, возобладания. Предгрозовое свечение неба и темное сияние травы. Персонажи расстаются с пожеланием «обдумать еще раз» проблему. Обещание нового возвращения к теме? Скорее всего, нет. Интонация. Вот что понуждает еще и еще вслушиваться в их последние слова. И здесь надлежит говорить об интонации — то есть об иллокутивности и перлокутивности высказывания. О противоречии, заключенном в одном. Текст говорит об и-мен-овании (собственно, об об-ме-не сущности вещи на ее знак...), о правильности имен и, следовательно, мира в истинности вещей, в их идеальной сущностности etc. Но что говорится этим? Что слышишь ты в этих головах воздуха? Может быть, то, что, по свидетельству Климента Строматия, было сказано Гераклитом: «Смерть — это все, что достается нам в пробуждении, во сне — достояние наше лишь сон».

Карле Харриман и Лин Хеджинян — их «Широкой дороге»

Личная версия

Мгновение «исчезает», оставаясь между тем подобием от- тиска, сочетающего эфемерность и реальность, под стать тем отпечаткам, которые оставляли миллионы лет назад истлевавшие листья папоротника в аспидной тесноте ан- трацита, с детской поры завораживавшего сверкающими на изломе льдами доопытных ночей. Любопытно другое — то, что этот отпечаток подобен в своем строении негати- ву, то есть выпуклость листа запечатлена впадиной и на- оборот. Но что нужно, чтобы «проявить» мгновение? Как распознать в пластах, слоющихся один поверх другого при- хотливых плетений, мельчайшие дробы длительности со- знания, в котором они возникали и в которое канули, ухо- дя к несоизмеримым величинам во все более явственно возрастающем уменьшении этих самых дробей? Одновре- менное исчезновение и присутствие — сонные кукол- ки времени — возможно, слова... — речь, раскрытая соб- ственному мерцающему исчезновению. С пристальным, неукоснительным вниманием иной раз я вглядываюсь в написанное до меня другими, точно так же как до головок-

ружения вглядываюсь, перебирая нить за нитью, в написанное мной. Многое, оставаясь прежним в написании, в начертании, в расположении завязей смыслов, в очевидных связях значений, совершенно непостижимо в другом: зачем оно есть, что побудило писавшего писать то, что в этот миг я читаю? Не то ли, что и меня в свое время? Ответы, предлагаемые мне памятью или неким подобием знания, то есть привычки к определенным устойчивым сочетаниям понятий, меня ни в коей мере не устраивают, так как, несомненно — и в первую очередь — относятся к уже написанному, уже существующему, отстраненному, чей смысл или же желание чего, а проще, чьи причины я пытаюсь безуспешно понять или вызвать к жизни в себе самом сейчас. Свет падает из-за спины. Нагромождение бумаг на столе вселяет уверенность в состоятельности такого спрашивания. Иногда звонит телефон, и то, что я говорю, или же то, что я слушаю, вполне внятно и соответствует меня окружающему, возможно, мне самому. Несоразмерность мыслительной задачи очевидна, несоразмерность, собственно, и есть главная предпосылка. Воображение нескончаемо в постижении образа, в котором оно воделеет остаться, быть, не утекая сном в русле яви. В конце концов это (что и происходит вскоре) начинает раздражать, достоверность такого мгновения утрачивается и перед глазами вновь бумага, острое карандаша, распускающего и нижушего петли букв, пробелов. Привкус кофе.

Устранение неизвестного

Однако покойной ночи, милая княгиня, — уже становится поздно, а вы знаете, какое значение имеет для меня сон, особенно в наименее благоприятные дни.

Р.-М. Рильке

Ни одно справочное издание, не говоря уже о фундаментальных исследованиях, до сей поры не уделяли должным образом внимания этой шахматной партии. Гарь носилась в воздухе. Надо думать, что с точки зрения знатоков и тонких ценителей претворения количества в качество, склонных к мистике теоретиков, эта партия ничем примечательным не выделялась. Она во многом была сродни таким же бесчисленным партиям, что разыгрываются из года в год на весеннем припеке в скверах и садах, когда вода мутна и тороплива. Город сиял иглой, впившейся в окружность своей достаточности, существуя лишь как повод для прекрасного описания огня, пересекавшего воображение пылающими потоками листьев в настоящем времени. Шел-

ковый путь связывает два зрачка. Меня не интересует, что звучит в следующих словах: сожаление, ностальгия или слабость воспоминания, не обязанного своим существованием никому. Узлы яви. Розовый ноздреватый камень облицовки набережной. Каждый в итоге избирает собственную, наиболее ему присущую систему поддержания. Когда воздух легок, искрясь, а вечер кажется неправдоподобным. Условие, переходящее в утверждение. Не только в садах, не только на берегах рек, но и в полуподвальных помещениях, украшенных при входе золоченым кренделем коня, едва ли не исчезающего за прозрачной стеной топологической грезы там, где дышат сумрачные розы и ведутся разговоры и плывущие тени имен наделяют женщин всем тем, чем, по обыкновению, их наделяют в несложных историях, плавно выходящих у врат слоновой кости. Раздеть. Тишина пориста, как угасающий камень стен, как дребезжанье папиросной бумаги на гребешке. И еще раз раздеть. Расчесы уличных отголосков. Тогда мы не знали о том, что рано или поздно придется выговорить несколько слов о том. Прилежанию не придавалось должного значения. Что. Все же партия была не так уж плоха, как могло показаться. Кто. Дряхлость и чувственность розового колера, несколько крошащихся минут заката, затем натяжение причин. Было это и так, было это и эдак. Где. С самого начала слышатся неуверенные свидетельства очевидцев: игра овладела сама собой. До. О простоте, о сложности сказано не будет; не произнесу ни слова, говоря. Законы, в силу которых лица играющих приобретают выражение слепых. Мы (сомнительная фигура) медленно, — но, повторяю, отнесись с надлежащим вниманием! — очень медленно движемся в сторону раскрытого окна. Куда распахнуто окно? Волосы их шевелит ветер. Мальчик на руках молодой женщины, на ней вышитая голубыми колокольчиками по рукавам блузка и темный сарафан. Теперь, много лет спустя, когда я читаю пьесу, написанную тогда, я ловлю себя на том, что вместо понимания написанного,

проникая сквозь защитные механизмы письма, я обнаруживаю очевидную непроницаемость того, что было написано, которая исподволь порождает странное возбуждение ума, возмущая его косность, замещая непроницаемые системы ни на что не указывающих указателей новыми ресурсами непонимания. Я не знаю, что со мной происходит. Таковой могла бы считаться изначальная фраза любого романа. Не правда ли, это напоминает начало одной очень знакомой вещи? Позвольте, когда это было? В солнечном проеме двери темная полоса двора. Незнание, даже условно манифестированное, придает объем жизни, пролегая между иллюзией и убежденностью. Я не двинулся дальше первой страницы. Экран предлагает путь вспять, в галлюцинацию нескончаемого стирания. Невидимое стоит некой сетью, распределяющей движения пальцев. Любовь не с чем сравнить, так же как два голых тела. Этот новый эротизм, не находящий опоры ни в чем, не задерживающий субъекта нигде, привлекателен, как неоконченное предложение, не пересекающее иное. Далее я следую только скорости, что означает иногда непомерно долгое зависание в фокусе мгновения, стирающего послойно место, обусловленное «мною». Судьба раскраивает риторику на фигуры не применения, но места имени. Не премину отметить, что у мальчика в руках колеблется ветка клена. Он ушел в нее, как уходят глубоко в благодарную воду, он несет перед собой девственный невероятно цветущий лес, затаясь в нем, подобно утратившему очертания и назначение животному, сладостно созерцая пружину собственной невидимости. Начало тишейшей охоты. Слова равноправны и абсолютно безразличны к миру. Горсть. В 14 лет я уже знал, чем закончится рассказ, который неведомо по какой причине мне необходимо дожить до конца, до самого его порога, о котором известно было задолго до того, как он начнется, но в окончание которого мое весьма состарившееся знание вплетается невесомо, под стать паутине в волосы, или обжигающему дыму в асфальт, или

заиканию в никуда. Таково начало: ступай в ванную, я еще полежу. Начни или кончи. Либо — таков внезапный приход осени, жаждавшей предложений, напоенных определениями, неизъяснимо уничтожавшими друг друга в бесцельном стремлении за пределы памяти, состоящей из одних пределов, одержимость передела которых уводит нас на этот раз в Беркли, в кафе Music Offerings, в наркотические тени имен, вьющихся над впадинами как бы в ожидании влаги — «...thing change itself so fast! Right now I thought that origins of intentions usually lie in the unpredictable shadow of obsession that transforms... or, which it to say, reveal itself quite later as addiction rather than...» — «Then we likely suppose that the state of addiction is a focus of the very desire to restore an obsession? The dark point which cannot serve as a projections screen? Exactly, this is attractiveness of a “dark” mirror, as if there is a place where one apprehends a phenomenon of (dis)appearance, which we imagine in turn as a tain... More tea?» — «Thank you, Arkadii. We should slowly get ready, since my students are waiting for me. Isn't this a fun?.. Oh, I see, you are real addict!» Я потерял сигареты. То есть я, по-видимому, оставил их на столе. Открой руку. Так. Какими капиллярами путешествует боль? Является ли она потоком или мельчайшим математическим телом, стремящимся к уравнению? Блуждающие по этажам сновидений. Садилось солнце. От полотна занавесок тянуло солью и холодом. Так было написано давно. Я с удовольствием пишу это и сегодня, я повторяю то, что писалось. Иные вещи более меня не привлекают. Они обречены оставаться где-то там, на ломкой желтой бумаге 70-х годов. Был ветер, а дальше, вероятно, был Бог.

Не разобрать, что было написано в постели ночью: «я ловлю себя на...» или же «я... тебя... о». Меняет ли в моей жизни что-либо перестановка: «о» и «тебя»? Наутро сухости во рту, предполагаю: «я ловлю себя на том, что... тебя, он...» либо — «я ловлю тебя на том, что... (смутное действие, запечатленное в чистой глагольной форме) себя». Все версии

бессмысленны, единственно намерение принимается считать нить из пряхи обещаний. Такая модификация вируса вписывает собственную среду. Длины не изменяются. Частично надписывает себя в резидентную память, вызывая затем осыпание букв. Осень письма. Но настоящая строка также вписывается в оперативную память читателя. Она также надписывает уже существующие словарные и синтаксические массивы, не увеличивая объема. И «осыпание» значений, возникновение иных вне контроля читающего, лишенных целесообразности, то есть покуда не присвоенных, не вписанных функционально в контуры прежнего, ателеологичных, то, чего я жду. Вирусология языка. Переводчик Ада — Лозинский. Il n'y a plus en lui substance d'homme. Et la terre en ses graines ailees, comme un poete en ses propos, voyage... (Saint-John Perse). По возвращению из Китая мне не удалось двинуться дальше нескольких абзацев, — как жаль, как жаль, сколько всего впереди. Эти страницы раздражают. Я ловлю себя на том, что со страницы считывается, или со странным усилием пытаюсь выговорить то, как по артериям какого-то персонажа, всегда принадлежащего тому, что «было» минуту назад, текла кровь, то есть как если бы персонаж был вполне жив. Что освещает мертвых? Солнце, только солнце обладает властью приближать умерших. Победоносное солнце, плодящее червей. Потом ее взгляд останавливался на некоей вещи, в качестве которой можно избрать все, что находится в этой комнате: пыль на столе. Является ли пыль вещью? Отнюдь, пыль — это множество вещей. Тогда как великое множеств книг — это одна вещь, неустанно следящая странствия пыли. У фашизма всегда слишком человеческое лицо. Я вижу с ухоженными ногтями пальцы. Они смыкаются на леденцовой шее белого офицера, выдвигая его вперед, тогда как противник делает все от него зависящее, чтобы собрать ореховые листья. «О, я помню, как собирала тогда их ты после всего, осень была полна лунами, обгоревшими по краю, но и воздушными капканами, в которых мраморные спирали ветра вели тяж-

бу». У цирка я увидел Ольгу Хрусталеву и Александра Блока. Ольга издали махнула рукой. Как я понял, это означало приглашение присоединиться к разговору.

— Вы знакомы? — спросила Ольга. Блок кивнул головой, что могло пониматься двояко. И то, что мы виделись, и то, что он рад новому знакомству. — ...и, конечно же, ваши голубые глаза, — после легкого поцелуя в щеку продолжила Ольга разговор, начавшийся, по-видимому, задолго до моего появления. Кто кого поцеловал в щеку? Кто задал вопрос. Как мы теперь относимся к утверждению?

Ее замечание касательно синевы глаз несколько настояжало меня. Александр смотрел на мусорные весенние воды Фонтанки. В очертаниях «есть» появилось несколько крошек табака, их нащупали пальцы в кармане. Изменения протягивали отражения по линиям воздуха, в чьих кварцевых расчетах остывали линии заката. Лиризм вынужден. Связность, связанность оборачивается неодолимым расторжением, как если бы всевластие соединенности, выношенное в мечтах, внезапно выказало свою подчиненность законам разложения. Гниющие образы, феноменология гниения, огня, лишенного привлекательной оболочки метаморфоз, мира. Вестибулярный аппарат расстраивает систему взаимоотношений с землей, лишая ее завершенности пространственного расположения. Неизвестное не является устранением известного. Компьютер — точка притяжения и очарования. Локус игры жизни/смерти. Клавиатура, отпускающая пальцы в безошибочное странствие скорости. Однако двусмысленность: выключенный он существует как мертвое тело, обладая объемом, весом, цветом, запахом. И если бы не знание того, что он может находиться в ином состоянии, мы легко назвали бы это тело просто вещью. Но мертвое тело обещает воскрешение. Смутная, странная линия, пересекавшаяся до недавнего времени только в одну сторону, стала открытой границей. Граница оставлена. Впоследствии она утрачивает и символический смысл. На мосту дуло. Лед звенел далеко внизу. И все таки

черта эта остается, проведенная в мозгу борозда, — поскольку щелчок, click, включения/переключения означает разъединение/соединение, или изменение наличного времени в том числе. Возможно, пространства. Множество монгольфьеров парит по субботам над Солано-Бич. Радужные пузыри беспечной потери веса и скрипящего от ветра Asti Spumante. Но эта линия остается, пролегая в той и другой области одновременно — какая из них вторична? какая отзвук, отсвет другой? Возможно, эта черта, бегущая расположения, заменяет собой все. Каждое мгновение отслеживания буквы есть акт пересечения, и тем не менее избегая себя в определении, в постоянстве скорости, двусмысленность продолжает мерцать как бы остатком на сетчатке. Горят костры. Попытка удержать отсутствие и присутствие в акте одновременного устранения того и другого в миг перехода, которому не суждено оборваться ничем: ни жизнью, ни смертью.

— Да-да, я слушаю, — ответил, спохватясь, он.

— Да нет же. Слушайте, пойдемте-ка на Финляндский, а там и продолжим. Можно и выпить... — предложила Ольга. И, повернувшись ко мне:

— Понимаете, это не просто убийство, не обыкновенная абстрактная загадка, задача, предложенная случаем как версия банальности, обрамленная рядом неординарных обстоятельств. Это проблема... перевода.

— Именно, тогда я решился войти, — после паузы сказал Блок. Голос его звучал стесненно. — Утром я вошел в комнату, а надо сказать, ночь была для меня чрезвычайно беспокойной. Этой весной поют какие-то другие птицы. Они намного крупнее прежних.

— Да конечно, голубчик! — сочувственно отозвалась Ольга.

— ...но, как я уже говорил, она лежала на своем диване, в крови. Я далек от того, чтобы во всем винить новых птиц. Разумеется, в первый же миг я понял... но все же непонятно зачем наклонился, — я разглядел, что нож рассек ей шею почти под подбородком. Знаете, как это бывает, когда вне-

запно видишь все с необыкновенной остротой. Например, вы летите в самолете на высоте 9000 метров и видите все внизу, как сквозь магический кристалл. Кровь залила простыни, пеньюар, однако нигде не было следов, которые могли бы внушить мысль о насилии! Кровь уже стала коричневой, какой-то зернистой. Я подумал о краске, которой красили очень давно заборы на Охте. Я потрогал пальцем ее рот. Он был чрезвычайно тверд. Я подумал, не убирая пальцев с ее губ, что вчера... или это уже было для меня как бы сегодня? — они обжигали меня. Мне не хотелось бы вдаваться в подробности, к тому же вам, наверное, это довольно известно, — когда все твои ощущения сосредотачиваются, сходятся в одной точке, в одно место, а все остальное тело как бы отсутствует, присутствуя в осознании собственной незанятости, опустошенности. Мне кажется, в этом и состоит иллюзия орального секса. В комнате было жарко натоплено. Мы избегали открывать окна, поскольку, как я полагаю, мы хотели довести одиночество наших отношений до некой крайности.

— Мы? — невпопад спросил я. Смерть открывает время вне заинтересованности. Мы отбрасываем «тень» в эту область, не в состоянии ее увидеть. Все равно как не видеть своих экскрементов. Человек сходит с ума, продолжил Хор.

— Так я иногда воображал, что было бы куда как хорошо, если бы ее комната находилась где-то под землей, очень-очень глубоко, куда не проникал бы ни единый звук, а я бы иногда вспоминал лишь, как там шумят деревья. Много деревьев. Но вспоминал... Вы понимаете меня, Ольга? Вспоминать о настоящем. Вы заметили, как изменяется поведение? Внизу обитают комары, святые, крысы и гномы.

— Вы слишком обожаете свою мать, Александр, — заметила Ольга.

— Обижаю ли я ее... Нет, я ее люблю, я к ней нежен, но... видите ли, обижать... мне думается, это нечто иное. Мне нужно большее, нежели объятия, но что означает это большее? Отгадайте, Ольга. Вам предоставляется прекрасный случай. — Он прикрыл рот рукой.

— Не знаю... Возможно, вы любите женщин как-то иначе, нежели они привыкли, чтобы их любили?

— Сомневаюсь, хотя, вероятно вы правы. Никто не любит, чтобы их разбирали на части.

— На части? — деланно удивилась Ольга и украдкой показала мне на часы.

— Именно. Мне думается, что драма детства заключена в невозможности возвратить прежний облик кукле, которую ты распотрошил, пытаясь узнать, что у нее внутри, но глухоту которой тебе не избыть. Некоторые в детстве разбирают часы. Однако смешно говорить, будто так они хотели бы понять время.

Серьги тоже. Они образовывали умственный узор, который мне не удавалось прочесть, под стать тем словам, которые полустертыми проступают на застиранной марле снов. Ошибка.

Я посмотрел на солнце, тронул языком губы, почувствовал налет соли на них, а затем ощутил вкус городской пыли, чья тонкая кора состояла из различного рода окислов. Свет путался в голове стоявших. Со стороны Пантелеймонской церкви шел Василий Кондратьев. Несколько масштабов нашло возможным определить его продвижение в перспективе. Бесстрастный наблюдатель мог бы сделать вывод, что присутствующие видят не одного, но нескольких Василиев Кондратьевых, соединяющих масштаб воды, обжигающей каменную кладку, масштаб падающего шеста и дремотного коршуна, клюющего в излучине локтя. Пропорции шествия одного в одном. Возможно, никто ничего не мог поделаться со светом, как если бы пчелы внезапно обрушились на волосы и вошли темной рекой лезвия в тело, разделяя его на тень воспоминания и воздушное отражение неясного отказа. Моя тень была при мне, как и мое время. Я вспоминал твои серьги: острые брызги летучего металла в мочках ушей, тусклая жемчужная мелочь на крыльях носа, дымное плетение под нижней губой, повторяющее себя, уменьшая себя к подбородку несколько раз, зеркальные кольца, замк-

нувшие соски, и ниже, тесно и сумрачно, — на клиторе. О татуировках мы поговорим позже.

— И что же? — спросила Ольга. — Вы хотите сказать, что впоследствии все усилия направляются на то, чтобы научиться собирать разъятое?

— Это похоже, но не так, — улыбнулся Блок. — Вот вы открываете орех и видите, что он пуст. Вы складываете половинки и с замиранием сердца переживаете некоторое время, чтобы вновь его раскрыть. Иногда для этого используется нож. Но... как бы это сказать, *it is really wrong way!* Да, но только для первого раза, а после будет намного легче, если принять к сведению, что я люблю ее как прежде. Потом достаточно легкого прикосновения, и это раскрывается как бы само по себе. Что к тому же похоже на то, как если бы попросить женщину...

— Но, помилуйте, ведь это куда как легко... более того, это обычно делается перед белой стеной. Причем не забывайте, мы постигали свое время по-своему каждый. Есть ли у вас белая стена? Есть? Вы садитесь перед ней и слой за слоем устраняете все возможные проекции.

— Нет-нет! Тут, Ольга, вы допускаете очевидную ошибку. В моем случае речь идет именно о накоплении проекций и ожиданий, с тем чтобы затем выявить магистральные, что ли, изначальные, скрытые цензурой, воспитанием, опытом и, конечно же, упованием.

Кто слушал ночами тяжкий шум летящих к земле яблок, кто исписывал тетради неиссякаемым сочетаньем двух-трех букв, начинавших вибрировать смутными смыслами по мере того, как страницы сменялись страницами, которые, мнилось, рано или поздно удастся постичь, набравшись терпения. Частностей всегда предостаточно. Их всегда больше, чем в состоянии схватить обобщение, стремящееся предстать знанием. Частность трупа, лежащего навзничь на плоскогорье пыльного весеннего утра, представляется сгущением образа, самого акта воображения, отягощенного накануне вовлечения в таксономию смерти. Терпение —

это первое. Второе — двусмысленность явления и исчезновения, точнее, процесс схватывания одного через другое. Пишущий уже написан. Трюизм, не избывший своего очарования и силы. Пишущий написан потому, что он хочет, чтобы так было. Мы отправляемся в странствие по узлам нескончаемых пересечений высказываний как другого/других, так и собственно пишущего. То, что есть — независимо от опыта, постоянно постигается в результате опыта, и опыт этот не есть то же самое, что состояние или порядок вещей, опытом которых он является. Весенний снег. Ветер. Каждая вещь таит в себе абстрактное действие. Город также, возникая со всех сторон одновременно. Вчерашний поступок равен любому поступку в будущем, которое якобы уже описано, лучше сказать, вписано в меня намерением это будущее принять в обрамление интенции таковое будущее счесть неминуемым. Плотность цветного монитора лишает письмо прелести ночного бдения. Бенгальский треск мотыльков. Как если бы путеводная нить, сматываясь с клубка, со временем прекращала свою функцию, поскольку переставала бы существовать в остающемся пространстве — подобно моему телу, этой изначально уже прекращающей себя в пути наследования нити. Несколько предметов вполне заменяют мир, неуклонно и медленно сводя себя к еще меньшему в себе количеству. Шум. Вот что главное — шум, в котором угадывается все: голоса, птичьи вскрики, гул утра, — нет ничего, чего не умещал или не обещал бы в себе шум. Ни одного действующего лица. Искривление луча. Ночью солнце неожиданно являет себя во вспышке сетчатки. Ах, это снова мальчик на руках молодой женщины? Как замечательно вышита ее блузка, как легка она, несмотря на то что несет какого-то мальчика на руках. Становится довольно прохладно. Продолжение, продление, иллюзия непрерывности возвращает к моменту, который с некоторых пор все чаще останавливает желание его минуть. Сколько всего сказано мной за прожитое время? Птица вращается в угольный пласт, пластаясь рядом с отрицательным слепком листа папоротника. Конечно, самое таинственное в пьесах Че-

хова происходит в промежутке между действиями. Мне всегда хотелось попасть в антракте на представление, где возможно было бы узнать обо всем том, что заслоняет прямое действие. Узкая дверь. В лицо летит сквозняк. Слезятся глаза, однако зрение вполне различает актеров. Нет никаких внешних обстоятельств, которые могли бы повлиять каким-либо образом на ход событий. Внутренние? Невозможно. Ты опускаешь ладонь в воду. Преломление речи. Какая трещина раскрывает это столь тщательно сокрываемое окружающими несовпадение? Материнский язык, в котором, казалось бы, мы могли обрести начало (иные говорят о свободе познания в именовании/постижении, чья тяга к мельчайшим частицам, уплотняющим окружающее и как бы увлекающим в свое пульсирующее движение, поразительна, — каждая с таким странным ответным согласием как бы готова стать единственным зеркалом), оказывается тем же хрупким, хотя, возможно, и первым покрывалом, сокрывающим все ту же бессловесность, беззвучие, нескончаемое разреженное пространство не переводимого ни на какой ни в будущем, ни в прошлом язык. Таково твоё настоящее, скорее всего, сводящее меня ни к моему бытию, ни к бытию другого. Пробел, место, где свет так же безразличен, как и тьма. Вы давно не писали. Приключилось что? Да-да. Замечательно. Как вы смогли узнать? Движение мусора в весеннем ручье, движение спички, подносимой к сигарете, движение души — что общего во всех движениях? То, что ничто не движется, ничто не перемещается, либо — колода фотографий в ловких пальцах престижиста скрыта, с треском проливаясь нескончаемым ливнем образов неподвижных, как лед, невзирая на смехотворные усилия найти хотя бы малейшие признаки значения. Не было никакой речи, не было никаких слов. И только вот это НЕ, у которого не артикулировано даже Т, арктическим зеркалом возвращает бесконечно усилия проникнуть за, выйти за порог его чудовищного постоянства, все более явственно вступая в свои права. Однако вот вино; надеюсь, оно вам придется — разумеется, не такое уж оно старое, простень-

кое, но попробуйте, глядите, оно в меру терпко, не слишком сладко, словом, вино для нас, живущих в области high тету, я бы сказал, в сфере разреженной памяти. Мгновенные переключения также образуют орнамент, воспитывающий зрение. Не слух. Воронка уха превращается из Мальстрема, монотонно носящего по отвесным стенам отражения надежд (реальный мир раскалывается на слышимое беззвучие и видимую безвидность — вероятно, мы изменились, мы видим то, что никто до нас не мог и помыслить увидеть в створах зрения), в нелепое изображение улитки, урагана, в центробежном движении пеленающего настоятельностью собственное бессилие. Движение денег неподвластно стихии слуха. Тайная мечта авторитарных систем: тотальное упразднение денег — беззвучность языка, этого шелкового пути, нити, спадающей с кокона неразличимости. Доверчивость их удивляет. Порча, которую они несут в себе от рождения, со временем превращает их в восковые персоны. Таким образом я дошел до предпоследней страницы, где прочел следующее: «О памяти он говорит на сто пятидесятой странице». Все изменилось, теперь о памяти я пишу исключительно на первой и опять на первой странице, как бы обеспечивая резидентным программам нужное пространство — ни дать ни взять своего рода магия. В дальнейшем, возможно, появятся описания восковых кукол. Может быть, существует две книги? Три (четыре, N-е число) женщины, одна книга и мелькнувшая в разряде прикосновения пальцев рукопись? Я не спрашиваю: «Что?» Теперь этого мне не нужно. Я совершенно спокойно переворачиваю неразрезанные листы книги, не испытывая нужды в ноже, не испытывая ни малейшего желания узнать то, что хранят в себе сложенные страницы. Возможно, в недалеком будущем я буду способен прочесть все на ощупь — то есть не прикасаясь к блеклой россыпи тиснения. Если, конечно, я вновь не вернусь к мысли об убийстве и избавлении, точнее, о редукции. Здесь остановка. Здесь выходить.

Описание английского платья с открытой спиной

Вечера, по обыкновению, казались ему бесконечными. Время уходило, хотя смысл этой фразы он всегда несколько недопонимал. Например, есть несколько вещей — находятся ли они во времени, или же каждая из них его излучает. В первом случае картина напоминает некий ручей (сцена ритуала: обсидиановые ножи, старый буфет, камень, летящий в паутину стекла, первый этаж и так далее), в котором несколько камней-вещей образуют завихрения, различные уплотнения, — сохранение. Во втором все гораздо сложнее. Я знаю, что будет завтра. Это история о человеке, который однажды испугался. Он шел по улице и внезапно ощутил, как страх вошел в него через диафрагму, напоминая то, как если бы он влюбился. Смысл фразы уходил, хотя само«исчезновение», «умаление», по обыкновению, не поддавалось пониманию. Прежде всего возникало сомнение в предпосылках, в раковинах, которых было очень много вокруг, а именно в «возникновении» или «прибавлении» холодно переливавшихся муаром перламутра. Черные сады Тракля. В свое время, произнося

какую-то фразу беспечно часто, он полагал, как теперь ему кажется, совершенно иное. Мы поворачиваемся по оси предположения. Жестикуляция. Бесконечное оказывалось вечерним обрывом световой нити, вившейся из угла глаза, или предложением, отказавшимся от подлежащего. Разрушение и восстановление равновесия — ничего более: не-письмо, которое происходит, не-речь, которая произойдет тогда, когда будет положен предел намерению создать. За этой чертой идет иной отсчет глубин реальности, невзирая на то, что подобное разграничение есть не что иное, как вспомогательная фигура риторики. Длительность измеряется скоростью прохождения тени. Красивы ли водоросли? Изменение временной модальности повествования избавляет от картезианской надменности — сейчас осень, а тогда весна. Можно ли сказать, что водоросли намного красивей сухости во рту? Она входит в тень, которую отбрасывает красная кирпичная стена. Из узора трещин сочится теплая пыль, сухие мелкие листья акации, за всем этим или же во всем этом лежит тень железнодорожного состава. Мама сказала: «Тебе письмо от господина Кирико. Какое птичье, клоунское имя!» Вот он произносит «мое детство» (вероятно, есть и другое, о чем ему хотелось бы сказать...) и слышит, как шуршит в стене свет. Истины равны между собой. Из чего состоит ценность написанного? Вращение подсолнуха. Тогда и сейчас сосуществуют во времени высказывания, производящего длительность. Легкость согласной «с» не искупает запутанности в отношениях акта речи и устанавливаемого им реального. Я не знаю, что будет завтра, но я знаю вполне, чего не случилось вчера. Волка звали Эдип. Она зябко, невзирая на зной, поводит плечами. Эта пора также способствует усилению легкомыслия. Раскрытые черные зонты — указатели еще одного знойного весеннего дня: ветер нес жаркую пыль, но на кладбище благоухала неокрепшая зелень распустившихся накануне кленов и яблонь. Тело — точка схода перспективы будущего и прошедшего, но яв-

ляется ли оно настоящим, благодаря которому возможны первое и второе? Я поворачиваю за угол и вижу раскаленную в полуденном мареве кирпичную стену. Вдали летают птицы, играя со своими текучими отражениями в воздухе. Слышишь голос? Закрой глаза, затаи дыхание и повтори фразу о птицах. Что, — отвечай скорее, — что возникает в твоём воображении? Ничего. Следовательно, если фразу исключить из обихода, ничего не изменится? Ничего. Мне думается, что — да. Ничего не изменится. Ничего. Но я не хочу, чтобы это предложение меня оставило, потому как в миг его произнесения я начинаю помнить себя самого, впервые (пусть будет так) произносящего эти слова в такой очередности. В окне мерцают их следы. На столе у монитора тает след горячей чашки, действительно, я только что поднес ко рту чашку кофе. Мои прогулки удлинились, намеревается написать он в письме знакомому, имя которого нам остается не известным. Введение одного персонажа, потом четверых, затем следует вычитание. Но мы выбираем бумагу, касаемся острием карандаша невозмутимого поля предвосхищения. Отныне день, пишет он, будет начинаться с Петроградской стороны. Обходя Петропавловскую крепость со стороны Артиллерийского музея, я оставляю позади — но этого еще не случилось, это покуда намерение, постепенно реализующее себя в движении мимо означенных вех и одновременного эфемерного писания «на память», — итак, позади остается мечеть, продолжал я продвижение, явственно ощущая затылком стяжение двух лазурей — купола и неба, выпуклых писем и редких высоких облаков. Она с удивлением видит, как незнакомый человек выходит из-за угла, сменяя растровое дрожание паруса на поверхности зрачка. Их взгляды на мгновение встречаются. Сизый смерч пыли всплывает к синеве. Далее Пушкинский дом, Биржа, North Beach, Embarcadero, Николаевский мост, Telegraph Avenue — собственно, все то, что тебе и так хорошо известно. Укрупнение птичьего тела — стрижи бли-

же, след чашки медленно растворяется в кругах утренней прохлады. Я приду к тебе утром, я, пройдя сквозь створы архитектурных миражей, войду к тебе в комнату, отведу рукой золотую ветвь пчел, отру пот с твоего лба, наклонюсь, и никому не удастся меня оторвать, Мина, никому! — а когда наступит закат, мы двумя пригоршнями золы просыплемся на пол и станем единой протяженностью мелкого мусора и лепестков синего мака в целлулоидных сферах часов. Мелкие клочки изорванной бумаги, косой ветер в лицо, пчелы, мерный шум в ушах. Когда станешь прозрачен для самого себя. Ни одного утверждения. Беспрепятственное шествие сквозь несуществующее. Еще несколько терпеливых наслоений, и возможно будет говорить о структуре и логике его внутренних взаимоотношений. Повествовать о моих маршрутах неинтересно — какой, к примеру, смысл в том, что утром я обнаружил себя стоящим у кирпичной стены. Позади располагался холм, песок отвечал песку, и падали бесконечно долго навзничь вырезанные из зноя фигурки. Солнце не жгло, однако у меня болели глаза, будто всю ночь они наблюдали, как сворачиваются дробь ангелов, наподобие крови, пролитой на стекло. Слева я различил неяркий силуэт. Машина воображения предполагает постоянное проецирование прошлого в будущее при одновременном изменении опыта, производимого «прошлым». Последнее изменение также условно. Она стояла, вглядываясь в зыбкое сияние, играющее над асфальтом, затем обернулась. Полы ее черного шелкового пиджака были отнесены воздухом. Лед и желтый свет, стоящий вокруг, как последние числа забытого доказательства, тлеющего лиловым в местах, где его касалось шелковое очертание. Во что она была одета, чем она была среди предметов и имен, навязывающих себя мне? Мешает свет. Диалоги. Инструкция: набрать в горсть земли, растереть ее с чемерицей, медленно высыпать под ноги — урок слуху, капля за каплей. Намного любопытней — происходящее в моей голове. Тихая полуденная

оторопь чердаков, сирень внизу, шмели, застывшие дрожью в пионах, шелест речи непризнанной, неузнанной, неуследимой, и лица против солнца: все те же, приближаются, и в последний миг ускользают вдоль шевеления пальцев в старании объяснения, к старению вспять уходящей вести в серебряные короны листвы, и лишь быстрый нож, отраженный воспоминанием о весенней воде, бескровно разделяет потаенную тьму лета на бескорыстное прикосновение и тетиву молнии. Опрокинутый стакан, головокружение. Попробуй по-другому, найди иной подход, начни со степи. Помнится, мы закончили свой последний разговор на том, что в определенный момент человек перестает зависеть от чего бы то ни было. Что мы собой представляем, когда находимся в объятиях друг друга? Что кому принадлежит? Мы превращаемся в совладельцев одного и того же — одной кожи, одного дыхания, одних и тех же кровавых телец, лишённые воспоминаний на неизреченно краткий миг, опоясанные незримыми ураганами и песчаными смерчами. Ледяные ступени семейных альбомов. Возможно, это ожидаемо, также вероятно, что к этому мы стремимся, и не исключено даже то, что такое ожидание составляет часть суммы значений, образующих (для кого-то извне, создающих самое «вне») нашу жизнь. Во что трудно поверить. Я и не намерен верить. С какой стати? Однако я честен, когда пишу тебе это, поскольку ныне неукоснительно уверен в том, что любое мое слово безмысленно и существует всего-навсего как призрак, являющийся в особые мгновения сладостной слабости и определенных совпадений фаз луны, когда испарения нежно изменяют оптику круглых зеркал влажного шелеста. Я попросту жду, когда — и это будет озарением, наградой, это будет тем неизъяснимым разрывом любви — мое бессловесное тело разорвет лед, и дальше ничего не будет из того, чего бы следовало ожидать. Ранее в этом месте я часто принимался рассуждать о падении как о резком изменении пропорций и масштабов. Но опять и опять

сначала. Важны мотивы мутации. Мои ногти блестят, и каждый отражает по облаку, в каждом скрыта птица, в клюве каждой — агатовая вишня. Веера сложены, но киноварь по-прежнему ищет свои сновидения на стекле. Скрип. Каждая умирающая клетка — колодец, в котором высказывание черпает целостность.

От своих желаний также. В этом случае было бы разумней говорить не об определенном толка зависимости, но об обретении довольно-таки легкого чувства внезапной непричастности. Время изменяет не только кожу на лице и на руках, но, осмелюсь сказать, и оболочку любого, облеченного порой даже в бормотание намерения. Под чем я подразумеваю смутное тяготение к любому проявлению мира вне «меня». В моем распоряжении осталось всего несколько десятков слов. Каково будет мое повествование, когда исчезнут и эти? К тому же то, что представлялось до некоторых пор неисчерпаемым источником обнаружения реального, идущего (хотелось думать) к тебе с разных сторон, и ожидающего со-ответствия твоего тела, подобно вогнутому зеркалу, изменяет собственную конфигурацию — можно сказать, превращаясь в выпуклое, рассеивающее, растрчивающее. В сквере на Стремянной он присел на скамью и зажег сигарету. Зовите меня просто Александр. Солнце несколько раз тяжело сверкнуло наверху в ветвях, упало вниз, но не достигло отсыревшей после дождей земли, а рассыпалось мокрым блеском в воздухе. «Что вам снилось, Александр?» — «Мне снилось вторжение гласных в мое имя и то, как они изменяли существо согласных». Тихие гравюры, оптика монет, сочленения легких сухих крыл. Откуда-то тянуло запахом горящей резины. В это лето дети с маниакальным постоянством жгли мусорные баки. Молодая женщина, сидевшая на другом конце скамьи, не обращая к нему, произнесла: «Александр, попытайтесь представить, какие ощущения возникают у женщины, когда она с вами в постели, а из окна несет вот этой вонью...» Свет переломился по сгибу, и колесницы перемещались по небу со скоростью,

отзывавшейся под кожей тягучим мятным онемением. Женщина у стены сделала шаг и приостановилась. Полдень свел лучи к переносице, словно залив крики чаек. Я вспомнил один свой сон. Сны странствовали по телу, подобно караванам, следующим в только им одним ведомые пункты назначения. Звезда пустыни и ложного удвоения переливалась на игле надира. До тех пор, пока ты не скажешь мне, почему ты вздумала у меня остаться. Убирайся. Мне кажется, что этот сон когда-то значил для меня очень многое. Однако из всех оставшихся слов ни одно не в состоянии принять облик пусть совершенно незначительных, но для меня лично важных деталей, из которых состоит материя любого сна, и удержать их в сознании до той поры, пока не придут иные сны и благодаря которым мне будет легче их распознать — мои они либо принадлежат другим. Они отбрасывают тени, точно так же как и слова, которые создаются себе подобными, с тем чтобы порождать иные, как собаки, бегущие вдоль кирпичной стены, вывалив бархатные в стекле языки. Не забывай, что ты должен мне тридцать тысяч рублей — к моменту появления этой истории в свет «тридцать тысяч» будет означать совершенно иное «число» (меру?), нежели в момент написания этого выражения. Относится ли это к другим составляющим моего высказывания (глагола)? Книга горела невыносимо долго. Огонь укрывал своим напряженным светом — свет. Я переступлю порог твоего дома, я скажу, что мы открыли секрет исчезновения. Судороги страниц становились прозрачными западнями для мошкар. Влага сочилась из ствола вишни. Из угла рта пролился ручеек легкой крови, что на миг принесло облегчение и воспоминание о зиме. Но убирайся, ни слова, я ничего не понимаю. Ты разговариваешь с совершенно другим человеком. Вы переменились, Александр. Да. Зовите меня просто Скарданелли. Несколько мгновений тому наши тела изменились — прибавление и умаление, лишение: отказ. Судороги страниц, производящих пламя, становятся вратами запада для мотыльков. И да запишем мы это иглами нашего желания в

уголках ваших глаз. У Гераклита Нарцисс изначально не может начать свое любовное расследование: кто ты, почему я тебя люблю, или же кого я так непосильно помню. Скорость вторгается очевидным искажением — отражение прекращает следовать предмету. Элементы отражения прекращают связываться между собой — элеаты входят в город.

Мне не понять почему. Иногда дожди шли очень долго, изматываяще долго. Одновременно водяная пыль, солнце, снег и туман. Заснеженные деревья горели потусторонней белизной на фоне грозового черно-фиолетового неба. Очки тотчас покрылись ледяной корой, в которой ярко-зелеными и оранжевыми искрами дробился свет. Утром он поднес руку к глазам и внезапно понял всем своим рассудком, что это совершенно не та рука, которая когда-то, за порогом совершенно иного времени, сжимала тонкий прут орехового удилища (чтобы продолжить зигзагообразную мысль, пранувшую вертикально сверху в утреннюю тошноту, ничего не нашлось, кроме «удилища», и даже не продолжить, не закрепить ее ощущение, ее вкус, тогда как, по сути, совершенно неважно, что именно сжимала рука «тогда»), то есть ему, например, известно происхождение шрама на среднем пальце. Если прикрыть глаза, если распустить по паутинным нитям сегодняшний день, вот можно, кажется, коснуться (чем? как?), повторить ту самую боль, когда рука соскользнула с колодезного ворота, тормозя его обжигающую кожу скорость, разворачивающую отполированное дерево в мягкий пасмурный блеск. Позволительно также коснуться губами запаха пыли, восстановить на миг темные вечерние очертания вещей в отдалении; но что останется спустя мгновение? То, что это стало ему известно, — остается недосказанным, впрочем, толкования случившегося отличаются друг от друга. Повелительное наклонение. К концу письма он упомянул о женщине и горящих колесах, отложил перо, откинулся на спинку стула и усмехнулся (снял с клавиатуры руки, вышел из программы, забрал почту, пробежал глазами несколько статей, напоминание приятеля из Австралии

о сроках подачи материала на телеконференцию, а на обратном пути «заехал» в забаву, изменил стратегию развития инфраструктуры провинции, сплел достаточно продуманную интригу с продажей сырья, вмешался во вторичный рынок, а затем навестил Мину). Потом вспомнил, как несколько месяцев назад на занятиях незнакомый студент спросил его о том, что он думает об истине. Вопрос не застал его врасплох, он действительно стал задумываться над тем, что это такое и каким образом такое слово возникает среди других, требуя некоего пространства среди понятий и значений, прочно освоивших механику собственных чередований. Кончился июль. Разберем, к примеру, обстоятельства нескольких смертей.

Я попытаюсь изложить материал как можно проще и доступней. Ниже станет понятней, почему я обращаюсь к этой теме, которая мне самому кажется случайной, ни к чему не обязывающей. Случаев смерти — четыре. Три полных смерти и одна до сих пор пока не исполненная. Настоящее время предложения останется настоящим, навсегда вписывающим себя в чье-то небытие. В стечении обстоятельств, случившихся в один день, — в итоге мы правомочны говорить о времени решения, и только, — залегает тревожащая загадка, в которой недостает слишком многого, чтобы из фрагментов очевидного возможно было сложить нечто успокоительно-вразумительное, и которая к тому же исчезает — стоит лишь сфокусировать на ней внимание. Сейчас об этом пишется сценарий и вскоре, возможно будет поставлен фильм. В качестве предпосылок имеется пустыня Анзоборрега (северная оконечность Соноры), небольшой город Беркли, Калледж-Авеню, далее — угол, на котором находится дом Боба Бьюклера, частного детектива, осененный тюльпанной магнолией. В часе езды на Сан-Рафаэль имеется также тюрьма штата Санта-Квентин. В наличии действующие лица, список которых впоследствии претерпел некоторые изменения: четверо молодых людей, решившие в один прекрасный день снять фильм о том, как однажды в

пустыне (Анзо-Боррега) терпит аварию автомобиль, и группа молодых людей (четыре человека), отправившихся снимать фильм (о чем? — за исключением одного эпизода это остается невыясненным), оказываются в совершенном одиночестве вдали от шоссе. Погрузив на себя оборудование, они пешком отправляются к ближайшему пункту рейнджеров. Таков сюжет небольшого фильма, который задумали снять четверо. Я бы сказал — начало сценария. В полдень, когда между ними вспыхивает ссора, кто-то, отвлекшись на мгновение, видит фигуру в черном на вершине пологого холма, который им нужно пересечь. В руках у фигуры в черном — ружье. Кто-то из группы, прикрывая глаза рукой от слепящего света, произносит: «Я знаю, кто это... Это смерть». Какой пол у смерти? Одушевленное ли это существо? Существо ли это или же глагол? Возможно, смерть — это теорема, которая рано или поздно доказывает самое себя перед черной доской с мелом в руках. Каждый волен дописать свои диалоги.

Мне не известно ни продолжение задуманной ими истории, ни ее окончание. Однако, насколько я понимаю, молодым людям идея такого фильма кажется будоражащей, и они назначают день и время экспедиции. Между тем им не известно (как, впрочем, и мне), что в этом же городе живет еще один молодой человек «Х». Репутация его сомнительна. Родом он из Южной Калифорнии. Он любит свою «хонду» и марихуану. Два отчетливо тяготеющих к овулярности согласных обретают образ туго заплетенной индейской косы. Однажды ему приходит в голову мысль посетить Сан-Диего и заодно пустыню, где во время учебы в Ла-Хойе они с друзьями проводили замечательные дни. «Х» предлагает приятелю присоединиться. Приятель не исполняет никакой функции в повествовании — жизнь есть жизнь.

В это же время у Боба Бьюклера висят на шее два дела — одно достаточно простое, однако благодаря которому у него не прибавляется друзей среди полицейских штата (превышение полномочий при преследовании — два расстрелян-

ных мексиканских подростка, уличенных в краже радиоприемника), а второе... как бы на самом деле действительно странное: м-р «Y» приглашает к себе на ужин двух друзей, любовником одной из которых является уже несколько лет. После ужина, шампанского и десерта он их убивает из барретты. М-р «Y» приговаривается к смертной казни и ожидает ее в тюрьме Санта-Квентин. Боб Бьюклер физически не справляется с делами. Он звонит Лин Хеджинян и просит ее на какое-то время стать его помощницей по второму делу. Ей предстоит опросить широкий круг знакомых убитых женщин. После ее первой встречи вечером того же дня я получаю письмо по e-mail, в котором она делится со мной своими мрачными ощущениями. Все молчат. М-р «Y» также хранит безразличное молчание. Постепенно этот случай рассеивается, уходит на задний план, а я становлюсь свидетелем того, как разворачивается, назовем ее так для удобства, наша киноистория.

Любитель марихуаны с приятелем добираются до Сан-Диего, а затем не спеша едут по направлению к Тихуане. По пути они все же решают навестить места воспоминаний. В пустыне ломается «хонда». Они оставляют мотоцикл, спальные мешки, палатку, воду. Берут только бутылку с текилой, остатки травы, карабин и бредут к ближайшему кемпингу. Через некоторое время, когда они поворачивают за холм, их глазам открывается фигура в черном, неподвижно стоящая на склоне с ружьем, перекинутым через руку. Ветер развеивает складки не то пончо, не то плаща. Поля шляпы закрывают лицо. Солнце падает вертикально.

В купоросном небе над Bad Land видны медленные точки орлов. Завидя фигуру на холме, «X» от неожиданности спотыкается и, закашлявшись от пыли, кричит, показывая рукой на фигуру: «Motherfucker! Oh, shit, I know what a hell it is! This is Death!» С этими словами он тащит из-за спины свой карабин и стреляет по фигуре. На выстрелы и на дикий крик своего приятеля из-за холма выбегают остальные члены съемочной группы. «X» продолжает стрелять. Спуска

полчаса в кемпинге он пытается рассказать что-то рейнджерам. Он просит пить. Ему дают воды. Он просит еще. Из слов почти невменяемого от текилы и марихуаны человека (куда делся приятель — неведомо, канва сюжета начинает расплываться) окружающие узнают, что буквально в двух шагах этот измученный пылью и жаждой человек почти в упор расстрелял смерть. Однако теологический оттенок случившегося оказывается очень нестойким и вопреки ожиданию не перерастает в отдельную тему, чему отчасти виной изнуряющая жара и неподготовленность окружающих. И так далее. Милая Елена, я подхожу к окончанию описания твоего изумительного английского платья, но прежде чем завершить его, я хочу спросить — не столько, быть может, тебя... — неужто изумление единым, восхищение целокупностью, которые пророчит нам в молодости мир, оказывается гримасой в захватанном зеркале бритвы, в жале своем хранящей мед разделенности, блаженного бреда, в тигле которого так и не обретают окончательных очертаний ни воспоминания, ни упования? Но я спрашиваю об этом лишь для того, чтобы еще раз услышать, как быстро тает в моих ушах эхо этой фразы, чей смысл мне уже не вполне понятен.

Φοσφορ

Иногда я воображаю ветер. Воображение — сквозить — скважина. Его силу, слоющуюся за стенами скорлупы, в которой мне порой доводилось находиться. 9000 метров скрупулезно превращают воздух в обоюдовыпуклую линзу, в которой ты — падающим нескончаемо снегом из детского хрустального шара. Хруст замерзших комьев земли. Под окнами, чья лиловая мгла редет и, переходя через белесую невзрачность невразумительных описаний, накануне пробуждения наливается сквозной синевой, дарующей листьям безучастную прозрачность, редкие шаги слышны, что слышно как превращение воздуха, исключаящего из себя по зерну пространство, в котором умещается разум. Кумулятивный эффект воображения, сквозящего в дырах иллюзий. Два шага по обочине, пыльный осот. Падающий набок велосипедист. Телеэкран затягивается хрупким красноватым льдом. Лоб прохладен. Пройден, как скорлупа, из которой довелось выпасть в сожженные фокусом лучи. Перебирая клавиши, камыши взглядом. Познание в опознании. Точечное строительство буквы. Литера возводится из заполнения пустот и огибания в углах иных пустот. Строительство точки. Слабость зрения: аналог обобщения в логической операции. Слабость — процесс, позволяющий переход к отвлеченному

мышлению. Воображение — способность сознания само-отстраниться, и поэтому «образ» — только динамическая переменная. Можешь назвать это камнем, яблоком, прошлым, сном. Невидимые числа, не закрепленные ни за чем. Горящие библиотеки Майкла Палмера. Слова выстраиваются из нейтральных точек в заполнении или упущении пустот. Структуры хаоса. Нужно ли мне думать о тебе, чтобы думать об эротизме? Известь стен. Воспоминание как восхищение из прошлого. Гёльдерлин или Мерлин. Гёльдермерлин. Она дала нам стиль. Она жила у меня все то время, пока разворачивался ее роман с Артуром. Нет, я, пожалуй, выпью стакан этого дрянного вина. Эквивалент Тынянова. Только возможность. Но лишь в невозможности. Мы возможны здесь как люди, поскольку это невозможно. Можно еще один стакан этого же дрянного вина? Известь стен. И по мере того, как валится набок от смеха велосипедист и падает за его спиной голубая, обжигающая небо (не небо) холодным уколом звезда, или оттаивают горбы убитой стопами пешеходов земли, искристая соль оседает мутной, слепой росой, звучание шагов меркнет, вступая во власть абстрактных геометрических отношений в огромном обрамлении встающего дневного дыхания. Лиризм утрачивает свои права, как сангвиническая экономика, *patria potestas*. Вторая версия начинает себя с иного, с тонкой бирюзы стены и черной вертикали угла, из которого время зрения начинает сочиться. Что ты помнишь об окнах? Пространство спрессовано в чистейший магический кристалл, в нем различаешь с явственностью сновидения то, что рассудок отказывается себе представлять. Имена излучают вещи, неся их от очертания к очертанию. Вещи суть весть, излучают свои времена. Непрерывность состоит из мечты, тающей у черты горизонта, подобно словам. Потому фосфор. Застывший ветер. Кора предмета. Краткость и кратность длительности. Определение — не «приближение» к сердцевине. Фьорды Гренландии дымятся на дне зрачка. У Караганды сияние

черного, опускаясь к самой земле, едва не опрокидывает самолет, чтобы вновь и вновь открываться воображению безмолвием силы, слоющейся за стенами скорлупы, в которой — самолет ли, тело ли, дом, мысль — опять и опять находишь себя неподвижным. Под стать воде, спеленутой движением у порога скорости. Воображая ветер. Прислушиваться одновременно с тем и тщательно к смутному гулу, поскрипываниям, тончайшим шорохам материи, утекающей из самой себя, все так же затягивающей в свою искрящуюся, манящую пыль, мерцающую бесконечно сменяющимися друг друга формами, — слух крадется вслед зрению: переборки, кресла, шевеленье вещей в багажных клетках над головами, шевеленье крови, людей, исполненных шелеста клеток, под стать насекомым, обугленным на иглах бессонных. Люпин, флоксы... По улице, вперив взгляды в превосходящее способность видеть или описывать, движутся женщины с окровавленными кусками мяса в руках. Пир или тризна. Обыкновенный обед, когда жеванье и молчанье становятся космосом. Праздный наблюдатель мог бы позволить себе вывод, что он-де присутствует при возвращении с берегов Гебра процессии тех, кто час до этого разорвал Орфея, оставив лишь его голову качаться в акварельных волнах на плакате, запрещающем купание в незнакомых местах. Разве осознаю я их меру? Остролиста трепет. В чем их или мое достоинство? Где находится то, что отделяет их дерево от моего? Вещь буквальна. Стоит из сот букв, количество которых в комбинациях воплощения беспредельно. Но — договор, в результате которого нечто принимается за общее без исключений. С чего начинается спасительное сращение вещи и слова? — вспять от грехопадения. Однако нет, женщины, целеустремленно идущие по улице с кусками кровавого мяса, прижатого так странно к груди, не имеют ничего общего с музыкой. Их мясо — говядина, разрубленная умело топором на куски. Их цель — дом. Возвращение. Питание. Я устал от произнесения слов, только их написание еще

возможно руке, как тончайшее, колеблющееся равновесие скорости. Кувшин нем. Лилии уничтожают белое в своих пределах. Наблюдатель вправе запрокинуть голову и увидеть голубое небо и, если он не страшится, может произвести: «облака». Он также может что-то узнать, вынести для себя из падения навзничь. Раковина надломом у горла, горло раковины у излома стены. Клубящаяся монотонностью излучина. Черная синева под глазами. Ветер несет нас у губ. Порою, точно глубокомысленно раздутые куклы утопленников, переворачивая на спину. Ни единого своего воспоминания не выловить из звезд, застилающих кривую воду земных глаз. Но шагни за угол. В тень глаз, притаившуюся, как ночной нищий, скинувший личину смирения и покорности, — личинка бессилия проточила его мозг, где теперь шевелится белоснежный червь насилия, обладающий даром шепота и тишины, подобной тишине рощ и раздумий, воспетой лезвием выстрела. Раскачиваясь на подкидной доске ее бассейна, я, сытно раздумывая после обеда, швырнул окурок в сад Спилберга. В проеме между словами великая слабость утопии. Я описываю. Ты описываешь. Мы описуемы описанием, сотканы из не-я, претворенных в звучание ветра, проторенных лучами, не стена и не тень от стены. Плывущие в акватории мысли холодным огнем, их омывающим, меру, едва ли осознанную мной, однако в чем их достоинство, тех, кто не явлен намереньем здесь на странице стать тем, что отделило бы их от других, как, к примеру, их дерево от моего отделяется временем, образуемым церемонией появления одного, другого и третьего в сращении со словом, растущим за чертой тела, за ускользящим горизонтом — такова социальная топология. Тополь серебрист и шершав — сонный, как полдень, как сонмы синих мух или журчание вены.

Объем неба раскрывает свои отношения с материей. И погода. Сегодня солнце взошло на несколько минут раньше вчерашнего. Что случается, когда открываешь глаза? По-

пытки единичного. Смерть, «она вся расположена на границах», сокрывшая в себе свою смерть. Обои розовы на закате, невзирая на то, что их колер скорее исчерпывается словами «охра» и «сепия». *Portavit illud ventus in ventro suo*. Флоксы. В одной руке букет еще не увядших нарциссов, в другой — кусок мяса, мыла. Вой, плавающий снег. На щеке осколки раздробленной кости. Фокус истории, если природа ее предполагает строенье луча. Откуда. Куда. Утверждение. Повтори, мы рождены с тем, чтобы насладиться вполне метафорой Бога. Две буквы «ы-ы» не равны звуку «ы», растянутому в произношении. Где располагается то, что позволяет мне утверждать, будто есть нечто, предполагающее различие между его и моим деревом? Между буквой и звуком.

Но в нескольких словах набросаем сценарий не этого, другого чтения. Разумеется, так же как и всех остальных, в первую очередь меня интересует архитектура, вернее, топология повествования. С другой стороны: соотношения пишущего и описываемого; или «автора» и его «работы», а в дальнейшем — ее как условия порождения иного.

С ветром у него были особые отношения. Когда поднимался ветер, он начинал беспричинно плакать, вызывая нарекания в попустительстве своим слабостям.

Которые разворачиваются следующим образом, следуя по лабиринту телескопических сочленений — одно входит в другое: 1) «То, что видишь, напиши в книгу...» 2) «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего» 3) «И я видел в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями» 4) «В руке у него была книжка раскрытая». Таков маршрут смыкания в единую точку.

Однако так происходило всегда, когда он начинал думать, что означало для него неизъяснимое обретение невесомости, тяжесть которой он тем не менее хорошо ощущал в ходе некоего довольно короткого измерения, едва ли не на молекулярном уровне, уже неподвластном никаким сравнениям. Схлопывающееся время, в препарированном мгновении которого с начала повествования мы становимся свидетелями того, как пишется книга, в которой описывается то, что открывается в книге, написанной «внутри и отвне».

Но в этой (второй) запечатленной книге происходит явление еще одной (третьей) книги, в которой, судя по всему, скрыты последующие события, завершающие возможность какого бы то ни было бытия книги вообще, ибо полнота Царства Божьего, Плерома, Свершенность не могут полагать собственной недостаточности во времени либо пророчества о себе, как предвосхищения, потому что оно есть в исполненном смысле этого слова, в смысле настоящего настоящего (есть), но не будущего. Какие события скрыты в том, что пишется неустанно каждым? Третья неделя первой войны Постмодернизма. Следовательно, книга в этой точке кризиса или пресуществования времени (отпадает также нужда в его мере: в солнце и луне — и что косвенно свидетельствует об отпадении дихотомии сокрытого/явного; вместе с тем становится несущественной и испытанная оппозиция внутреннего/внешнего: вот тут-то мы вспоминаем еще раз о Книге, написанной изнутри и отвне начала/конца) оказывается устремленной вспять, что невозможно как *contradictio in adjectio*... Можно было бы упомянуть о нескольких занимавших его сюжетах, один из которых однажды потребовал более пристального осмысления. Будучи совершенно бесплотным, бесполом, но не исключено, что полым намерением, существовавшим в виде чрезмерно отвлеченной композиции, которую, спроси его об этом, он описал

бы, прибегая к шевелению пальцев и мычанию, отмечая вместе с тем про себя то, как гласный звук Ы, очевидно неблагозвучный во множестве ведомых сочетаний, молочной пеленой безумия затягивает срезы столь понятного ему рельефа. Выпуклость. Мятые склоны подушки. Изжога. Летящий в искристом ослеплении, опрокидывающий самое себя стакан. Прозрачность, спрессованная в обоюдо-выпуклую линзу пространства и любви. Не оставляй меня. Поклянись, что ты никогда не оставишь меня. С чего ты взял, что кто-то намерен тебя оставлять? Я говорю об этом, потому как рано или поздно говорить о чем-то наступит пора. И ты готов произнести: «не все ли равно?» Ты права. Да, я прав. Но не будущего.

И здесь при всей зрительной пластичности повествования возникает то, что не поддается никакой визуализации, никакому пластическому воплощению, — а именно откровение присутствия в отсутствии: Совершенное Будущее, Пакирождение (как пророчество) возможно в книге, «срывающей покровы», но сама книга невозможна в будущем, то есть в самой себе, поскольку она есть Его-Будущего Настоящее. Или же — ее присутствие в чтении, ее наличие (конечность, постигаемость) определена предсказываемым ею, i. e. обретающим в ней (несовершенная форма настоящего времени) свое Бытие (в становлении), в котором она уже всегда отсутствует, являясь, возможно, лишь элементом, частью провидимой ею первой/последней книги, ее сокрывающей, — Закона. Конечность которой опять-таки определена Инобытием, существующим лишь в этой конечности: внутри и отвне. Чтение в ветреную погоду. У окна. Ветер, окно, скорость, неподвижность. Родовые окончания, вплетаемые в игру. Автономности не существует, изрекает птица. И продолжает: «господин Эркхарт болен, его лихорадит». На закате какой-то человек подошел к двери. Не говоря ни слова, он опустил на порог. Появление его могло означать некую необходи-

мость, известие, ошибку или совпадение. До сих пор нас не покидает сомнение — говорила ли путнику мать о том, что надо чтить родину и не мастурбировать в юные годы, когда организм неустойчив и только формируется, набирает силу, и что это угрожает равно как родине, так и будущей его семье, поскольку он непременно станет кретином, если не будет чтить родину, занимаясь убийственной мастурбацией. Вел ли путник дневник в юные годы? Выращивал ли, пестуя терпением, огурец в бутылке? Посещал ли литературный кружок в районном доме пионеров, писал ли стихи, пронизанные тонкими аллюзиями? Представлял ли себе структуру космоса наподобие структуры алмаза? Переживал ли свою прыщавость? Готов ли был отдать жизнь за: а) вечную любовь к женщине из киоска Союзпечати? б) счастье народа? Напуган ли был снами, в которых отчетливо просматривались: а) элементы гомосексуальности? б) чего-то еще? Осталась ли от отца португеза? Ведомо ли было ему что-нибудь о детской сексуальности? Заставал ли свою мать на ложе прелюбодеяния? Имело ли это отношение к онемению, вызванному знакомством с принципами сосуществующих состояний Вайцзеккера? Верил ли в то, что собаки обладают душой? Любил ли разглядывать собственные испражнения? Воображал ли свои похороны, а если да, то плакал ли, представляя скорбь близких, оплакивающих его смерть? Ощущал ли, что нация существует с тем, чтобы преподать миру урок? Участвовал ли в церемониях сожжения колдунов? Чему отдавал предпочтение — толкованию ли полночи как обоюдостороннего зеркала милосердия и приговора или строкам о крике павлина и о гирляндах цветов водяной лилии на щиколотках и запястьях? Или же полностью разделял точку зрения Т. Адорно, восклицая порой: «как он прав!»? Оппоненты, хранители прежних устоев, еще очень сильны — столь хитры, сколь и коварны. Научимся себя защищать. На минувшей неделе. Подозревал ли о количестве дендритов, нейронов, аксонов и синапсов, заключен-

ных в черепе его вселенной, где река жизни и смерти омывают пределы? Кого доводилось встречать на тропах? Отмечен ли был какой-либо премией? Встречался ли с господином Экхартом? И вел ли дневник? Да, вел ли дневник, из которого грядущее поколение смогло бы извлечь существенный урок? У окна. Закат. Неподвижность и скорость. Необходимость в совпадении ошибок. Счастлив ли был, наконец узнав у своей первой возлюбленной, что она мастурбирует иным образом, включив ласковое радио, предаваясь иным совсем грезам, направляя при этом на гениталии легкие струи из душевого устройства? Играла ли температура — когда лихорадило — определенную роль в появлении сотрясающих его до мозга костей видений? Путник не отвечает. Мозг его занят природой оружия, баллистикой, углом девиации, силой излета. Они стреляли в мертвое тело. В стекле появляется слюдяная паутина дыры. Это чернила, это чернила! Нет.

Мне нравится вызывать ощущение тонкой, неверной, какой-то фальшивой, точно фольга, почвы пола, несущей в себе сонную иллюзию законов притяжения, будто бы управляющих моим передвижением в необязательных пределах гравитации и диверсий пространства. И когда в сияющем затмении неизбежного воссоединения с землей, возрастания масс и сладчайшего, как клубничный крем, детского страха сознание обретает прозрачность спрессованного времени — теория свободного падения свежими окислами цветет на губах, мимо которых проносит нас ветер, и во рту, образуемом церемонией появления одного, второго и третьего в сращении со словом, тогда как воображение прикасается к беззвучно стоящему ветру, втягивающему в свою воронку металлическое веретено с еще большей нежностью, нежели отсутствие мира, льнущее к щеке в солнечном инее. Изменения человеческой истории, ее провалы, пролеты, замещения не что иное, как зыбь образов, пробегающая по вибрирующей паутине язы-

ка, — струна разрушения поет под пляшущими стопами, — на которой, под стать росе, переливаются капли бытия, ткущего себя в этой паутине (порой под тяжестью ночной сырости паутина провисает, путается, рвется; порой роса испаряется бесследно) и чей узор, простирающийся за горизонты умозрения, есть мое восприятие, приятие и предприятие в неустанном предвосхищении меня самого как прекрасного поражения, растянутого между лабиринтом зеркал — телом — обращенных к опыту тела, сумме чувствований и страницей, буквенными рядами на ней, — поистине наименее утешительный вид порядка. Когда луна достигает безвоздушного края в просеке своей полноты, размыкающей окружность, дребезжание оконных рам прекращает беспокоить слух, ночь невразумительна, как ночь, переставшая тревожить дребезжанием слух; перекисью на разодранной артерии вскипает сирень. Это был Каспар Хаузер, бедный, бездомный, убитый, с головой как гроздь кислорода. Он был найден однажды в книге на украинском языке, на обложке которой изображен был аквалангист в изумрудной пучине. Серебряные пузыри, Гаспар из тьмы смарагдовой детства. Обучение краткости нескончаемого предложения. Скарабей, раскаленный до купоросного сухого гниения. Пески. Сколько впечатлений! Деньги умножают себя, под стать бесцельным насекомым (или эндокринным железам, умножающим эмоции, — гримаса тени), волна за волной идущим сквозь воздух. В соседнем доме, судя по всему, открывают призракам двери. В руках ложки. Шелковый кокон окна, обнаженное тело, ручей, иней, женщина, не обращающая внимания ни на сумерки, ни на себя, меркнет в желтом свечении нищеты и причинности.

Привычки ума заключаются в перераспределении мест тому, что попадает на глаза. Да, скорее всего, я прав. То, о чем я в настоящий момент думаю, позволяет мне так думать. Переход ржавой крысы через улицу. Мягкие, не-

скончаемые сумерки, а поверх горящий ночной свет. Комната, в которой мы жили, длиной достигала восемнадцати метров. 18 короче восемнадцати, но выше, ненамного. Утром, когда улицы дымились, политые, в сандалиях на босу ногу идти за угол и выпивать чашку горячего молока с ватрушкой. Глаза слепил Литейный проспект. Шаркая не застегнутыми сандалиями. Подражая чайкам и крикам любви. Через проходной двор на Фонтанку, минуя библиотеку, к цирку, мост. Это о многом. Это об эмиграции. Это о Т.С. Элиоте и о Тургеневе. Но о чем ты думаешь? Из чего состояла/состоит твоя жизнь? Мне нравится твой вопрос. В стеклянной банке на кухне у нее жили демоны (сражавшиеся с тараканами), которых она кормила маковым зерном. Твой вопрос своевременен вполне, хотя вызывает легкую тошноту, как розы или гнилые куклы — головокружение. К вечеру кожу саднило от солнца. В первый раз это случилось на муравейнике. Голые, они мчались сломя голову к реке. Слово сквозь увеличительное стекло. В дальнейшем, чтобы перерассказать пару сюжетов, которые ему мнятся (допустим, что так) занимательными, ему придется от нее избавиться. От кого, хотелось бы знать! От истории? Геометрии? От привычки ума? Один из сюжетов начинается с убийства.

Желтая по краям фотография. Капли смеха на очках, на ветровом стекле. Система, понуждающая систематическое устранение — мысль. Попутно возникает дискуссия — правомочно ли, оставляя записанным свой голос на телефонном автоответчике, предлагать корреспонденту сообщение от одушевленного лица. Например: «меня нет дома», «я не могу подойти в данный момент» или «вы знаете с кем говорите» etc. Вопрос этот, однако же, невзирая на кажущуюся вздорность, изначально теологичен, ибо неминуемо затрагивает проблему одушевленности, души, ее перемещений и места обитания, касаясь также и «голоса бытия», не говоря уже о рутинных конъектурах относи-

тельно присутствия/отсутствия. И впрямь, ежели мой голос достигает твоего слуха через определенный промежуток (или пережиток — переживание в остатке) времени, предполагаемый «дистанцией» ибо ты никогда не я; даже будучи во мне, едином, — достигает ли тебя мой голос, то есть, изначальное мое «я» (во вдохе-выдохе из-речения, в котором между «из» и «речением» пролегал безумное мгновение), и что есть а не было для тебя, в твоём настоящем приятия мерцающей, искрящейся материи, спеленутой тончайшими шорохами пробуждения, утекающего из тебя вслед зрению, в котором настоящее уже было? Где происходит отождествление нас? Колебание воздушной среды — микроветер, мистическая тетрадь. Но «кто» или «что»? Причем люди, вовлеченные в повествование, иными словами — персонажи, ничего особенного из себя не представляют, за исключением того, что у женщины, которой отведена значительная роль в действии (существует также портрет: известной формы рот, крупные губы, привычка поправлять плечи платья и т.д.; интимный портрет более прозрачен: коротко стриженные темно-русые волосы лобка, на пояснице невесомый шрам, широкий, бледный ореол сосков, между ними след татуировки), несколько лет назад погиб сын. Есть мнение, что не «просто погиб», но был убит под Кандагаром, недалеко от Фив, хотя многие этой романтической выдумке предпочитают правду, а именно то, что 14 мая он был повешен в актовом зале школы своими одноклассниками, использовавшими для этой цели шелковый шнур от белых гардин; и, возможно, вследствие выпускаемых из виду обстоятельств у одного из них возникает предложение о шелковом коконе окна и утомительное, избыточное сравнениями описание перелета через Атлантику, необходимое для развития дальнейших событий.

Нужно быть идиотом, чтобы говорить о «продолжении» нового. Что невозможно объяснить художникам. Это со-

вершенно невозможно объяснить даже тем, кто протирает китайской фланелью хрустальные глаза раздавленных рыб в лотерейных барабанах музеев. Шаровая молния застыла, покачиваясь, над дедушкиной рюмкой водки и через несколько минут выползла через окно, где бабушка из-за своей близорукости было приняла ее за одного из демонов, живших у нее в стеклянной банке на кухне и каким-то образом ускользнувшего из-под стражи тараканов. Терракотовый сафьян переплетов, померкшее тиснение кож, медная прохлада секстанта и перламутр черненого серебра, оправляющего разрезные ножи из желтой кости, — день ничем не отличается от вчерашнего. Два вида самоубийства (возможно, существует больше). Первый — когда твоя воля и желание мира встречаются и разбивают тебя, пытающегося охватить их своим существованием, — стало быть, ты слишком плотен, крепок, грузен, тяжек и мне не жаль тебя — подобно рождественской фарфоровой птице. Второй — когда ты внезапно находишь себя в царстве глухоты, когда ничто ничего не отражает, когда устанавливается на некое время самый страшный образ ложного мира: тебя окружает то, что тебя окружает, пальцы переливаются в рыхлое вещество материи, мысль ежесекундно находит единственно верные решения. Вопросов не существует. Ты рожден, ты мертв, ты ешь, ты объясняешь суть явлений, перечисляя их. Либо не перечисляя. Мне не жаль тебя и в этом случае.

Чего, спрашивается, жалеть? Вероятно и некое противоречие между «желанием» и «хотением» Чем сильнее желание, тем крепче нехотение. Человек, осознающий это, посвящает себя Деметре. Утро было плавным, словно медленно разворачивающее себя в уподоблениях сравнение. И это было в порядке вещей. Что это: «нет чувств»?.. Нет? Возможно ли — «нет»? Но они махали вслед нам подсолнухами, которые золотились, под стать их глазам, иссушенным печалью и все же сознанием счастья, которое

выпало им; впрочем, одним раньше, другим позже, конечно; а другие так и не сподобились знать, что были наиболее счастливы во времена, когда предполагались как бы другие его, счастья, модели. Но мы уже знаем, как плавное утро вершит свой поворот к соловьиной мгле, когда белоснежна, словно соболев, ночь в гемисфере фарфоровой бересклета пестует фосфор. Осведомлены в той же мере и о фигуре судьбы, и о теории катастроф, проиллюстрированной с большим тщанием ослепительным пульсом систем, опрокинувших расчеты их поведения, — порывы ветра так же бьют в лицо мельчайшим песком и хрустящей листвою, когда улица — желтым, и пересохла, как горло, просеивая крупчатый воздух. Мотыльковая муть. Я предполагаю следующую прогулку. Мы начинаем с нашей улицы, переходим перекресток в том месте, где на тротуар падает огромная тень ореха, шум которого на несколько минут делает наши голоса совершенно невнятными, затем движемся напрямик к школе, в которой мне довелось учиться уже после всего и из которой я точно так же бывал исключен, как из многих других, но о чем упоминать, полагаю, неуместно. Потом скудной рошей шелковиц и неродящих яблонь выходим к неимоверным по своей величине отстойникам химического завода, всегда поражавшим мое, но и его (то есть мое, иными словами, твое) воображение, — к циклопическим квадратам и прямоугольникам, образованным насыпями, наваленными в доисторические времена бульдозерами, и, как всегда, исполненным в одних местах перламутрово-молочной жижей, в других же — поразительным по красоте своего неземного цвета веществом «электрик», лазурно-изумрудным с некой поволокой латунно-золотистой спазмы, отливающего кое-где яшмой, загорающейся в тот же миг, когда отводишь глаза, подобно радужным нефтяным пятнам на солнце, а в третьих — адско-рыжей плазмой, однако объединенным в единое поле до самого заброшенного стрельбища — одним: устрашающей плоскостью, зеркальностью, в зените которой

располагается формула обратного света, Сет. Наивно будет думать в поле этого пространства о хрупко-резных, как сквозное послание, костях какого-то брата или о волосах сестры. Здесь девка косы не чешет, гуси не киркают, здесь намечена наша встреча в полдень. А подальше будет стрельбище, пустые гильзы, ивняка; там, в двух часах ходьбы среди травленной полыни, находится другое. Карта стихотворения. Разбитые зеркала листвы. Разбитые зеркала чисел. Лозы окончаний. «Человеческое» смывается с тела, оснащенного чувствами, — ни единого отражения в предмете. На необитаемом острове объект заменяет память, то, что направлено в будущее. Решение было принято. Торквато Тассо впервые посещает дона Карла в конце 80-х, во второй раз — в начале 90-х. Заслуживает внимания фраза о совместном создании мадригалов (и другое также...), стихотворения такие писались обоими и не только о князе, но и об обеих его женах, включая стансы на смерть первой. Гонимый безумием, Тассо мечется от одного двора к другому. Стоит сухая осенняя погода. У Херсона горит стерня. Первый визит. Переписка. Второй визит. Музыканты, надо отдать должное, довольно приличны. Но Монтеверди! Он ведь стал сочинять в пятнадцать... Не пришло время, чьи осколки подобны разбитым зеркалам листвы.

Вопрос (любой вопрос без исключения) о поэзии неминуемо влечет за собой нескончаемое количество всевозможных вопросов, цепи которых сплетаются в ткань некоего бесконечного пространственного вопрошания, которое в свой черед предстает действием странного странствия, блужданием, постоянно отделяющим от иллюзорной возможности хотя бы одного, частичного ответа на какой-либо из них, а потому я говорю о пространстве, поскольку ни время их кажущегося разрешения в предположительных таксономиях, ни время их мерцающего в замещениях и перетекании бытия несущественно, или же — мера его ста-

новится чистейшей абстракцией, когда речь идет о скорости, доводящей мир до одновременности, в которой движение не предполагает никакой цели, выползая из себя, объемля себя постоянством в необязательных пределах гравитации и зерен пространства.

Поэтому, когда я возвращался, воспоминания о ветре, к которому я был столь близок, о всепроникающей скорости, пеленавшей в неподвижность, помогали проходить сквозь игольное ушко сна, и помогали не раз и не два.

И дело обстояло не столько в том, что необходимо было избавиться от неких мыслей или же от забот, монотонно разворачивающих свои веера, стоит лишь открыть глаза, исписанные постоянно удаляющимися от понимания, однако безусловно отчетливыми внешне предписаниями, сколько в том, чтобы превозмочь ничем не заполняемую пустоту, когда ни воспоминаний, ни легких в очертаниях, живущих где-то между прошлым и будущим образов, ни бесконечного нисхождения к судорожному вздрагиванию отделяющегося от тебя тела, — только тлеющие цветы неуспокоенного под веками зрения, вышедшего из берегов вещей из привычных, создающих их пределов. Но превозмочь или превзойти не означает «наполнить», напротив. Что означает для меня мой день рождения? Зачатие? Письмо в данный момент или то, что в этот же миг возникает встреча моей мысли с тем, что ей неподвластно и что меж тем есть ее начало, — но моя ли эта мысль, мне ли довлеет вопрос? Какие последствия предполагают сочетания тех или иных чисел и месяцев? Значит ли это к тому же, что я обречен на встречи лишь только с одними, но никак не с другими, или что-то иное? Предполагает ли, что при встрече я не смогу тебя понять? История разворачивается стремительно.

А потому, как многие вещи уже не имеют значения, — во всяком случае, влияние их на настоящее сведено к минимуму, — не преувеличивая, могу сказать, например, что ливень, обрушившийся сорок лет тому назад на сад, ливень и молния, расколовшая ослепительно-белым зубом ствол липы до самой земли, остались магниевым безвозвратным мгновением в том времени. Вот почему, к сожалению, мне очень трудно представить, что имеется в виду, когда говорится: природа. События принимали довольно серьезный оборот. В стране происходила революция. Можно было уточнить: произошла. Нет, ты не прав или не так меня понял. Такого не было. Но разве те, кто ринулся за пределы, не порука тому, что все это случилось? Нет, у тебя на то нет оснований. В то утро тебя разбудили вовсе не танки, но солнце. Я лежала подле тебя и смотрела на то, как беспокойно ты дышишь, как подрагивают твои веки и морщины набегают на лоб. Говорят, что ты слишком много пьешь. Ночь была неожиданно душной. Ты спал совершенно голым, и когда я положила руку тебе на грудь, ты хрипло вскрикнул, но не проснулся. Ты был прав, мужская телесность для женщины совсем не то, что описывается мужчинами, и, конечно же, не то, что (опять из того, что описывается мужчинами) женское тело для мужчины. Откуда эта печаль? Вряд ли правомерно будет это называть печалью. Мы свободны, словно камень в поле зрения Сфено. Несколько реплик. Положи на место вилку. Шаги на лестнице. Не шали. Что мы будем делать после обеда? Падают яблоки. Придет отец, и решим. Окна. Уходите ли сегодня вы вечером в гости? Отделение от себя происходит впервые тогда, когда постепенно реализуется идея самоубийства. Становится буквальной реальностью. То есть когда ты можешь вообразить или — когда ты уже знаешь о существовании возможности преступить пределы телесности, своего, заключающего в себе собственно неукоснительные как бы законы. И тогда ты виден себе без изъясна: странное существо, плодоносящее боль, ты удаляешься,

но сколь сильна жалость вот к этому, тому, что, невзирая на свою слабость, тем не менее содержит в себе — несет — эту идею. И с этой поры камень не камень, колодец не колодец, небо не небо. Скорее всего, некогда разлинованный для тебя мир уже убит светло и радостно в случившемся однажды самоубийстве. Ты намеренно вызываешь у самого себя эту жалость или же, напротив, она и есть начало отдаления от «себя»? Не знаю. Помогика лучше вымыть посуду. Белить стены. Я ненавижу грязную посуду. Передайте мне хлеб. Умершие тоже уходят все дальше по коридорам снов. И бывает довольно затруднительно разобраться в их лицах: кто они, откуда, — чьи воспоминания являются твоим достоянием и что осталось им? Или от них.

И ветер, который беззвучно подступал к изголовью, — лишь он один мог отсечь ненадолго... не тягостное, впрочем, но нескончаемо сужающееся отсутствие пространства, времени, сна, где терялся смысл даже элементарного сопротивления чему бы то ни было и утрачивался контроль над смыслами как таковыми. Повествование от лица женщины. Природа иного желания? Угадана? Есть ли всегда? Предложение обретает себя в уклонении от описания. Мысль возможно уточнить: да, лист, не имеющий сторон. Если любишь меня (светло-зеленая влага утреннего солнца, каштаны, достигающие подоконника, можно пропасть в них или возвратиться известной тропой сентиментального путешествия с такой же легкостью, с какой исчезновение исчезает в себе)... И помедлив, с заметным усилием: «если я люблю тебя... да, — следовательно, мы не должны расставаться». В одной из последних глав становится ясно, что приведенный выше монолог является вымышленным вдвойне. Между главами. Приближение птиц и зеленая влага, раскрывающая белому код его применения. И мы не расставались. Прошло более четверти века. Увлечение мелкими вещами. Иной раз вос-

поминание касается этого неподвижного порождения воображения, призрака, ставшего воспоминанием и, таким образом, ставшего реальностью, уходящей в безответное безмолвие каких-то отчетливых стен, очертаний, последовательности действий, уже не пропускающих в свое вращение. Состоять из вещей. За затылком. Написание стихотворения. Ей нет еще и пятнадцати, когда родители выдают ее замуж. Дальше. Но Фредерико Карафа де Сан-Лючидо мертв. Вместе с тем донна Мария дает достаточно оснований, чтобы судить о ее плодовитости. Гонимый безумием Тассо (музыкальный ряд стерт) перемещается от одного двора к другому. Музыканты замечательны. Вдобавок ко всему Фабрицио Филомарино, воистину ангельская лютия. А Рокко Родио? Чем его репутация ниже? Да, как теоретика. И композитора. Вот они снова кружат, снижаются... барабанные перепонки вот-вот лопнут. Страннее всех ведет себя Доменико Монтелла. Он же пишет Сципиону Церете: «право, меня настораживает, — впрочем, я не настаиваю на слове “настораживает” — эта скрытая, однако достаточно откровенная для пытливого слуха тяга к хроматизму. Мне мнится в этом некое затаенное противоборство иного представления связующей гармонии». Дата не проставлена. И началом их отношений были глаза, излучавшие послание, коих знаки не нуждались в истолковании. Затем уста произнесли то, что руки, послушные их воле, запечатлели в письмах, коими они обменялись. Но кому ведомо начало их гибели, чья нить вела сквозь кратчайшее, но от того не менее сладостное блаженство, — и не им же, коим промысел уготовил столь странное испытание в ужасающей смерти, подозревать о ее истоках. Сады дона Гарсиа Толедо. Лаура Скала: нет, все так нерезко, нечетко. Недавно. Затем возникает черед дяди, пораженного ее красотой в самое сердце и в тайном сокрушении переживающего свои низкие чувства по отношению к племяннику.

Любой вопрос о поэзии включает ее вопрошание о самой себе. И это есть ее основная чистейшая стратегия: действие включения вопрошания в горизонты, которыми она же и является. Постольку, поскольку поэзия состоит не из слов, в ней нет слов, ее дискурс сравним разве что со сквозняком, со сквозным пролетом каждого слова сквозь каждое. Высказывание (то есть то, что улавливается и оседает в структурах знания и что в итоге дает возможность о ней говорить даже сейчас) образует лишь карту направлений, подобно «образу», медленно выгорающему на сетчатке логики. И который воображение в силу своей той или иной предрасположенности успевает наделить значимостью. Перфорация памяти. Но что несущественно для сознания, подобно росе выступающего на коре вещей и испаряющегося вместе с вещами. Скорость чего сравнима только со смехом и что не означает вовсе каких-то конвульсий, мышечных спазм и характерного звука. Смех равен ребенку, вглядывающемуся в огонь и смутно осознающему: а) что огонь не отбрасывает тени, б) что отвернись он в сторону, и смутное, как гул, беспокойство вновь исполнит его, поскольку вместе с пламенем он утрачивает (и все чаще и чаще) в себе его сквозящую пустоту, возвращаясь в «рай детства» в преддверие зеркала, к языку, «состоящему из слов», к себе, лелеющему странствие-самоубийство, обреченному глядеть из себя — Паноптикон мяса, костей, сухожилий, связанных в узел «восприятия», — на коже которого и в мозгу постепенно проявляется мушиный рой «я» этих безродных Эриний, чьи иглы день за днем будут пришивать его рассудок к слову-вещи-форме-смыслу, превращая неуклонно его в размазанное яйцо куклы, хранящей в себе нескончаемое число таких же, со всей безупречностью повторяющих друг друга: такова бесконечность или Красота, «возвышающая дух» не в пример величественной поре пристальной дикости, когда, рассеянный пылью, идущей со всех сторон, уходящей во все стороны (и что тогда «направле-

ния» высказывания?), парил, не зная ни границ во тьме, ни тьмы, чей свет не имеет тени.

Он мог сказать тогда, что любит траву, пробивающуюся сквозь асфальт, что хрустящие страницы сгорающих у керосиновой лампы журналов с изображениями нескончаемого разрушения (в голову приходит сравнение с вышедшей из-под контроля химической реакцией), пива, шелковых женских ног, тысячекратно увеличенных вирусов, напоминающих работы Филонова, автомобилей, голых тел в различных проекциях и связях — и наскальная живопись, гниющий Ленинград, соринка, проплывающая с легкой слезливой резью по глазу, — суть одно и то же. Его очаровывают почти неуследимые изменения цвета на стенах, и трудно оторвать глаза от коричнево-зеленоватой прохлады просторных и гулких объемов между домами, прозрачных, словно звук, рожденный слухом. Dear Nick, do you remember that sunny emptiness in Dresden? What had happened with us there? just only because our fathers were colonels? O fascinating speed of an immobility.

Он мог бы сказать, что к его щеке прикасается нежность всегда отсутствующего мира, об отсутствии которого ему больше всего хотелось бы сказать, поскольку таинственное не-отражение порой не может оборвать даже пробуждение, не переходящее в бодрствование. Что же касается предварительного ознакомления с историческим материалом, то град, выпавший 2 мая 58 года и побивший цветущие яблони, кажется ему достаточно веским фактом последующего возвращения к теме (тени) Джезуальдо. Вышесказанное взято в качестве примера бесспорно романтического понимания речи. Однако не составляет труда превратить его в иную иллюстрацию иного положения, допустим, о поэзии как о неотъемлемой части идеологического процесса — идеи самоубийства, но если Власть стре-

мится... стать недрами вещей... Прекращение понимания. Воображение — это постоянное возвращение «за».

Но бывало, что в такие, именно такие мгновения, вещи и события необыкновенным образом, не имевшие прежде ровно никакого значения и существовавшие в памяти как бы сами по себе, на ее периферии, перфорацией на ее полях, в виде безвидных пятен (не препятствующих, впрочем, и — что иной раз мнится преисполненным определенной важности — постоянно изменять себя, блуждая наподобие архипелагов), возникали в совсем иных отношениях с окружающими их обстоятельствами, вступали в абсолютно неожиданные связи, обретая, казалось бы, невероятные причины, меняя очевидно многое в том, что уже, казалось, навсегда останется неизменным. Втайне или война.

Запорожская Сечь. Ртутный шар, пульсировавший, рассыпавшийся по степи мгновенными завихрениями времени. Впитывая противостояние. Была уничтожена государством как птичья стая, слоющаяся небо тысячами пернатых челноков. Без нитей. Наблюдение составляет истинное удовольствие. Бесспорно, нечто подобное случалось и раньше, однако довольно редко повторяло себя — я имею в виду возвращение к одному и тому же... повторений, как известно, нет.

Поэзия или состояние языка, доведенного до такой скорости перемещения значений, что возможность их появлений в любой точке так же вероятна, как невозможность такового. Еще: вследствие этого не может рассматриваться как выявление тех или иных смыслов (не говоря уже о всяческих «выражениях внутреннего мира» или «верной передаче действительности» etc.), но как раздражение всех — существующих и не бывших: раздражение и удержание возможности такового пространства, противоречащего

логике разделения, последовательного накопления и времени. Еще: поэзия — насилие, сечь за порогом, превращение любого элемента в пустошь, в зияние императива намерения: пусть; опустошение слова словом, желания желанием: в ожидание. Все, что остается на странице, подлежит уничтожению в последующем переписывании/надписывании или чтении. Читаем ли мы то, что предложено чтению? И сколько длится чтение фразы, предложения, строфы, слова? Век, долю мгновения, составляющую настоящее продолженное чтения?

И, признаться, не знаю толком сейчас, что именно насторожило меня в этом возвращении памяти к одному довольно-таки незначительному происшествию, случившемуся лет пятнадцать тому, и даже не столько происшествию — легче сравнить это со следом давно затянувшейся ссадины, более того, ссадины, полученной неведомо где и как, — хотя разве не происшествие оброненная кем-то когда-то невзначай реплика? слово? либо не имеющий к тебе никакого отношения, скользнувший по краю слуха обрывок фразы, дребезжащий, как ночь настоящего настоящего? Но происшествием они, бесспорно, становятся позже, много позже, если только становятся, если только им суждено возвратиться к тебе, описав немыслимую кривую собственного небытия в схожести со всем, что их окружает, будучи их предпосылками, — со всем, что составляет твою жизнь, изойдя из тебя, как об этом принято писать. Но даже не знаю, где впервые это происшествие пришло на ум, вошло занозой, причинив в первый миг легкое беспокойство и тотчас онемев в собственной безначальности и отсутствии каких бы то ни было предпосылок конца.

Вопрос о времени также предполагает вопрос о некоем настоящем, то есть об определенной позиции, по отношению к которой возможно было бы время мыслить как та-

ковое, иначе говоря, о позиции и существо Его, о присущей его природе желании спрашивания, что вероятно понимать как желание «преступления собственных пределов» своего переопределения (возможно, пере-предназначения, предопределенности знаку, Означающему). Вопросы задаются ему. Инъекция тайны извне. Точнее, инъекция «вне» в «в». Прививка незнания завершается ни-что. То есть Порядок, Закон, Зримое, Я, невзирая на сопротивление, превращаются в кипящую лаву бессмысленного, в слепоту прозрения, в эллипсис солнца, сокрывающий «другую» ночь Бланшо (меж тем, будучи «внешним» «определяющим» к Иокасте, Эдип, выходя за кавычки собственного, возвращается в ее «в» точно так же, как тайна возвращается в его «про-зрение» обрекая на еще одно повторение странствия Тиресия в блуждании между «мужским» и «женским»). Однако любая провинциальная труппа, не изменяя ни слова в этом сценарии, может в любом из своих представлений превратить эту историю в многозначительный фарс. Многие преуспели.

Хотя сейчас мне кажется, что это случилось на дороге в Миддлтаун, когда низкое небо Новой Англии на долю мгновения показалось мне небом Ленинграда, а солнце, всплывшее во внезапном разрыве едва ли не черного полога несущихся снежных туч, в мгновение ока отшвырнуло в еще более ранние, вовсе баснословные времена, в какую-то из тех почернелых весен, которым мы обязаны многим, а я, возможно, этими страницами, то есть этим странно неутолимым желанием уловить нечто в речь... возможно, ее саму, не уловляющую ничего... но которые в итоге и превратились в нечто вроде несвершаемого ощущения, во что-то вроде томительного, неустанно разветвляющегося присутствия в предчувствии того, что уже было, как и та, одна из ранних весен, когда я думать не думал, что доведется жить в Ленинграде, или же ехать из Бостона в Конкорд, или лежать с закрытыми глазами в

постели на шестом этаже в Сохо, путаясь в жарких прядях температуры, пытаюсь в какой раз разобраться в том, что вроде бы не имеет значения, словно вот так — в одном легчайшем мгновении вспомнить, уместив на острие луча нежнейшего укола то, на что ушло без малого четверть века. Пространство множит себя тобою.

Но вероятно и другое. То, что впервые мысль, праздно блуждавшая вокруг тела в машине, парящей где-то на рубеже суфийской синевы калифорнийского неба, обозначенного ржавой ниткой Оклендского моста, споткнулась о полузабытое имя позднее. Что толку говорить: позднее, раньше. Позднее чего? Ну, ненамного, конечно же... Но позднее, позднее. О чем речь! Что слышно.

Ты пишешь и слушаешь шум дождя, шум письма. Ты можешь написать, что снова весна, что в этом году не было никакого снега. Что буквально несколько дней тому ты возвратился, а ноги по-прежнему ощущают податливую иллюзорность пола, тогда как времена совсем спутались, и бессонница являет собой всего лишь результат обыкновенной путаницы времен, соскользнувшей с веретена вестибулярного либо летательного аппарата. И что тебе, бесспорно, по вкусу, всегда обожавшему путаницу во всем, как будто она могла избавить не то чтобы от ответственности (хотя о чем ты? какая ответственность? за кого? за это полустертое имя, неизвестно почему мелькнувшее в рядах перечислявших себя вещей?), но от голоса, западающего в щербине мгновения, подобно игле в глине диска. Ныне перпендикулярно-обратный луч извлекает звук, волна — волну, не совпадая в частоте. Нет, не следует описание дома, перечисление окон, дверей, постелей, картин, из которых луч извлекает странные, доселе не знакомые очертания форм. Между главами.

Вопрошание и Смех, но не тишина, не безмолвие следствием любого ответа. «Поток таинственного, протекающий сквозь человека, лишает его благочестия». Кажется, я не ошибся. Я рад.

Мышление и великая, постоянно резвертывающаяся скорость вопрошания, охватывающая проблему мышления как постоянного «запаздывания», этот орнамент, безразличный вполне к драме, которую человек переживает, вовлекаясь в него нитями своих намерений, этот узор тлеет необозримым множеством забывающих «тотчас» себя в «точке мгновения» явлений собственных смыслов, становящихся лишь только иным вопросом. Правоммерно будет спросить, где, в каком «месте» происходит разрыв перехода. Однако перед тем следовало бы спросить также, что именно побуждает сознание задаться таким вопросом. Но любой вопрос о поэзии вовлекает в иные разветвления нескончаемого числа иных (как то: что понуждает его, ее обращаться к ним или же к какому-то из них, созерцая их подобно вещам, переставшим быть вещами...). Я не вижу никакой пользы в поэзии. Даже если бы она действительно существовала.

Относительно скоро я умру. То есть войду в некое совершенно не интерпретируемое воспоминание, которое будет отличать от «памяти» ненужность собирать в фокус разрозненные фрагменты (числом все те же) в подобие пористой поверхности. На месте исчезнувшего — явление. Я так и не узнаю, является ли любое сокращение лицевого мускула, любая прядь сна, любой миг терпения, одержимости, речи заурядной реакцией отстранения, отделения, в котором, как я только что сказал, явь может быть явлена быть в событии этой неизъяснимой разуму связи между убыванием и прибылью. В промежутке которой чрезвычайно трудно понять, что такое Красота, Благо, Устройство... (он хочет быть честным) — и потому продолжаю — что,

вероятно, объясняется неожиданной слабостью Идеи Спасения, Единства, Всеобщего и, следовательно, определенного его/меня самого, замыкающего или должного замкнуть их в себе самом, пальцы которого ведут перо по бумаге, вслед которому движутся глаза. В поле их зрения попадает окно, часть двери, письмо, в котором речь идет о переводах работ автора этого письма, о его требованиях к переводчику быть как можно более «адекватным» и не приносить ничего своего, поскольку — надо полагать — поэт убежден, что его собственность, то есть неповторимое его свое, — не что иное как его личное спасение. Признаться, стихи дрянные. Автор достаточно карикатурная фигура. Автор и его письмо с требованиями, сетованиями, раздражением. Автор более чем уверен в том, что он сделал какое-то открытие, найдя истоки поэзии и, паче того, «грехопадения» человека, «отделившего» себя от «природы животного» в пароксизме не то нарциссизма, не то рефлексии.

Я, кажется, начинаю путать... идет снег, нарастая сугробом на подоконнике, надо выключить приемник, автор письма становится чем-то вроде диаграммы смеха, распределяя свои колебания по волнам неослабевающего любопытства, рассыпанного в различных конфигурациях точек. Я намеренно изменяю почерк, чтобы однообразие линейного ритма не столь удручало при припоминании терминов: «мастерство» «гармония» «пластичность» «выразительность» «образность» «судьба». Причем на миг представляю себе, как в этих терминах можно, к примеру, поразмыслить над тем, что ты делаешь, когда занимаешься любовью, лучше всего тогда, когда из женщины хлещет кровь, пришло время, и кожа живота слегка липнет к коже ее живота, стуски, а потом идешь в душ и долго смываешь ее кровь с ног, с волос паха, с самого хуя, в зеркале, наблюдая светоносное истечение пластической судьбы, с убедительным древнегреческим мастерством представляющей выразительные сцены грехопадения. Но я также рад и

тому, что уместил это предложение в расщепленное пером мгновение не-желания.

С другой стороны, возвращаясь к терминологии, она напоминает осколки некогда довольно обширного зеркала (такими оклеивают шары в дискотеках), притяжавшего во всеохватном отражении представить картину мира, который между тем может обнаружить себя тоже не чем иным, как только единственно существующим представлением, подобно мне, при иных условиях согласившемуся бы утверждать, что в моих представлениях (или же в динамике представлений моих-другого мир отсутствует, открывая себя либо в своих первопричинах, являя закономерности, либо в возвращении, требуя только одного — веры в непосредственность, в отсутствие чего бы то ни было между им и мной (мной и другим: я это не-другой), в одновременное настоящее, в то, что она, реальность, и «я», если я согласен быть «я», есть одно и то же) Мир обретает свою Картину. Поэзия есть достаточно простое отношение между чувством презрения к ней же, каковой бы она ни была (если она существует), и самим ее писанием, письмом, направленным на «разрушение» любых первооснов. Добавлю, что где-то между нитями паутины, времени пролегал любовь, то есть игра «цели и смерти» под стать яви между убыванием и бытием как всеохватывающей системой объяснений. Образ не имеет ничего общего ни с «картиной», ни с символом. Он — дырка от бублика. Возвращаясь к Джезуальдо. В следующий раз.

И невзирая на это, вот уже несколько лет я намереваюсь рассказать об одном припоминании, кажущемся мне крайне примечательным. Когда мы проснулись, солнце стояло довольно высоко. Снизу, с улицы, пахло летней пылью, прибитой водой. Мы проснулись, и солнце к тому времени поднялось. Это тоже входит в припоминание — каждый раз припоминание требует большего числа кругов подле пустого места, которое должно стать, точнее, пре-

вратиться: из совершенно пустой мысли и желания припоминания стать таковым в намерении рассказать об этом, об одном припоминании, которое кажется мне почему-то значительным. Когда мы проснулись. И все же вы были обязаны изменить свое мнение. Что касается нас, мы его не меняли, ибо, как и прежде, парили над нашими головами орлы, как и раньше, шли облака, как всегда, готовы были присягнуть мы на верность пустым улицам, пролежавшим в неколебимом ослеплении солнца, так как в той книге писалось не только о весенних лугах в пойме Выры, к концу мая, где рябит от крокусов и ветреницы, а к августу теснит взгляд легкий мед купальницы, — медленное описание, счастливое вполне тонкой резьбой совлекаемых представлений, описывает безопасную дугу — одновременно в той книге развивалась мысль о качественной бесконечности природы, в пределах которой любая частица зависит в своем существовании от бесконечного окружения и субструктур, благодаря которым процесс качественных изменений частицы как таковой нескончаем и в результате взаимоотношений которых невозможен предел числу их превращений, а поскольку ни одно слово в течение времени не остается равным себе, будучи при всем том «одним и тем же», то и сама книга, являясь «одной и той же» (невзирая на тьмы названий, кои также суть то же самое), добросовестно описывающая природу в разные времена года, — причем следует отдать должное тому факту, что предпочтение чаще всего отдается весне, — книга, прочитанная сегодня утром, в пору, когда вновь приходят морозящие, холодные дожди, затягивающие окна оплывающей пеленой, пропускающей слабое роенье дрожи, отстоящих скорее в умозрительном пространстве деревьев, под стать догадке, вычитываемой из, казалось бы, внятных, не допускающих инотолкований строк и отдающейся в висках сомнительным ноющим утверждением, отчего кофе горчит более, чем обычно, повествует не только о луче, разбитом на множество таких же ветвями, но отыс-

кивает в переходе из некоторых страниц в другие предложение об определенной обязательности ожидания, то есть терпеливого пребывания в нетерпении (но это не обо мне, нет, отнюдь не обо мне — тому, кто называется мной, ему золотистая пыль, текущая по пустому листу бумаги и странно отзванивающие муравьи крови при прикосновении к ним) и тем не менее в ожидании, когда просто ждать, не обинуясь, не того, как про-изойдет то, что казалось по недомыслию вечным, незыблемо отданным как должное, ибо все равно либо рано или поздно должно быть распределено — по элементам зрения, — роздано в зависимости от меры твоей заслуги, являющейся чем-то вроде уменьшенной копии Великой Добродетели, и что, таким образом, свидетельствует о явственном присутствии незыблемо учрежденных связей этой небесно-земной грамматики, соотносимой разве что со структурой кристалла (для красного словца) или колеса, его кристаллической решетки, в стереометрическом бреде которой (симметрия мадригала) каждое сочленение — смысл ее крепости, а стало быть, предназначения, но иного, того, как оно никогда не произойдет, точнее, того, как оно, произойдя в догадке, в обыкновенном желании «получить» нечто в виде награды за свое совершенно никчемное существование (не эта ли книга, читаемая в час утреннего морозящего дождя, повествовала еще мгновение назад о героях, их добродетелях, деятельности их по избавлению от подобного ощущения?), так и останется непроисходящим, даже более того, исходящим из своего призрачного появления в перспективе воздаяния, когда одному больше, другому меньше, а третьему вовсе ничего, и от чего первому еще больше, как и другому, поскольку так и умножающая сладость сострадания серебряным гвоздем забивается в темя: «чем помочь тебе, брат, сестра... как разделить: а) грехи твои, б) вину твою взвалить на наши плечи» — такова радость и оживление, поскольку на самом деле смутное, дикое предчувствие, что обмануты, шевелится в самом ос-

трие этого сладостного гвоздя, достигая рассудка, по которому, словно все по тому же полу темной пещеры, несутся тени, напоминающие облака, идущие с севера, если смотреть этот сон, снящийся себе безуданно. И подобно перекиси водорода, вскипающей в алом клекоте артерии, сирень начинает обугливаться в темных прядях ветра, подымающегося к утру с земли, где скорость, осколки разбитых бутылок, шлак, истлевший металл отживших свое водопроводных труб, застывшая в корчах ржавчины арматура и серенькое небо, ничтожное небо Охты или ежедневного начала, однако город состоит из другого. Ветер — лишь наше слабое сновидение, тончайшая (в смысле уязвимости, но никак не «вкуса») мечта о стирании этой главы рассказанного в каждом. Есть ли исключения? Каковы они? О чем? Схлопывающиеся ножницы входов метро отбрасывают сень преисподней на речь доблестно сражающихся за — мужей. Оружие и время — различные вещи. Он прибыл из другого места. Центр биологической государственной машины — кровь. Право лить. Право на ее распределение. Право чести. Говорящее кровью. Но я утопаю в твоей крови, в жарком рассеянии, когда луны, как старые разбитые колеса, сходят со своих светоносных кругов и скалы крошатся от едва слышного стоны приоткрывающей смолистое веко птицы, мы просто слипаемся, словно пропитаны кровью, слюной, слизью ткани — спустя тысячелетия очертания сохранятся, — когда приходит время тающей соли и маслянистой киновари, чей полуночный жар — зеркало милосердия и приговора. Лексика газет. Несколько словарей. На наших глазах происходит замещение одних пластов другими. Створы входов в метро, схлопывающиеся на уровне паха, косвенным образом по несколько раз ежедневно ввергают рассерженных мужчин в тень страха — кастрация. Достигая рассудка, где стоят медленные облака, обволакивая в сон, снявшийся сну об осоке и отлогих берегах в низине, за которыми голые холмы пекутся на солнце и где однажды,

разрывая зеркальное марево времени, впилося в босую ногу среди дикого клевера жало осы. Количество производимого — «милосердие» свидетельствует об объеме ужаса, глубине унижения, страхе наказания, желании мести. А в это время другой пишущий погружается в собственное детство. Пишущих становится больше. Детство — не знание. Но обладание им. Как цветом папоротника, как цветением фосфора. Прямая нить которого. Отрезок неуследим. Ночи. Из комнаты в комнату. С улицы на улицу. Гимн вину. Все тот же праздник Осхофориев в расположении домов и деревьев. В последний момент уклониться. Выглядит так. Тебе задают вопрос, куда ты двнешься, зная, что идешь ты пить вино на Моховую, что осталось тебе совсем мало и через минуту уже будешь размахивать в снегах метущим стаканом с шампанским, что через те же минуты у тебя встреча, что сегодняшний вечер станет очередным воспарением, а тебе задают вопрос, куда и зачем, потому что желают знать, тем паче не ты ли сам спрашиваешь знакомого, к примеру, как у него обстоят дела, и выглядит это в высшей степени одинаково, поскольку любому из спрашивающих абсолютно безразлично, встретишь ли ты кого на углу Литейного и Пестеля или на выходе из станции метро на Бликер-стрит, где за твоей спиной прекрасная столярка чистейшими рядами безукоризненных форм мерцает за стеклом, и через несколько минут предстоит вино, встреча, но прежде вдруг вовсе неожиданное: куда ты двнешься, куда идешь. Никуда. Стою на месте. Это доказано законами относительности. Или же — не нуждается в доказательствах. Подобно тому, как не нуждается в доказательствах различие между историей и памятью. «Я хотел найти его могилу, выкопать труп и сжечь его на ветру в полдень на горном склоне где-нибудь у самой Яйлы, на рубеже провала и степи, и так я намеревался окончательно рассчитаться с детством, со всем тем, что именуется дальнейшей жизнью, которая впилась оводом не в неуязвимые коконы родителей, а в “другого” или

в книгу с бесчисленными названиями, которую потом листаешь в одно из весенних утр, затянутое моросящим дождем, и для чего по трезвому размышлению потребуются добротный пластиковый мешок, поскольку неизвестно, высох ли он за двадцать лет или же лежит слоем жижи в подземной полости, напоминая спящую нефть, ожидая, когда станет мухой, запекшейся в янтаре, которую еще неизвестно кто найдет и неизвестно кому подарит, чтобы лег ожерельем на твои ключицы смуглой тенью нити, которой защиты рты ангелов, как и его ожидание, которое мне придется прервать, если, конечно, будет найден мало-мальски приличный пластиковый мешок, чтобы перевезти все это на склон обрыва под самую степь и спалить, наблюдая процесс окисления со стаканом кислого вина. Это — история, но не память». Пытаешься ли ты что-то понять, когда описываешь принципы понимания? Я просыпаюсь и снова ложусь. Сейчас я звоню по телефону, чтобы справиться о приезде приятеля. Пишущих становится все больше. Ветер — слишком слабое утешение. Но любовники не нуждаются в утешении. Их появление на просцениуме мнится в какой-то степени излишним, как фольга, не проясняющим, но намеренно затемняющим смысл общего действия. Общего неба. Общего дела. Наконец, значение общества, говорящего о насущности любви. Количество слов не совпадает с количеством событий. Или превышает, или же уступает. В наше время путешествие невозможно. Но я в самом деле не знаю, что мне было нужно в упоминании какого-то происшествия, случившегося до того, как возникла нужда писать о поэзии. Почему ты не пишешь стихов? Что чувствует каждый мужчина, проходя турникет, покупая всего за пятак спасительную возможность продолжать говорить? Легче всего говорить о специфической, женственной природе русских. Я прощаюсь с тобой. Я чрезмерно невнятен. Я понимаю, что, говоря с тобой, должен тебе «дать» нечто большее, нежели пластиковый мешок. А в это время время не со-

впадает со временем. Лабиринт конечен. Конец в скуке. Я лягу там, где стою, размышляя о волокне воды, пронизывающей воздух, всегда свитом в молнию — такова радуга. Вечерние боги, под стать красноватым прибрежным садам, увитым лентами песков и теней. Вскрикивает как новорожденная звезда. На карнизах немоты, иглой птичьего перелета, где солнце немеет от одиночества, параллельной осям магнитного ветра пустыни. Крылатый камень темнеет, вода точит свой путь в непроницаемых стенах материи. Пространство возможно только в пределе. Когда свет приближается со скоростью тьмы.

Центр сада — пустыня. Центр ночи — солнце. Сверление. Центр пустыни — вода. Кофе остыл. Центр солнца-зрачка — зияние, беспрепятственное, как если бы не быть затылку либо как если бы ось слежения пронизывала тебя насквозь. В снижении снега. В предложении «мы возвращаемся» искрится окислами риторическая фигура умолчания, подобно осени, пробующей бережно твой рот, как ты пробовал рассеянно, по обыкновению, разгрызая кору, сырой прут, уносимый вестью вещи, излучающей имена. Стены. В восстании снега на берегах озера в весеннее равенство.

Смерть — совпадение с собственными границами. Как впадина пространства, совпадающая с очерчивающей ее головокружением линией времени, связанной в блуждающий узел, затягивающий в ничто то, что могло бы стать полем письма истории. Я знаю, как это происходит. Но ты также это знаешь, хотя уверена, что я не питаю на твой счет ни малейшего подозрения. Вечер и ветер отделяются/отдаляются в противоположные стороны. Центр разделения — ртутная капля, разбитая в тягучем падении. Оболочки. Невыносимо, как ненаписанный американский роман, где, листая, о нитке Оклендского моста, продетой в уши, раскачивающей над отражением отражений агато-

вую бусину машины гремучей каплей инерционного вихря, уколом центра, ускользящего в сторону. Весна в Нью-Йорке или утренняя кисея дымного неба, тепло стен, влага и не больше и не меньше в тысячах дубовых кадок на крышах, о которые разбивается коричневый свет утреннего закатного солнца. Руки. Руины. Отражающие скорость осколки рассеяния. *Vino!* — надписью на майке — это твое имя? — нет, это моя жизнь. Покуда о руках довольно. Социальный договор неуклонно приобретает черты приговора. Несколько ниже следующее начало: *a.. the question is always memory, how long does it live inside — or from outside... who cares!* — и разительное разделение в одновременном бытии шума и свистящей тишины (что позволяет слышать их, не смешивая друг с другом?), она встречается лишь в разреженном раю каких-то меловых скал, раскаленных отсветов, сухой раздирающих шелк. Ответы. Отсветов ветви темнее к пурпуру.

Центр ада — сад Эдема. Центр солнца — черное золото луны. Центр ветра — росток ливня. Не ищи закономерности. Тогда синтаксис лишь пряжа, которую ткут мойры из безвидного намерения. Судьба слова никогда не равна самой себе. Только в высказывании возможно умолчание. В центре предложения глагол предложения. Вначале была рыба, почему же ты нем, как слово? Кофе тяжелей камня. Центр солнца — зияние зрачка, ровное сияние незримого — утро, вечер — беспрепятственное, как если бы не быть затылку либо как если бы ось слежения пронизывала тебя насквозь. В снижении снега. В предложении «мы возвращаемся» окислами искрится риторическая фигура предположения. Смерть понимается как совпадение с собственными границами... словно пространство, западающее за очерчивающую его линию времени. Я знаю, как это происходит. Вечер и ветер отделяются, отдаляются в противоположные стороны. Центр разделения — ртутная капля, разбитая в тягучем падении. Перечисление образов, не оставляющих воображение на протяжении жизни, являющей собой один из тех же неотвязных образов, замыкающих себя в себе. Оболочки. Невыносимо, как ненаписанная вещь. Следует: *when faces fade and the touch no longer. Yes, retry louder! There is the great variety of relevant*

options: 1) it... brings; 2) it takes; 3) it intrudes; etc. Весна в Нью-Йорке, а остальное — шелковый путь дымного неба, затекающий в гортань города, заплетающий углы крыш и тени их в неустанном движении в спящие углы голоса. Мы были люди, а теперь глаза. Петляя. Тяжкое коричневое золото рассвета, восстающего к концу дня по ту сторону рая. Но и разительное разделение в одновременном бытии шума и свистящей тишины, раздираемой отраженным светом, отточенным и стремительно-недвижным, встречающейся лишь в разреженном вихре меловых скал, — но кто видел такие?

Находит нас шум вновь. Нет, отнюдь, я вовсе не отвлекаюсь. Поверь, быть может, я еще с большим вниманием вглядываюсь в твои строки (номера страниц проставлены моим карандашом, как бы не случилось путаницы!.. много позднее, в этом нет сомнений, и все происходило в то безвременье — ни зима, ни весна — во всяком случае, так мнится; либо узнать, что произошло) — что они сейчас для меня значат? какова логика их чтения? та, что и чтения оконного пейзажа в сомнамбулическом созерцании? но твои записи были письмом, посланием, полным шероховатостей, кажущихся недомолвок, сотканых из желания неких невнятных рассудку доказательств, которые, не обнаруживая себя, должны были бы войти в меня, произведя изменения, которым, предполагала ты, предполагаю я, должно было тайно осуществиться во мне — сокрытость, проницание, превращение. Так вино входит, вводя во вселенные клеток иные комбинации распределения настоящего-бывшего совершенно-будущего сообщение (как бы иным броском костей) о том, что тебя нет, что это менее всего ты — однако смешно то, что при этом надлежит знать, питать уверенность в непреложности самого «ты» как в условии закона (замены? замещения?), основанного на «если» лежащего амальгамой подоплеки любого «есть», отсчитывающего твою реальность именно с усло-

вия, предположения, каковым для тебя было, казалось бы, совершенно бесспорное о том, что я есть, и не только есть, но буду; иными словами, всегда буду подчинен настоящему времени твоего послания, письма (что-то вроде интимного дружеского дара миниатюрного бессмертия, наподобие карликовых кленов в настольных японских садах) в его чтении, — продолжает моя мысль, отстраняясь строк, опираясь меж тем на вполне отчетливое «воспоминание» того, что на самом деле происходило, было, а не явилось невесть откуда, а к тому же вряд ли кому придет мысль подбросить, например, в ящик стола вздорные записи подобного рода, хотя и это возможно, как, впрочем, и то, что принадлежат они мне, но что все же маловероятно, однако теперь твоим письмом управляет скорее не мое ответствование, невзирая на прямое ко мне обращение написанного, еще только пишущегося для тебя — и впрямь, кому, если не мне, говоришь ты? кто является «если» твоего послания, условием его написания?

В предложении «мы возвращаемся» не содержится возвращения, поскольку любое возвращение подразумевает изначально «повторение» но ответь, что повторяется! — наша первая ночь, мои мадригалы, прозвучавшие впервые великим однообразием окружающего меня, монотонность которых сочли угрожающей и противоречащей «промыслу Создателя»? Содержится ли принцип повторения в самом «промысле»? Тысячи Джезуальдо идут мне навстречу по этим петляющим коридорам, и это, согласись, может утомить любого. Но что повторяется? — сад? пустыня? ночь?.. как если бы затылку быть, — кто повторяет, кто врыт по горло? кто вторит? Обучение (обручение?) иному знаку, падающему бесконечно не на свое место? Но как, скажи, называлась тогда «дверь»? Дверь тогда называлась дверью. Ложь. Сомневаюсь. Лил ли тогда дождь? Описывая и действуя. В садах дона Гарсиа Толедо по папоротникам и лопухам глухо бьет вода. Передвижение темной бес-

полой фигурки в калейдоскопе пейзажа. Изменяется не только конфигурация клавиатуры, но при необходимости и конфигурация самого знака. Набрякшие поля широкой шляпы, разошедшиеся полы пальто, вода хлещет за шиворот, обувь также участвует в представлении пейзажа и погоды, испуская при каждом шаге фонтаны воды. Он проходит мост, ее рука не сопротивляется. В воде, когда волосы облипают лицо, когда опуститься на колени, как опуститься в кипящую магму прилива, несущего грязь, щепки, пену, вращая все в грохоте глухоты и когда пропадает последнее — различие между руками и кожей. Мы были люди, а теперь вода. Затем: как благоухает воздух мокрой дубовой корой и лиственной прелью! Пурпурно-черные плоскости прогулки. Ответь, любезный моему сердцу Торквато, каковой должна быть поэзия, чтобы музыка, пожелавшая вступить с нею в союз, смогла избежать обольщения именами и вещами? Чтобы облегчить задачу, я задам вопрос иным образом. Не ощущал ли ты подчас в глубине души некоего томления при виде того, как твои слова — о, не помысли, будто с небрежением к ним отношусь, отнюдь; трогательны они вполне... — каковой бы силой привычки воображения (превышающей нашу тварную природу) ни исполнялись, по прошествии времени не значат ровным счетом ничего? И то сказать, стал бы ты продолжать свои писания, например, когда бы дело обстояло по-иному? Удовольствовался бы ты какой-либо одной-единственной строкой, несмотря даже на то, что она не что иное, как обыкновенный сколок написанного, — или же самому необходимо убедиться в том, что, трижды будь Иерусалим небесным, семижды украшен ожерельями фигур, проточенных водой терпения, время (а тут — в чем для тебя его ныне мера?) стирает любой смысл явленного, оставляя только слова, значения которых пусты, скучны, докучны разуму и тем не менее загадочны, потому как, любезный Торквато, если и прав Аристотель и мы действительно обречены подражанию как единственной

возможности не просто повторения, но познания, то лишь только одно, как мне думается, заслуживает таковых усилий — подражание исчезновению, так как именно в нем видится мне, и не взыщи, вероятность приблизиться к тому, что есть подражание... Да и есть ли такое, наконец? Но я задаю вопрос не столько тебе — не секрет, что иной раз и я с немалым удовольствием сочиняю вместе с тобой — ... сколько себе, потому что при всей бессмысленности таких занятий подозреваю, что поэзия, вопреки своей (но кто сказал, что мы говорим словами?) природе или же, если угодно, благодаря ей, то есть вопреки и благодаря одновременно, ближе всего находится к тому, чтобы схватить то, что она и есть в своем нескончаемом нет. Конечно, но прежде всего меня интересует, каким образом музыка (а ты обязан отдать должное моей привычке держаться в тени, так как я вовсе не притязая на нечто из ряда вон выходящее и достаточно скромн в своих опытах) становится слову его временем. Каким образом время это дается нам нескончаемым и с неуследимой в человеческом восприятии скоростью изменяет качественное существо слова, то есть намерения его быть таковым, а не другим, связуя нечто, что оно должно представлять, с тем, что отвечает ему, возникая в рассудке и в том, что рассудком управляет? Я создаю свою музыку как нескончаемую субструктуру, на сцене которой разворачивается постоянство твоих слов и где нет ни значений, ни смыслов, постольку, поскольку количество превращений исключает вероятность их существования в пределах конкретного значения или же числа таковых.

Но прежде всего исчезновение. Пожалуй, так. Возможно ли изобразить смерть, обходясь без паясничанья и «изобразительной силы искусства»? Или же смерть (нет, не свою) другого, каковая есть, а мы условились, нескончаемое совпадение с самим собою и подражание где лишь подражание подражанию? Вот еще некоторые примеры

того, что слышишь ежедневно, чего, однако, не понимаешь совершенно: «знание неизбежности смерти». Не предполагает ли такое знание отсутствие вообще какого бы то ни было знания? Либо — черпают ли его из все удлиняющей себя вереницы образов умерших? Страх? Я не ослышался? Но страха чего? Умирал ли я до сих пор? Если нет, можно ли страшиться незнаемого?¹ Однако если страх существует, следовательно, существует знание²... Но как узнать, что я такой же, как они, а не как попугай или кора тополя, ракушка на берегу? Родство. Капля воды. Стекло. Лист бумаги. Вещи. Вещь также: тувель, 1, рагу, + или —, синее, благо, C:\word\word.exe\phosphor и так далее. В ином случае: Бог. Его «знание» (мною) им предопределенное (о нем) знание во мне. То есть душа. Но, ежели она полна изначально, так как должна быть отражением полноты, откуда в ней страх? Но существует ли различие между страхом и трусостью? Однако покуда мы мирно и безмятежно пребываем в устойчивом пространстве вещей, их имен. И что тоже невозможно, потому что я есть исчезновение, поскольку конечность моего существа и есть мое существо, а не его атрибут. Вместе с тем конечность никоим образом не может восприниматься мною как статус, стазис, но как факт самого процесса исчезновения (или, другими словами, жизни) меня самого, что в свой черед можно рассматривать единственным обоснованием моего «Я» сущ(е)ствующего изначально воспоминанием, содержащим воспоминания самого себя в единице времени, убывающей до бесконечности и по отношению к которому я существую как иное в процессе исчезновения моего «сейчас». А потом, возможно ли говорить о чем-то определенном, постоянном как о том, что есть?

¹ Это, по-видимому совершенно особое ощущение, особый страх. Это даже не страх, но головокружение, сосредоточенное в миг, срочность которого вне сознания.

² Есть ли смерть объект, постигаемый в опыте этого объекта?

Например, о все том же «Я»? Не уместней ли рассуждать, что есть только то, что не позволяет этому «Я» быть таким? Однако откуда эта впечатляющая ловкость, с которой мы высказываем и обмениваемся мнениями, историями и примерами? Пользуясь услугами грамматики, накладных бород, струнных инструментов, наделяем их лицом, иными словами, определенным источником, исходной точкой, начиная с мысли о рождении и зеркалах. Тут-то и приходит в голову позволительная аналогия, которую можно провести с одним предположением, изложенным погожим октябрьским днем за чашкой кофе на Литейном проспекте одним, к сожалению, не известным тебе странствующим астрономом. Коснувшись... да ты не слушаешь меня! Очнись! Коснувшись теории большого взрыва (ну, а мы в той или иной степени, рано или поздно все возвращаемся к идее начала, хотя бы для того, чтобы не забыть, о чем идет речь в тот или иной момент), он заметил, что эта теория, столь долгое время бывшая в обиходе единственно вразумительной (раздражающей и по сию пору умы), обязана во многом представлению мира как некой картины — нечто вроде любви к метафизической раме дедушкиного портрета, без которой портрет кажется (не понять почему) лишенным взыскуемой значительности... лицо как лицо, как тысячи, как твое, к слову сказать. Но существует мнение, будто такого взрыва вовсе не было, i. e. есть «ни-что» или «до-что», а «что» (как различенное, как вопрос) является лишь риторической фигурой, метафорой, позволяющей выделить из настоящего настоящее спрашиванием о нем. «Большой взрыв» => «Устойчивое состояние». Подобно моему исчезновению, которое в итоге невозможно помыслить (если не считать рождение единственным фактом, вписанным в мою историю, к тому же не мной), понять, потому что я таковым не являюсь. Наверное, тут-то язык и формы времени, создаваемые им в сознании, оказываются беспомощными вполне, — что может значить прошлое, будущее, настоящее для находя-

щегося в неустанном ускользании? Но я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Уверен, что осень, подобно полнолунию, снова беспокоит тебя. Не возражаю, ветер пронизывающий, холод искусительно вкрадчив, старость очевидна, как доводы монаха в пользу бессмертия души, по дорогам государства бродят толпы астрологов, гадалок и предсказателей, к тому же вино не только не согревает кости, но и делает бессильно-болтливym; поутру же мучит изжога и просвещенные женщины вызывают смутную печаль. Итак, решено. Завтра — охота!

Как после покажет расследование, на охоту дон Карло отправится много позднее. Кто писал письмо с объяснением любви? Кому принадлежит почерк? Кто надоумил пригласить дону Фабрицио в дом? Кто еще ранее направил стрелу беспощадного лучника так, что она соединила два сердца? *Dolcissima mia vita a che tardate la bramata aita? Credete forse che'l bel foco ond'ardo sia per finir perche tocete'l guardo?* И точно так же предала растерзанию их тела, не дав возможности тем злополучным часом спасти в исповеди души, когда дона Джулио Джезуальдо снесла зависть, скрываема я столь продолжительное время. Или же страсть воспламенила его рассудок раньше? Как бы то ни было, стоит осень, и по ночам примораживает. Стук копыт разносится по всей округе. Издохшие от холода и голода бездомные (а также предсказатели, самозванцы, разорители могил, солдаты и поэты), не успевшие добрат ься до города, кое-где валяются вдоль дороги горами падали, безмятежно подставив то, что было лицами, лучам октябрьского месяца. В чем заключается различие между Пастернаком и Мэрилин Монро? Ветер то и дело доносит смрад горелого мяса. Здесь гармонию образует замедленное движение светил. Боль эффективно стирает способность воспринимать время¹. Страдающие нации трудятся

¹ Иногда боль подавляет, подобно устремленным ввысь сводам собора, спрессовывая в горчичное зерно восторга. Восторжение или исторжение?

над уничтожением истории. Апокалипсис как инструкция. Санитары леса. В этом месте запись поворачивает в неопределенную сторону, следы «пера» расплываются. Пир становится чем-то бесформенным, в чем невероятно трудно углядеть круги восхождения от простого наслаждения видом прекрасного тела к любви, управляющей созерцанием. Чем отличается Пастернак от Каспарова? Я поднимаю телефонную трубку и выслушиваю очередное (но теперь все реже и реже) приглашение «выступить» не то чтобы с докладом, но хотя бы с коротким сообщением о «том, что происходит с культурой в постисторическом обществе». В прелогическом. С моей точки зрения. Или же что происходит в поэзии. Всякий раз, пробормотав благодарность, уходя в ванную, уставясь там в зеркало на черное и беглое серебро муравьев и собственные обвисшие щеки, принимаюсь лихорадочно перебирать какие-то обрывки смехотворных мыслей, сродни которым обвисшие щеки; начинаю ворошить маловразумительные осколки фраз, одновременно пытаюсь понять, почему одни из них тут как тут, а другие исчезли, оставив невразумительное, однако навязчивое воспоминание о себе, которое, скорее всего, обращает мое внимание именно к этим не совсем пробелам, отвлекая от реконструкции всего накопленного мусора, было зашевелившегося при звуках «приглашения». И я хватаюсь за спасительное, испытанное начало: «я ничего не понимаю». Но и это начало мертво. В его чертах не угадать прежнего восторга и упоения в предвкушении сочинения того, что каким-то образом косвенно сумеет доказать, будто на самом деле я что-то понимаю. Но я продолжаю думать о том, что ничто никогда во мне не менялось. Что каким я был — гранью между «ни» и «что», — таким и умру. И что смерть или то, что я умру, ничего «во мне» не изменит. Что вся моя жизнь подобна стене маятника, на которой забавы ради я только что выскреб ногтями: «в чем различие между Александром Блоком и тенью на пустой странице?», оставаясь, по сути,

глубоко безразличен к тому и другому. Там, у зеркала, в тишине, расшитой скрипом труб и вентиляционными всхлипами, меня и посетило воспоминание об одном знакомом писателе, которому не было «все равно» многое.

Волновала ли души людей идея свободы? «У меня к вам просьба. Не могли бы вы предложить адрес предприятия, которому я смог бы продать свой скелет? Мой скелет без изъянов. Крепок, так как я занимаюсь атлетической гимнастикой». Люди, и в этом нет ничего странного, публикующие в газетах такого рода письма, меня также понуждают рыться в голове, как бы в поисках воображаемого им ответа. Действительно, ирония, выказанная публикацией и последующим «смешным» комментарием письма, предполагает, что они-де, публикующие, уж наверное знают, что им делать со своим скелетом. Иными словами, публикация простирается жестом, указующим лишь в одном направлении, в сторону Порядка, в пределах предписаний которого скелет либо закапывается в землю, либо сжигается (последнее считается многим хуже), а само предположение иного порядка (вплоть до недоумения вообще) подлежит обозрению, то есть изоляции и вы-ведению на сцену, под стать явлению заведомо смехотворному и, стало быть, не соответствующему норме, а-со-общительному, вследствие чего — угрожающему, иными словами, посягающему на собственность распоряжающегося закона, предписывающего не только нормы обращения со своими скелетами, но и норму Надежды, правила Блага (см. разнообразные модели воскрешения) и, не исключено, образ Бога. Какое место в твоём словаре занимает слово «Флоренция»? Какие из банальностей кажутся тебе наиболее банальными? Так называемые тоталитарные режимы суть продукт неукоснительной веры в Благо исправленного. Поэтому философия как одна из разновидностей такового (или как высшая степень банальности) у Платона в итоге становится государственным языком. Но что

таят в себе восхитительные зерна полного краха всех таких упований? Нелишне вспомнить тех, кто на вопрос «как поживаете?» начинают подробное описание своего «поживания». Я поживаю нормально. Я слушаю радио. Я слушаю по радио автоматные очереди. Я слушаю, как астрологи и гадалки, шествующие по дорогам, гласят о наступлении эры Водолея. Я слышу, как смердит падаль и поскрипывают виселицы. Я слушаю историческую передачу. «Место» — эхо. Мать тоже эхо. Раньше я думал по-другому. Мое (о)писание также означает нечто вроде тупого повествования в ответ на вопрос «как поживаешь». Я поживаю нормально. Только что я отдал большой палец на ноге, неудачно перемещая стул подле письменного стола. Письмо более чем тотально. Оно абсолютно бессмысленно и не приложимо ни к чему. Оно всецело секретно, как большой палец ноги. Если уж и говорить о социальной обусловленности письма, то оно всегда, без исключений, есть результат социального распада. Что мне откровенно нравится. Под стать сухому листу ускользает нескончаемо из сада пустыни, из центра ночи, к воде падая, будто нет и не было у пишущего ничего иного, о чем бы следовало говорить в отделении/отдалении собственных границ, подобных пониманию «центра», в котором ты — ртуть, роса разделения, пресуществования в испарении. Далее сад разрастается темнотами безмолвного ослепления. Расширение зрачка. В половодье безначального тишайшего шума, вопрошаемого нежной радугой звезды.

Это происходит по многим причинам, благодаря которым словно догадываешься о том, как это произойдет: это — и тем не менее концентрическое сужение, уплотняющее предполагаемое пространство в выпуклое место выявления того, что благодаря тем или иным причинам должно быть, нет, обязано стать, появиться и во что предопределено возвратиться как в неминуемую форму, сущую в конечной области значений, неодолимо затягивает во вращение, не

приближая к происходящему. Неясность только что сказанного не особо удручает. Но уверен ли ты, что дверь тогда называлась дверью? Мы могли бы избежать не столько боли, сколько забвения, когда бы ни разу не упомянули о «человеке», если бы свое вздорное так называемое знание... Не содержится никакого возвращения. Радуга звезды лучится ледяной подковой в безвидной розе ветров. Только половиной, тусклой четвертью, смутной восьмой затакта в безвоздушном пространстве черного отсутствия цвета. Не возражаю, ноябрь в школе удручал. Толку-то? А как насчет первого сексуального переживания? На последнем этаже у чердачных дверей или внизу, в уборной, облипая, висел промозглый сырой дым выкуренных в перемену сигарет. Жизнь микрокосмоса пульсировала не меньшим величием, чем бетховенская глухота или мечта о поджоге школы в одно ветреное утро. Глиняная река разрезала город на две неравные части. На окраинах жизнь очертаний складывалась в пустынные повествования, наподобие военных учебных плакатов: погрузка лошадей в вагон или правильное расположение полевой кухни на фоне онейрического синего света. Глиняная река по вечерам накрывала еврейские кварталы и остывала в пальцах уснувших, как тяжкая спутанная пряжа одного-единственного знака. Цветы цвели. Ходили рассеянные, старые слухи, бормоча под нос о сокровищах казны Таращанского полка, утопленной Богуном в реке под Сабаровом. Турецкие цехины, сог ardens, восковые останки крохотных немых наложниц, коралловые монисто, сморщенное серебро наперстных крестов заодно с порохом и огнем спали на жирном дне, спеленутые илом, как осокори рынка дремой в полдень. Однако безразличие было еще более могущественно, нежели жизнь элементарных частиц, одновременно существовавших в сознании как на пороге научения времени, так и в слабом дрожащем представлении их превращения в радугу морозной звезды, восстававшей еженощно в сизом воздухе сумерек над акацией через дорогу. Там и сей-

час, вероятно, можно встретить крадущегося подростка с пьяными глазами слепого, для которого дверь — отнюдь не дверь, небо — не небо, он сам — вовсе неизвестно кто... так, счастливый мусор, плывущий в повечерьи. Во всяком случае, я, внезапно охваченный сентиментальным порывом, понимаю, что пишу именно для него, для того, кто никогда не прочтет написанного, потому что нас разделяет нечто более неодолимое, нежели время, и все-таки — для него, чтобы знал: выхода нет, а стало быть, никто и ничто никогда не вынудит его быть иным. Порой с вокзала тянуло угольной гарью. Назидание или Ницше? От соседки по парте, преимущественно по утрам, разило потом, что не отталкивало, а, напротив, вызывало неизъяснимое (и теперь тоже необъяснимое...) желание вытащить ее за руку из класса, прижать к стене, схватить запястья до боли в собственных пальцах. О, эти утренние школьные эрекции в створах голосов, бьющихся в стеариновых ушах гула. Голоса мира. В соседнем доме опять раскричался идиот. Его тряпичная розовая голова видна отсюда, из-за стола. Это война биологическая, это война совершенно различных биологических видов. Поэтому в данном случае неприменимы категории добра и зла. Требовалось найти четкое доказательство того, что ты и твоё тело — одно и то же, необходимо было пережить это совпадение во всей мыслимой полноте, но так, чтобы она также поняла это, поняла, как необходимо какое-то высказывание (незатейливое сочетание слов, составленных в магическом порядке?), как нужно, чтобы кто-нибудь в своем слухе дал эту форму. Ожидание формирует.

Осадок, известняк, раковина, кровь.

Но и такое вождедеющее ожидание в другом (догадка существовала) себя другого — всего-навсего веха, черта, которую в свое время нужно переступить. Засохшая кровь.

Невероятно странная тяжесть и жесткая несгибаемая замороженность подстреленного зайца¹. Какие сны видела она, глядя на смальту географической карты или в окно, а там шел снег, дожди; проваливались вниз, мимо чернильно-коричневые листья вязов. Мне перестала сниться река, солнце в несказанной синеве, разбивающее луч за лучом о сахарную изрытость раскаленных надгробных плит, которыми была облицована насыпь взорванного в войну моста. Идет снег. Вопрос. Ледяная леса отвесно уходит в темную, затянутую фольгой неба поверху воду. Вокруг столько смешного, что не осталось никого, кто мог бы смеяться. Струна.

Желание рождало легкую, приятную тошноту (сродни той, какая застывает, случается, когда сильно ушибить колено) и безразличие, как если бы совершенно очевидное кончалось, не привнося ни утраты, ни покоя. Сомнамбулически разворачивали вещи свое одинокое бытие, и мы точно так же собирали в свои сумки какие-то невнятные книги, в которых шла речь о полезных ископаемых, тангенсах... погружаясь в беспредметную задумчивость оцепенения, исполняясь силой отсутствия каких бы то ни было планов на будущее (вот где, в «будущем» залежали залежи памяти, о которой ты пишешь мне или писала), а потому, признаться, очень теперь трудно разобраться в твоём почерке. Кто это — мы? Допустим, вторая половина следующей страницы имеет определенное значение. Имела. Сейчас, положим, она для меня бессмысленно значима, приобретаемая от того очарование загадки, впрочем, совсем несложной. Знаешь, о чем я? Перекатывая во рту влажную гальку признаний и звуков: *but for me the memory never fades* (вот оно что! это, да, именно вот это — что бы оно могло значить?) *it in fact is not memory at all...* Да? Но говори, говори... не останавливайся. *For you memory is very much*

¹ Смерть как высшая степень эксгибиционизма.

alive only frightened continuously by the idea that perhaps you will not remember... can my face still sure in your eyes. May be it is your duty to forget & mine to remember. Немая панорама дергается. Проекционный фонарь с треснувшим стеклом: сквозь царапины, ссадины, трещины льется подкладочный свет, свет основы (означает ли это, что, открывая каждый раз рот, каждый раз заново учусь говорить или что всякий раз, прикасаясь к бумаге пером либо зрачком к проекции страницы на экране, начинаю повествование заново?). Прости, мне необходимо сию же минуту вернуться на те вокзалы, уйти в самый дальний конец перрона, где пробивается сквозь треснувший асфальт лебеда, и тщательно ощупать холодными руками свою голову. Совпадение тела — таким вот, стало быть, образом — с собственными границами, с собственными очертаниями. И ты только дыра в теле смерти, куда устремляется мир, сквозняк любовного вскрика, и он, конечно, не что иное, как легкий хрип поутру, подобный бахrome стекляруса, бесцветно цветущей на кромке слова: «разве известно тебе, кем ты была/был для меня!» Поражения нет.

Несомненно, всякая метафора социальна в своих предпосылках. Принцип управления машиной метафоры предопределен изначальным отбором не только составляющих ее тело, но и предвосхищением бога, из нее исходящего. Но и само выражение располагается в необозримых полях контекстов, в полях силы, в узорах натяжения и разрывов — моего опыта, в масштабах которого я не отдаю себе отчета. Даже пол становится метафорой в бесконечном ветвлении замещений. Попытка высказывания — только попытка. В русском по-пытка, по-«(до)знание» давно насилие или же наоборот: насилие откровенно связано с до-знанием. Не редкость мечта о третьем, всепримиряющем поле, хотя бы для того, чтобы находиться вовне по отношению к известным двум. Не слишком ли много ангелов и серафимов населяет русскую словесность? И тут же три ме-

тафоры (из нескончаемого ряда разворачивающей себя реальности [истории] духовной практики, при этом «духовное» не берется в кавычки), взятые наугад из того вороха, который разгребается всякий раз после очередного «приглашения» при одновременном разглядывании в зеркале ванной и осознании, хотя и поверхностном, что я есть тоже нечто вроде такого вот вороха, в котором что-то продолжает думать о том, что история воспоминания это не история риторики, но монотонная стена, под стать стене маятника, тяжба с собственным языком, с логикой, управляющей и этой тяжбой. Вот, к примеру: «Однако в этом и содержится благо языка — именно язык бросает нас к вещам, им же означиваемым». И Мерло-Понти тотчас уточняет, уклоняясь, о двух языках, о первом, существующем постфактум, институализирующем, стирающем себя во имя достижения значения, которое он переносит, выражает, и о втором, творящем себя в выражении, смыывающем себя в знаке: *la langue parle et le langage perlent*. Чему откликается более решительная формула Лин Хеджиян: «Слова пускают любовные стрелы в вещь», понуждающая приметить в банальности философского языка нечто непредвиденное: «Я чувствую себя затерянным, утопленным в языке, и когда пишу, то ощущаю, что иду на дно, но не могу его достичь». Философский дневник Бориса Гройса заканчивается первыми строками стихотворения. Философский дневник перестает быть таковым.

Потому что места нет, а пресуществив себя в таковое, не увидишь ни его, ни себя в нем либо по отношению к нему. Мы видели во снах, как горели леса. Полынь прорастала во рты, даруя латунное дыхание душе, отражавшейся (будто немислимо тонким, до полного утоления жажды, жалом лезвия ссечено было звучание ее коры) в кипящем зеркале протеинов. Иней — убранство сердца и рук. Как поживаете? Что нового? Есть ли это уже в опыте, прочитывается ли тень этого на известных событиях, стеблях,

вещах? Сколько воды скопилось в порах известняка? Кто они, сосредоточенно следящие цветение ветра на крыле коршуна, созерцающие миграции муравьев? Ведешь ли ты дневник? Веришь ли ты, что воспрянет Русь и снова весело застучат по деревням топоры? Что подымут из домовины Святогора? Что уедут все евреи? А куда уедут? Что еще ох как да раззудится плечо, размахнется рука? Что сейчас кризис цивилизации? В то, что воскреснут отцы? В то, что дадут еще одну Нобелевскую премию? Что красота спасет мир? Что побудило тебя думать о Джезуальдо? Кто они все... Эти сумерки... эти тяжкие лица, которым неведомы ни ложь, ни истина... очереди за сигаретами... хлебом... спичками... эта неизбывная слякоть и загнивающие на лету птицы, роняющие на землю червей, белоснежных слепых червей ненависти и нищеты, ставшей нам Галеем. Кому будет понятно это спустя пять или семь лет? Рай исторгает свое содержимое. И что это будет означать для тех, кто потом, после нас? Где располагается территория сравнений? С чем? Или зачем. Сможешь ли ты понять, что значил вот этот человек десять лет тому назад? Кто он? Торквато Тассо рыж и неопрятен. Отирая руки о штаны, пробираясь сквозь заросли привычной головной боли, он мгновенно соображает, что к чему, куда гнет приютивший его Джезуальдо. Он, а скорее всего, ему так кажется, ловит на себе ничего не выражающий взгляд донны Марии. Тассо на мгновение видит себя со стороны. Голова, напоминающая нечто садово-огородное, осеннее. Он видит свою непомерно увеличенную руку, принадлежащую Торквато Тассо, но не ему, которому явилась в этот миг его рука: он сравнивает свое состояние со сном, когда человек видит в сновидении самого себя. Соображая тем временем, куда все же гнет дон Карло Джезуальдо. Поверхность воды на несколько минут розовеет, затем у кромки камышей ненадолго разливается прозеленью, а через секунду-две в густо сходящейся мгле остается дотле-

вать бирюзовое с желтизной облако, потерянное ветром. Блевотина Рая — только блевотина.

Его поведение за столом вызывает отвращение. Первый конфликт происходит на третий день прибытия ко двору князя. Олеандры. Арочная перспектива, крошащееся кватроченто. Одурающая духота, старость, юродство. Что такое сталин или хомский? Троцкий или гердер? Что означает имя собственное? Теория оговорок предполагает язык, существующий до языка, в котором случается оговорка — сколько таких языков предшествует один другому? «При анализе формы, в приближении к форме, мы открываем следующие формы». Есть ли в твоём дневнике запись, где говорилось бы о единственном языке, состоящем из слоев, как из различий: но что же тогда оговорка? Не есть ли она обыкновенное составляющее тела метафоры, источник шествия богов — «я»? Объединяет ли их, как и прежде, проект освобождения человечества? На следующий день под стать ожогу вод легко вспыхнули в стекловидном тумане липы. Медузообразная власть высказывания или власть дискурса распределяется в грамматике и риторике в виде некоего напыления намерений, осадка, в свою очередь, становящегося притягивающей основой оседающей пыли. Разве природа сообщительности не природа разделения и передачи власти, но не звездному небу, а самой себе в акте уверования в настоящее — время, действительность сходятся в точке завершения перспективы — передаваемого, либо веры в трансляционную симметрию? Грамматика, мой Тассо, и есть объективация власти, собственно, она и есть единственная власть, которая гарантирует реальность существования высказываемого в установлении реальности извне, потому что реально только то, что может быть рассмотрено не только мной одним, и скорее в последнюю очередь мной... Я ничего не представляю. Поэзия нереальна. Ее нет точно так же, как у нее нет ни власти, ни гарантий, ни места. Вратами в бессмертие ос-

таются губы, рот. Система акустических зеркал. Рот, требующий немедленного признания того, что он произносит. Произносящее, говорящее, бормочущее, следовательно, нескончаемо впитывающее (питающее?) тело, чья сущность определяется только все тем же «возвращением» отраженного и как бы уже преображенного/преображающего высказывания.

Но лишь только погоня, лишь только нескончаемое опоздание. Тогда «я» и есть нескончаемое возвращение в отдаление. Поэзия точно так же затеряна во времени, как время в ней. *It is my duty. Isn't it?* Он спрашивает, как соединить достоверность окружающего мира с достоверностью того, перед чем он оказывается. Упреждение на параллакс, говорит он. Это не вопрос, возражает он. Вопрос не в этом, продолжает он. В каком действии? — долетают обрывки разговоров. И это не вопрос. Вопрос в том, настаивает он, как избежать, например, того, что завтра тебя убьют? Вопрос ставится не потому, что ты боишься сдохнуть, остекленеть, сгнить, стать холодным, негнибачимым и отвратительно тяжелым, а исключительно по той причине, что аргументация тех, кто может это сделать, для тебя изначально неубедительна. Как любовники, скользящие неутомимой нитью разрыва, стирающего какие бы то ни было предпосылки, нитью, свитой из волокон слабости и силы, оговорок, рода, не доступных снам сновидений. Дополнительная задача заключается также в том, чтобы изгнать из словаря такие слова, как «пространство», «время», «небеса», «ангел», «история» etc. Оставив другие. Изменение тезауруса — синтаксическая операция. Повелительное наклонение не что иное, как преодоление собственной глухоты. Власть — результат поражения центров, ответственных за слух. Потом они горели наяву. Однако мы шли мимо. Как будто ни огня, ни углей, ни страха. Как если бы из огня, углей страха. Воображение не прозрачно. Оно только «прибавление ночи», где сказанное никогда не

есть то, что оно есть. Власть высказывания — в полном отсутствии таковой власти. В признании бессилия слова, которого нет и потому нет ни его силы, ни бессилия. Чтобы сказать тебе о любви, мне будет достаточно нескольких известных лексем. Тропа — c:\word\wrt\phosphor > nul. Песчаная дорога. Формы, скрывающие формы. Воровство яблок в садах, похожих на колодцы в лунные ночи, освещенные сферой некоего гула, низкого, невнятного. Скорость облаков не совпадала с представлениями о законах их движения в полях земного притяжения. Количества словаря не совпадают со скоростью смещения единиц. Тогда, продолжаем мы, поэзия, вероятно, есть постоянное несовпадение горизонта, возбужденного желанием языка с пределами желания. Мы всегда меньше сказуемого. Это «всегда», это пространство между высказыванием и говорящим угадано Паскалем. Оно и является «погружением, утоплением в нем» в мечтании о дне... как о дне, как о свете, которому будто бы противостоит тьма языка. Влажный фосфор горит дымными цветами там, где распадается ночь на росу, тени и бледный блеск. Поземка.

Снега исполнено яблоко, как и полынь, поившая рот, направляя ростки в каждую клетку незримого, пульсирующего за порогом зрения, но чья дрожь отзывалась в орнаменте знания, уже всегда опережавшего то, что лишь предощущалось. Леса утрачивали смерть, однако ни единому дереву не довелось застать нас, поскольку ни единой трещины, ни единого зазора, ни единого изъяна речи невозможно было сыскать в постоянно бывших, повторявших себя с завидным упорством машины, испорченной надеждой, сценах сотворения мира. «Время разрыва струн» в перспективе автобиографий предшествовало времени их натяжения. Инверсия. Совпадение с именем — внезапно стал отзываться — совпадение с дырой самого себя. Формы, вскрывающие формы. Чувство формы, настаивающее на вскрытии вен. Скука, ничего не вскрывающая. Лимо-

нов прав. Но дело в том, что между описанием и письмом пролегает территория, которую не преодолеть пишущему. Его первая в жизни фраза (мной был уже однажды принят опыт ее описания в романе «Расположение в домах и деревьях»), записанная в возрасте 9 лет в записную книжку в горько пахнущем столярной мастерской переплете, подаренную матерью как-то вскользь, мимоходом, рассеянно: не до того (карандаш был похищен из отцовского святилища, с письменного стола, и неизвестно, что больше томило, слегка зеленоватое, рассеченное клетками поле крошечного листа, утрачивавшего свои границы в тот же миг, когда взгляд падал в его молочное, курившееся туманом зеркало, или маслянистое в камфарном благоухании кедра жало карандаша, хотя, признаться, карандаш принадлежал матери, а записная книжка была взята с отцовского стола, где она покоилась у бронзового медведя, или же, возможно, все обстояло совсем наоборот — в действительности, совпадавшей с воображаемой реальностью, стояла прохладная осень, когда впервые с удовольствием надеваешь поутру теплые вещи, невзирая на то, что они совсем не по сезону, но внутри как будто что-то устало от лета и тянется к морозу, к стылому, как свет операционной, солнцу, ломкому, словно первый лед на губах, и тусклому, точно ком в горле, когда весь обращаешься во внимание, глядя, как раскалывается о стену света птица, под стать зрачку — на две линии, на линию горизонта и другую, линию кромки берега, шипящую, блуждающую, как человек с заведенными горе глазами в толпе, от которого несет застарелой мочой и привычным скудоумием, шевелящий губами, подсчитывающими все во всем, повторяющими с машинальной страстью все обо всем: лучше всего писать о том, чего не было, о детстве и о том, чего никогда не будет, — о смерти, отступающей, подобно линии воды, никогда не достигающей берега, шипящей, уходящей и вновь настигающей то, что относительно незыблемо, переходя в зеркальную гладь песка, ста-

новящегося на глазах матовым, как страница, чье зеркало просыхает в мгновение ока, ничего не отражая в терпеливом ожидании нового остекления речью, а дальше хрустят газеты, пустой пляж, скулят чайки, невнятное желание написать кому-либо письмо, приклеенный к обложке крейсер, несильный ветер, понуждающий, однако, вернуться, увидеть слезящийся мост, дождь, фигуру, вперед склоненную в ходьбе, в отяжелевшей мокрой шляпе, когда...), вошла со снега в пуховом платке, сброшенном на плечи, снег в волосах, отстраненный холодом сладковатый сквознячок Logigan Coty и тем же холодком потрескивающая записная книжка, в которой затем, спустя немного, ни от чего возникла первая фраза, появилась, как бы ничему не обязанная, нелепая, но и устрашающая также, потому что не только не исчезла со временем, не выветрилась с годами (как меловые скалы, раздирающие шелк нью-йоркских отсветов с гортанным сухим треском; маятник, шорох кривых мотыльковых половодий, летящая дуга воспарения и падения...) — без малого за полстолетия, не только, но, напротив, обрела некие, совершенно странные черты неотступной, истовой притягательности: «зеленая лампа стояла на столе» — споро вывела рука, не задумываясь, процарапывая твердым грифелем бледные буквы с узкими закрытыми глазами. Сонные споры. Ветер не подхватил. И эта фраза тоже. Коснулась тогда таким образом, что сегодня стало ясно — никогда не смогла бы, никогда не сможет стать историей. Она разделила на две части, как глиняная река, то, что до нее спало в неведении. Притом она могла быть другой, избрать для себя иные слова, но продолжая быть все той же, отвне и внутри, существуя по обе стороны истории, как территория между описанием и письмом, по обе стороны слова, заключая и то и другое в свою работу, превращающую меня в случай, в частности, в часть — мойру, участь. Пожирающий жребий.

Прорезь. Почему не гвоздь? Не мокрый башмак? Не пылающая пепельным пламенем свалка автомобильной резины? В самом деле, помнится, эта зеленая лампа стояла на шатком столике у стены. Более того, за окном столовой, обращенным к северу, — первый, третий, пятый — какой день кряду падал снег. Мы в состоянии выделить из текстового массива несколько групп сем в совокупности их окружений, что обеспечит поле координат, в которых производится описание и проявляются направления их наполнения. Все тише звучали голоса из кухни, где тайком от матери бабушка гадала домработнице на картах: десятка червей, выпадая с десяткой пик, обещала пьяное веселье. Мягче и бесконечней в волнообразных повторах слышался, доносясь, голос матери, говорившей в комнатах по телефону, голос, отделявший берег от воды. Тише становилась россыпь телефонных звонков, отстаиваясь в голове во все ту же схему из учебника физики — некий, тщательно прорисованный треугольник вершиной кверху, а с нее, перехватывая дыхание, отвесно летит вниз шар, прикованный цепью к такому же, следующему за ним, и к такому же, ему предшествующему, и вся эта карусель вращается в вечном движении вокруг треугольника, источая лиловый свет обреченности. Леса перпендикулярно уходит в воду. Воспой тончайшие инструменты опосредования — рыбной ловли. Я помню, пишет он охотно, как тонкая ниточка звона, вольфрамовая жилка тишины, жившая из одного виска в другой, внезапно лопнула, под стать силку вольтовой дуги, тающей во вспышке столь невероятной ясности, что только тьма способна утешить этот ослепленный собою свет, как сестра, собирающая его, разорванного на части, рассеянного во чистом поле в точку своего тела; когда я/он глянул в окно, увидел окно и там (в нем, за ним, в глазах, перед) ветвящийся долу снег, за которым (либо в котором) стояли серо-черные яблони, конечно же, совершенно другие, нежели серо-черный рисунок в учебнике, а за ними забор, но так никто, мой друг,

не выражается ныне, а возле — живая изгородь акации и жимолости, уличные клены и канавы, столб с фонарем (все это утратило смысл и движется мной по нити совершенно нагими бусинами), изрытый снизу доверху «когтями» электромонтеров и источающий разительно летний запах полуденных станционных путей, уходящих на юг, в ковыль, и тогда казалось, что в комнате слышен ржавый скрип жестяного фонарного колпака, ночного флюгера, в купели которого еженощно тлела простая, ничего не освещавшая под собой лампочка, никому не нужная в том городе, как и сам город. И многое другое, уместенное на острие иглы того, из чего слагалось мое тело, восходя и будто скользя себе навстречу, расстилая волокна собственной яви, — как на замерзших окнах, — то есть слагаясь в неубывающую (вместе с тем отстраняемую все далее) телесную жизнь, заплетаемую или же расплетаемую на желание и терпение, на нетерпение и оцепенение: порог вещей, да? где вымывает из сита разума крупницы эха, шедшего в меня же самого, пишет он, летевшего с разных сторон, в меня, которого ты позже «обводила» руками, как перо невидимые очертания букв, бьющихся в нем, начиная с кончиков пальцев вытянутых рук и до щиколоток, стоп, ногтей, руками, которым путь открывали губы и шепот, жегший дыханием, дна которому не было, как если бы не было затылка, а только две горячие рыбы бились бы друга о друга, — или помещала в свое описание, потому что не может быть, чтобы ты не описывала себе меня, когда в том, казалось бы, не было никакой необходимости. Больше всего говорим в постели, когда одни, немногословные. Что несется или остановилось перед твоим взором, что удастся запомнить из того и вернуть мне?

Но фраза, выведенная рукой, к которой не применимо «вспять», использовала первое, что подвернулось ей: слова, как бы имевшие отношение к находившемуся перед глазами, в них самих, в сознании, до — эта фраза, это мер-

цающее, ни что не обещающее предложение-приглашение (да, и тогда тоже) вкрадчиво обволокло понимание самого себя, словно вошло с другого конца — а по-иному мне не объяснить. Тема искренности звучит требовательнее и строже. Письмо. Движение Торквато Тассо по карте. Пристанище сменяет пристанище, и сознание неуклонно утрачивает смерть, под стать лесам, истощенным лисьим огнем, пляшущий отпечаток которого возвращает мысль о ребенке, неотрывно глядящем в костер, постигающем, что у него, у огня, отсутствует тень и нет центра, от которого уносит по кругам голову, как волны возвращаются в море, и уносит не от центра (только потом, много спустя, однажды утром, когда на минуту оцепенеет, не отрываясь от подрагивающего курсора, вспомнив о школе зимним пасмурным утром, ему придет в голову сравнить мотылька Чжуан-цзы с мотыльком шейха Мухиддина Ибн Араби — да смилуется над ним Создатель, — отдавая предпочтение последнему, «переставшему сознавать, где золото, а где монета» мотылька, преступившему осознание своего единения с пламенем и ставшему им), сворачивая его в невосомую кожуру, чешую, швыряя в россыпь сухим кленовым крылатым семенем, и тогда все сквозь створы пламени несется потоком подземной магмы, кипящей страшным холодом северного сияния в карстовой накипи глазного яблока, все хлещет в его два зрачка, слитые в один, как если бы язык утратил в миг постоянного состояния опору корней, растратив безвозвратно значения, как сознание — смерть, живя неуследимым испарением префиксов, окончаний. Убийство никогда не бывает «случайным» или «внезапным». Соловьиное пение в воске слуха предстает чернильным слепком в зеленом кругу тьмы, продолжать далее не представляет возможности продолжения. Центр смерти — шум. Перед грозой листва темна. Тройная мена воды, земли и огня. Метит пылью мутную зелень, путает письмо воды. Перед тем как моя кожа передаст мозгу то, что должно ей узнать (не впервые). Центр сна — пустыня.

Центр сада — сон. Центр солнца — ночь ослепления. Вон. Центр тебя — ничто, куда возвращение: игольное ушко ночи, надпись зрачка — зияния, беспрепятственное, как если бы не быть вопрошанию, но отворению, как если бы ось слежения пронизывала насквозь. Начиная движение от центра, от: сада, сновидения, повиновения, пустыни к ослеплению ночи. Сколь бесхитростно, как изумляюще наивно. Смерть — это совмещение «я» с тем, что оно является; с тем, что ускользает, подобно сухому листу от своего места, тлеющему на сетчатке еще какое-то время северным сиянием. В абсолютно пустом мире задышаться от обилия вещей и памяти. То или другое с таким же терпением, как пальцы (вспять?), глаза ощупывают разум, заносит илом зрения. Начиная ли мы свое возвращение к такому месту, так как слышали, что «влюбленные понимают возвращение как состояние, в котором любящий более не воспринимает свое «я»... Или же совпадение с именем? Твоя кровь ползет к щиколоткам, реальное превращая в собственное подобие.

Рано или поздно наступает пора отзываться или узнавать голоса, вращать в различные голоса так, как ранним утром вырастает полынь в каждую клетку головной боли, и город раскрывает во вращении свои отточенные лепестки. Возвращение, и неминуемое, к исповедям, автобиографиям, в которых, притязая на опыт, силимся (но почему мы! кто такие мы!) сорвать с себя марлю — белизна впечатляет. Кора событий, не имеющих отношения к небытию... вместе с тем покрывающих; пеленающих и сокрывающих: то, что было, заполняет время не только знания, делаю его таковым, но видение того, что в него не входит, того, что в него не включается, само собой разумеясь извне, — отпечаток в воздухе, стойкость воображения, провидящего в необязательных очертаниях облаков линии, сплетающие себя в ведомые памяти значения, ведомые забвением, — то есть тем, что есть единственное божество поэзии. Amnesia

Так же время. Сопрягается в узоры, тающие при одном помысле уловить их сообщение, таящие в таянии применение: инструкция или подаяние; но провозглашая ее бесспорную ценность. Впрямь, будучи так обрамлено, ничто не может избежать определенной прелести и значимости, особой какой-то цены, какого-то необыкновенного знания, придающего всему без исключения более чем содержание — неразгаданность, нечто от незнаемого, но становящееся от чего еще более притягательным. Разбитое колено. Тени на стене. Ужин. Вздых тетки. Вчера она встречалась с дьяволом, подстерег вечером после ванной. Дьявол не произвел должного впечатления. Вдых продернут сквозь пальцы фарфорового хруста. Слово «вышивание» добавляется с тем, чтобы пальцы не спутать с пальцами. А тут как тут укол иглы, капля. Свет на странице, где о. Но, паче того, — твои глаза потемнеют листвою, которых бежит даже тень.

От этого всего можно было давно избавиться. Однако что в таком случае ему бы осталось? Неясно достояние. Хотя о ясности вообще говорить не приходится. Согласия не было. Описание преследует определенную цель, которая заключается не в том, чтобы вторгнуться в пределы вещи, факта, но в том, чтобы активизировать предшествующие моменты желания предпринять это, и потому оно всегда обречено становиться «предшествующим» моментом. Произведение — темная лампа, точнее, лампа, излучающая тьму, помещенная в середину вещей. Сокрытие. Или изведение из сокрытости? — метафизическое восхождение к форме, существенности, существованию. Вместе с тем произвести, известить весть или как весть значит оставить что-то, в чем пребывает до срока «не-изведенное» и частью чего является изводимое в произведении. Расторжение знаменует собой любое произведение или прекращение того, что не есть время, потому что у неизведенного, неизведанного, безвестного нет времени, в котором оно

могло бы образовываться. Но поэзия обращает свою волю сквозь описание именно к этому, предшествующему состоянию. Находя и распределяя значения, связывающие виртуальное воображение с памятью, поэзия движима тайным течением в обратном этому направлении. Однако противотечение (в ней же самой, по сути, «неподвижной»), противоток означает ежесекундное начало прошлого. Но меня вновь поражает, почему человек говорит об этом, почему ему (некоторым) необходимо порой обращаться к тому, что заведомо не может найти разрешения в «согласии между познаваемым и познающим» и так далее. Итак, принцип построения пейзажа. Детали: цвет, яркость освещения, дистанция, отделяющая либо связывающая субъект речи с объектом, масштабы, наконец, реестр предметов, который также рассыпается на неисчислимы ряды условий представления иных деталей. Картезианская грамматика пейзажа — имя входит в податливую сердцевину вещи. День как бы издалека. «Состарившиеся ранее в кругах юга листья платанов... Хотя нет никакого секрета в том, как они выглядят в октябре, раскрывая кроны легкой кровью навстречу слепому ветру зимы... кристаллические толщи воздуха... чрезмерно синяя синева смыкалась, стекая с нежной шелухой какой-то неправдоподобной корой, где пламя темнее темного, уходя неизвестно какими путями в глубину зрачка, и там не то чтобы успокаивалось, утихало, меркло или же расплывалось в фигуры дерева, облака, камня, пешехода, машины, но уступало место иному. Чему? Эфирное, обжигающее масло наполнило зрачок. Легко воспарял небосвод. За спиной курилась степь». Достаточно. Это ординарное описание пейзажа, которое может исполнить каждый, интересует нас с позиции анализа распределения и последовательности вовлечения определенной лексики. В конце месяца. Дата не подлежит сомнению. В дверь балкона дует. Снизу. Поэтому ноги в шерстяных носках замерзли. Ноги, шерстяные носки, пейзаж. Затем действие. Иногда действие обо-

значает чередование ситуаций, которые угрожают курсу персонажа, отклоняют его от намеченной цели. Иногда в то же самое время действием является чередование обыкновенных слов. Письмо написано.

Паутина скорости, сплетающая вещи в единый миг, подобно ветру, слоящемуся за стенами скорлупы, отраженных со всех сторон, намерений. Возможно ли будет когда-либо выйти за пределы этой неподвижности? Вечерняя прохлада сливалась с прохладой садов. Кое-откуда тянуло сыростью ночной травы, дымом притаившихся вечерних костров, в которых рачительные хозяева сжигали хлам: на рассвете, в тумане, возвращаясь, находили обгоревшие справочники по орнитологии, иногда, проеденный коричневыми пятнами, автопортрет Рафаэля или какое другое великое произведение, оттиснутое на клейкой поверхности журнального листа, серые песчаные кружева, кипы журналов, спирали камней, обувь, продолжавшую тлеть, — обычно горела довольно вяло, не прибавляя жара. Шиповник наливался черным сном, петуния продолжала мерцать, выцветая у заборов. Гром. Припомни, что значила для тебя мысль в ту пору и где стояли мальвы? Какой она — любая — представляется ныне? Что означало для тебя думать? Как это было? В каком наклонении? В склонении ствола? В сколе стекла? В изгибе ореховой плети? Стекавшего по вещам? Возникало ли поначалу, как смутное звучание, лишенное оболочки звука, наподобие эха, наплывавшего ниоткуда, — из различия между историей и твоей памятью, в котором, оказывается, повторяет себя тот же мотив: я хотел выкопать из могилы его труп, я хотел сжечь его в полдень на склоне холма ли, горы, чтобы вынудить его окинуть взором то, что с таким упорным постоянством он пытался забыть: процессии женщин с кусками мяса в руках, вперившие взгляд во что-то чрезвычайно смешное, чья мера вне, за, так как не? Или же, напротив, вся тончайшая завязь плоти, реальности рассы-

палась золотистой золой, уносимой, дует, беззвучие? А тогда — не с удивлением ли смотрел на лица, обступавшие тебя, метонимический перенос? Переход. Серп. В чем заключалось различие мужчины и женщины? В нескончаемой сваре об означающем? — имени? — настоящем? Они возникали из себя же, неисчерпаемые, неколебимые в чертах, застывшие, застигнутые на месте исчезновения едва слышимого шума. Но дальше, дальше, что происходило дальше! Было ли это так, как происходит с тобой, когда ты начинаешь изменять рисунок, пестрящий кожу твоих жестов, когда ты приближаешься ко мне, когда все «когда» прекращают собой условие времени исправно служить нам, а глаза смотрят сквозь мое лицо, как если бы не быть затылку, лбу, как если бы одним глазам плавать в книгах воздуха, но там, за ними, когда бы их не было на самом деле, конечно же нет ничего, кроме стены, на которой несколько фотографий, разрозненные страницы с датами встреч, назначенных на прошлое (дикий виноград, не ешь, горек; шелушение извести мешает мне, полнолуние, деньги позвякивают в карманах), и телефонных разговоров, просыпавшихся толченым мелом в отверстия перфорации памяти. Мята в росе. Пустые соты истории. Пустые города толп. Но было ли так, как это бывает с тобой, когда ты, сохраняя интонацию неизменной, уже путаешь слова, когда пропадает или же становится несущественным различие в них и когда я понимаю, что мне тоже нет нужды ни в чем (кроме как проглотить ком слюны, размотать кокон выдоха) и даже не в этом, столь необходимом окружении мелочей, так мною любимых!... — нет, скорее вожделенных в обрамлении каждого дня, шага, мгновения перемещения в моем, мне принадлежащем теле (и чему ты угрожай, ибо я словно вступаю с тобой в сговор, предаю их, но только, спрашивается, во имя чего, краем рассудка сознавая, что и твоя ветвящаяся невнятность, и мое только что упомянутое предательство — беру его в кавычки, как «смерть поэта», — могут вызвать в лучшем случае смех, но

так или не так? Если не так, разуверь и Расскажи, как и что дальше, когда тебе казалось, что ты встретился с тем, что позже, по обыкновению, стал называть «мыслью», которая — но разве не так? ты сказал другое? но что же?.. — обращает то, что было или «ощущалось» тобой магическим ульем, в шелуху, как слова; вечно путаются, путая, накануне. А затем, спустя ряд «нераспознанных мгновений», оказываются не то зоной ожога, не то просьбой. Любое становится обнаженным действием, любое огромней, нежели наше родство; наше двоящееся в нечетном желании тело, дающее — не прекращающее себя в просторе приближения. И хотела бы найти, конечно, а если не существует, затаиться, вырвать из своего рта, чтобы растворить в твоём, вложить и растворить, а затем услышать их восстающими из грязи, хрипа, судороги, надменности, не имеющих ничего общего с человеческой мерой, — впрочем, я не права, я не хотела бы приписывать тебе того, чего не было. И что никоим образом, насколько я помню, не совпадало с «зеленой лампой» и фразой о ней, оставаясь связанным с чем-то, что касалось скорее бумаги, карандаша, движения руки и, озарением коснувшегося мозга, забвения. Тогда. Прошедшее время, образованное из пространства. Не исчезнуть после, а продолжать.

Продолжи. Шум поездов становился настолько явственным, как если бы они проходили за домом. Быть дождю. За домом располагались сады, переходившие в другие сады. Расположение в домах и деревьях, в окнах, в воде, числах, телах, в банях, церквях, рынках. Годы, переходящие в другие годы. И сегодня не понимаю — что. Как могло. Исчезая или ослабевая. Это называется первым вопрошанием мысли о себе. Сходство с порнографией — иначе, попытка овладения в зрительном опыте не-означенным, раз-означающим. Как попытка номинации, подчинения. Не «кого» и не «что». Бездна метафизическая тяжба с невидимым, не обмениваемым на знание и

знак. Нет. Одиночество переходит в обратную перспективу отрицательных чисел-богов Прокла, грезящих всеотражающей страстью, одержимостью в стекловидном стяжении. I want to hit you or slice you may be burning is better not the body but your imagination. Yes I still am a stubborn child but who are you sitting so calmly beside me knowing you will never see me knowing in that moment I need you (who cares about need you say). So much time & no time. И все? Нет. Но осталось ли это от того, что было? Думать ли думал, что, открывая другое лицо, смогу уследить? Апостроф, зеленое крыло мотылька. Расположение точек. Когда иссякает речь. В доме небес зрение дарит богов окрыленных кириллицы. Новорожденная звезда. Стечение сонорных согласных. Письмо, терпение, дрожь, грезящая переходом, когда терпнет рука и немеет узел предпосылок. Горы формируют глаз — обоюдовогнутый хаос, чаша, собирающая синеву во всепоглощающий луч. Воздух задыхается. Таковы сны падения вверх. Вертикальные сны у стены, в роях падения. Тускнеющее солнце, огромное ухо, опрокинутая тяжесть. Синий кристалл субботы впивается в кожу воды. Яблоко бессердечно. Этот факт доказуем, как ты, падающий непрерываемым снегом, льющийся смрадной жижей из хрустального шара. Здесь утрачивается власть повторения, власть крови, но не твоей, когда она хлещет по ногам, темным туманом коры одевая пах, мой хуй, во многих водах сбегая. Не благо ли «наслаждаться голосом привычных вещей»? Благо сделать их немymi. Как водоросли. Как сравнение. Как грамматический узор. Музей окурков. Архив ногтей. Коллекции крохотных предметов, веселящих сердце. Каждая вещь, принятая на веру, — гарантия, залог спасения. Сетование: утрачена «уникальность». Вещь стала множеством, не имеющим конца вещением. Зачем ты здесь? Я солдат и отстал от своего полка. У тебя еврейский череп. Черепаша на предплечье или календарь ацтеков. О чем угодно. На красном песке черные водоросли. Желтизна камня. Шаги на лестнице. Светлые

трещины в разные стороны. Выеби ее. Стук дверей. Голоса. Телефон. На даче убийство. Связи нет. Третий день пурга. Там, говорю я вам, там затаился охотник. Необходимость приобретения. А также: что располагается в противоположном направлении?

И оседает под стопой земля. Глуха, проста. Почерневший свет теней ведет за собою своры — легки, как пепел, светлы. Кусты остры — как черное на черном, едва слышны в рассветном претворенье, когда горчит на стеклах хищный блеск и дым привычный синими кругами: чтение над нами, как бормотание и все когда на все похоже. Проносит слабый день над кровлей птицу, за ней протаивает облако, вслед обрывок проволоки, ветви в серой патине. В резком очертании разграфленного зерна, исчезновение сравнений.

День начат как обычно. Наважденьем вещей, совпавших с собственной судьбой и обреченных быть только тем, что явлено рассудку, их явившему, и между ними ночь, как цвет алфавита, одевший безразличие с головы до пят. И мы оказываемся на прежнем месте. Сон об убийцах до невероятия фальшив и сентиментален. Точно так же, как их роль. Ацетиленовое свечение. Отдай. Возьми. Рейс откладывается. Убийцы мертвы. Ты кажешься себе живым. Все разговоры с мертвыми заканчиваются одинаково. Но в том-то и дело, что в этом сне все складывалось по-другому. Чужие люди, говорит он себе, сидят в моей комнате. Что им нужно, чего они ждут? И это тоже, спрашивается, социальный договор? Мы договаривались, что вот это будет называться дверью. Дожди, птицы, лестницы, стебли, время. Когда я, — читаю, — протянул руку к той, кого успел отыскать рассудок в мелькающих контурах, бесчисленно умноженных в чешуе солнца, когда толпившиеся вокруг стали западать за горизонт сна, выказывая полное пренебрежение ко всему, словно раскалывая хрупкую кладку

стыда, опоясывающего любое направление мысли, и та, к которой тянулась рука и пальцы которой тянулись навстречу, готова была разомкнуть губы, чтобы сказать (а что услышал бы? что понял бы из сказанного?), толпящихся вытеснили убийцы. Я не помню, думает Торквато Тассо, хмурясь и отрывая глаза от руки, которая приснилась ему на мгновение, как будто она и он совершенно различные вещи и ему не принадлежит, хотя что-то не позволяет до конца в то поверить. Единственное, что продолжает сон, это шумящие перед дождем тополя, неяркий свет, поворот безлюдной улицы, водопроводный кран, пустой рынок сбоку, за оградой, и теплая пыль на подорожнике. Еще: подсолнух за низким забором. А также чья-то быстрая тень впереди, рябя, однако кто или что — неизвестно, хотя и во сне, не принадлежащий никому, голос поясняет тебе, чью спину ты видишь, находясь как бы сразу же за ней, всего-то на расстоянии дыхания, что надлежит принимать как должное, поскольку ничего необычайного в том, что впереди мелькает какая-то тень, нет, поскольку это только твое ощущение утраты (из которой утрачено самое главное — то, что потеряно) того, что произошло очень давно — а что произошло? — не особенно тебя, правда, тяготившей, потому как тогда это не воспринималось утратой — а чем? — потому что тогда все, даже потери, были прибавлением — нуда! Почему сегодня иначе? Трудно сказать. Выходит, есть вещи, события, которые как бы существуют и не существуют в одно и то же время? Но ведь ум мыслит все сразу? Что ты этим хочешь сказать? Отсутствие понятия греха вначале упрощает дело, но потом оказывается, что все не так. Я? Нет, я ничего не хочу сказать. Почему то, что было ничем тогда, сейчас обнаруживает себя вот таким образом? За окном шумели деревья и длился сон. Там же, за окном, где синее. Тема ни тут, ни там не получает развития, невзирая на то, что именно в следующем параграфе ненавязчиво, органично находит разрешение в периоде о поэзии.

Я ощущаю неспособность выйти к следующему предложению. Ночью, на кухне, за чаем с сыном: сколько же написано о тонкостях писательского дела! «Образ» в словесности не имеет ничего общего со «зрительным образом»: несхватываемая структура, алгебраическое означающее, указывающее только на отношения. Обратная связь: любой образ всегда тем не менее «прошрое», тогда как намерение в произведении — изведение из него. Какая разница, хорошо пишет X или же пишет он «хуже», чем Z. Какая разница вообще — пишут они или нет? Утром ты думаешь по-другому. Либо о другом. Скорость самоотторжения не позволяет образу стать таковым, но только бесконечной вехой перехода от одного к другому. Пояснение темного еще более темным: исследование. О том, как обмануть старух в гастрономе и успеть схватить кусок хлеба без очереди. Нет, есть еще, например, феминизм, русская идея. Очень жаль, что на время мы вынуждены расстаться с сюжетным поворотом. Остается только ночь. Курить. Затем кофе, эфирные масла радужной пленкой, остывшие эфирные зеркала. Ближе. Да. Так уже лучше. Теперь наклонись. Конечно, так мне больше нравится. Раздвинь ноги. А тебе? Открыть окно. Закрыть окно. Поднять с полу горелую спичку. Действие. Теперь... Вот теперь... Что же теперь? Только ночь или же пока еще ночь? Остывающая, словно страница в пересечении мириад угасающих линий, — так августовский небосвод, исчерченный сияющими и длящими себя в нескончаемом изгибе строками, в неуловимый миг опрокидывается молочной белизной и запредельная тьма открывается полному исчезновению привычных измерений, под стать линиям, летящим в границах страницы, пережигающим в столкновении сладостную силу власти над пространством, в котором они (ладонь, перо, но снова наступает пора бросать камень в бокал) все же меркнут, не угасая и тем не менее брезжа на краю между зрением и бессонницей легкой резью, сродни рассвету, которая никогда не исчезнет, остывая невня-

ными пересечениями, рассекающими бескровную белизну на белизну и на ослепительно-белую тень, ткань. Но как мне рассказать, точнее, как мне пояснить тебе, что белое меня вовсе не занимает... Лучше, полагаю я, остаться на песчаном берегу. Сюжет, столь блистательно начавший себя с убийства, покуда влачит жалкое существование. Прибегая к терминологии философа, возможно говорить о России как о «некой букве, украдкой вводимой» в собственное, имя, чтобы, Рассея собственное, в жалящей осиной трате, ускользнуть от основного, снующего челноком (в обратном от предназначенного направлении, в противотоке) значения; в сновидении различения. Лиц тень. Исцеление. Обоюдовыпуклый сон, ткущий явь сторон света. География утрачивает очарование и власть в определенной точке калифорнийского побережья, где она обращается голографией. Ты нескончаемо пишешь об одном и том же. Иногда ты сбиваешься и читаешь, следуя руке, как, воображая ветер, раскрываешь черную вертикаль угла, словно пружину. Появление. Рано или поздно приходится избавляться от различного рода слов. На этот раз мы остановились на процессиях женщин с кусками мяса в руках. Время отделяет их дерево от моего. Мое от меня. Вся страсть окружающих меня описаний, мнится, может порой вылиться в оглушительный вой. Мне кажется, что я обречен одной-единственной фразе. Допустим, о деревьях. Она будет повторять меня вечность, превращая в зерно оправдания тем, кто входит. Муравьи золотятся на искристых сломах Русселя (посвящается Лапицкому). На самом деле можно было бы обойтись обыкновенным пересказом, пересказывающим одну-единственную историю, из которой беструдно тянуть пряжу событий. Не событий ли ждет душа? Кто входит? Но? Блага? Душа кого? Ищет ли она осознания себя, а стало быть, отделения от себя, оттого, что разом с ней являло свою самость? Ищет ли она действительность, которая невозможна в изречении? Помнишь ли ты свои ощущения, когда на твоих глазах изнасиловали ту

девочку? Обступив, в кругу, на улице, где еще подсолнух за кривым забором, в пыли подорожник? Что такое насилие? Ненависть к какао. И которая начинается в разделении с тем «я», которому бы принадлежала, будучи смутным целым, не совлекаясь ни во что, и чего бежит, как заключения в полноту, достаточность, надежду. Если не событий, то чего же? Бытия ли ищет душа? Душа ищет — «не».

В нескольких словах. Утверждение. Да. Действие происходит десятилетие тому назад. Политическая обстановка. Выпукло очерченные характеры. Порой создается полная иллюзия присутствия действующих лиц. Либо повод. Я засыпаю за клавиатурой. Сон засыпает серебрящейся пылью произошедшего некогда не только со мной. За последние два года ты снилась мне в одном и том же сне. Иногда довольно забавно не будить его, но доверительным голосом расспрашивать о том, что ему снится. Сон был прост, пуст, продолжительность его была умеренна, после пробуждения сон исчезал, как и положено. Оставаясь в памяти вплоть до мельчайших деталей, он наряду с тем терял добавочное, неартикулированное значение, столь важное для снов — лишний элемент, — делавший его сном, о котором после пробуждения хотелось думать как о чем-то действительно имеющем определенный образ опережения. Ты рассказывал о своем сне неоднократно. Догадываюсь, что именно этот сон, о котором ты мне так часто рассказывал, нашел свое продолжение в написанной впоследствии истории, относящейся к событиям десятилетней давности. В нескольких словах. Во многом я с тобой могу согласиться... Но в еще большем, к сожалению, нет. На то есть причины. О чем несколько ниже. Но кто говорит? Кто повторяет? Сны суть единственная территория, на которой возможен перевод. Обучение эха под радугой морозной звезды. Слезящееся золото рассыпанной буквы? В написанной или ненаписанной? Что разделяет то и другое? То, что «есть», и то, чего никогда не будет? Есть тоже

«в кавычках». Маниакальная идея написания книги, которая «изменила» бы мир и которую в конце концов сожрал бы ангел. Но вообрази себе утро. Кировский проспект, раннее утро мая.

Вообрази себе то, что необыкновенно легко воображается, например, в Мидлтауне, в Нью-Йорке, где-нибудь ближе к Канал-стрит, когда ранней весной ты спускаешься из книжного магазина, а жирный бездомный, украдкой показывая тебе большим пальцем руки на твою спутницу, опускает на миг веко левого глаза. Что именно? Листва беспомощна, крона каштана едва колыхнется у подоконника. Окно настезь. На столе у стены книги, тетради, бутылка из-под молока, в которой торчит согбенный стебель желтого нарцисса. На полу сковорода. Солнечные полосы на стенах. Свет, падая на поверхность чая в чашке, возвращается на потолок. Липкая холодная ложка. Поездки в Крым. Коктебель чуден. Гонения на инакомыслящих. Все обещает жаркий день. До расстрелов осталось еще 16 лет. Билеты, которыми заложены «Опавшие листья», обещают приятный вечер. Из возможных мемуаров: «Так мы жили. Не мы одни. Вино, беседы, необременительная работа, не приносившая особых денег. Необременительные связи. С каждым годом становились труднее, скучнее и глупее. Страх, легкий и привычный, как уличный свет на потолке. Страх за будущее или настоящее — разобраться теперь нелегко, — сочувствие и гнев, невероятная, изощренная способность толкования чего бы то ни было на свете, ожидание (вождеющее) чьих-либо похорон или отъезда в эмиграцию, и такое же одержимое ожидание явления Гения, двух, нескольких. Однако не радость ли?» Повтори. Повторяю: поезд номер 153 отправляется от пятой платформы. Ты рассказывал о сне неоднократно. Клятва верных друзей на Воробьевых горах — истина, неутомимость. Тезис веры возникает позднее. Вначале шествуют священные коровы предназначения и жертвы. В небе

становится все больше алмазов. Их количество начинает удручать. Например, она жертвует для него своей жизнью в конторе, где воняет потом, табаком и винным перегаром. В обед они бегут к его приятелю домой и «занимаются любовью». Бывает, что времени не хватает (время летит стрелой), и она, так и не успев залезть в душ, напаялив впопыхах на себя все, что у нее есть, мчится назад, на службу, к графикам, или переводам, или расчетам. Иногда она останавливается где ни попало и некоторое время стоит не двигаясь. В мыслях у нее ничего не проносится. Она разгадывает странную загадку о школьном актовом зале, открытых окнах и о группе негромко переговаривающихся людей. Люди качают головами. В столе у нее перепечатанный на машинке (когда есть время) Мандельштам. Он больше всего любит, стиснув до побеления кулаки, пьяным читать в компаниях: «от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». Нас вновь сносит к Италии. Он жертвует своей жизнью ради дела, то есть написания труда, которому надлежит открыть глаза всем без исключения. Человечество в тупике. Необходимо определенный толчок мысли, инфантильность и глупость Запада феноменальны. Восклицательный знак. К прискорбию, урок дан впустую. Нет, уж если, простите, быть объективным, исключения в истории встречались, однако на то они и исключения. И на каждое исключение затем появлялся свой иск, ха-ха. Не так ли? Ты надоел мне. Что означало для тебя «думать»? Все, что берется с собой в скорбный отъезд из Отчизны: фарфоровые зубы и опыт, опыт. В нескольких словах. Если Бог — есть, то где есть нет, понуждающее обращаться к нему? Или же «нет» — это первый симптом «слабости созерцания»? Написанное мало соответствует действительности. Я просто упускаю подробности твоего описания, скажем так, нашего романа по причине совершенной его вздорности. Но вот, например, ты пишешь, что «любовь к расхожим мифам не преминула коснуться и его. Вместе с тем ему явно

недоставало универсальных, поколениями проверенных сценариев, таких как, допустим, “Моцарт и Сальери”, хотя подчас его мысль с очевидным сожалением возвращалась к той или иной испытанной теме — извлечь урок, — немо бросавшей ему вызов, и неведомо, как обстояло бы дело в дальнейшем, не попадись ему (а кто вправе углядеть в том промысел?) на глаза не то в прошлогоднем музыкальном календаре, не то в энциклопедии где-то в гостях на Васильевском, когда уже были прочитаны и “воронежские холмы”, и выпита водка, и начиналась предрассветная ленинградская муть, и головная боль, перемежавшаяся необоримым отвращением к самому себе, принималась путать времена и имена, — имя Джезуальдо (замигало), от которого прямо-таки за версту несло сандаловым ароматом подшивок “Нивы” и вестибюлем Оперного театра, где в ожидании встречи любители “Травиаты”, люстр, ангелов и предынфарктного плюша (который по желанию легко проскакивал в разряд вакхического плюша) медленно погружаются в мелкую преисподнюю раскисшей снежной каши. Джезуальдо (надо сказать, что на первых порах он путал его с Калиостро) по некотором размышлении вполне годился для небольшого замысла, который не давал ему покоя. Мгновенный веер снимков, как можно догадаться, сразил его воображение. Зыбкий портрет будил мечту о дамах с мушками в черных чулках с хлыстами в руках, о поездке в Грузию, будил образ и какой-то безымянной, однако неимоверно знаменитой премии, вместе с тем питая упоительно-ядовитую ностальгию по костюмированным балам Серебряного века. Что в свой черед будило чувство причастности. Что, опять-таки, влекло за собой освежающее и живительное чувство истории, этого загадочного “до” ставящего окончательные точки над *i*, несколько отстраненного, впрочем, в растре легкой иронии. Но, продолжал ты, важным было другое. Как свеча мотылька, его притягивала (банальность сравнения проистекает из логи-

ки объекта повествования и является метафорой другого порядка) нравственная идея, таившаяся в легенде. Хотя, трудно с достаточным основанием утверждать его неколебимую веру в своего нового героя. Не исключено, что иногда ему могло казаться, будто Джезуальдо — такая же выдумка и чушь, как Раскольников, Энди Уорхол или еще кто, и выдуман для вящего блага просвещения читателя — еще одна магическая категория из расхожего словаря того времени, — а кристальная, едва ли не апокрифическая внятность послания о “злодействе и творчестве” как нельзя более кстати совпадает с насущностью напоминания о долге тем, кто его окружал».

Мне бы хотелось, прерывает она себя, прежде всего напомнить тебе, что о Джезуальдо он узнал от меня. От меня и ни от кого другого. Снизу поднимается запах жареного мятая.

Кольца детского крика путаются в ветвях. Дождь невнятен. Ветер? Конечно. С залива. Уподоблен числу. Слово «год» произносится безо всякого усилия. Как город. Предыдущее стихотворение переписывается следующим образом. Глагол, опустошающий имя. Перечисления. Плоскость листвы. Орешник, кизил, можжевельник, но и не это.

Вопрошание о поэзии включает в первую очередь вопрос о том, кто спрашивает. Кто проходит мимо. Кто уходит, появляясь на горизонте, чтобы вращаться там долгое время. Совпадают ли его/ее очертания с направляющими векторами вопроса как такового — мне недостаточно самого себя, и моя природа человека любопытствующего, впитывающего приказывает начать поиски соответствий. В обрамлении. За стенами ветра. В ласковых солях росы. Пот. Твое напряжение — прямая, готовая отвергнуть меня в долю секунды, подобно реальности единственной линии, соединяющей две точки приложения силы, месторожде-

ние которых неизвестно. Мгновение, отторгающее любое дробление как совершенно бесполезное. Вне: со мной ли это было? Если было, то что? А не со мной, с кем? Когда произносится «ты», кто на самом деле имеется в виду? Ты? Я? — обращающийся к себе на ты? Каков смысл изменения (расслоения) перспективы? Побег? Оставить вместо себя чучело? Недра вещей. Подойти к толпе и в толпе — скорченное тело на асфальте — таково «ты» — справиться у окружающих о том, что же случилось с этим чучелом, с этой куклой, которая не дышит. Что произошло с ней в дождливый день на мосту. Отношения Хомя Брута и панночки суть отношения Орфея и Эвридики. Инверсия. Хома — изводимая из ада тень. Моим миром не управляет сравнение. Розы. Неловкость покидает тебя. Poetry and oral sex. Нежное поедание означающего. Вращение цикла. Знание. Ровная поверхность, местность. Море схлынет запястьем. Опять-таки, каково мое право судить о высказанном мной как о достоверном? Словно отливом уносит туда, где фотографий стена пьет беспрерывно соль растворов пространства. Верно. На закате некто подошел к порогу. Послушные водоросли ложатся под нами. Воображать собственные похороны подобно разглядыванию своих испражнений. Шаги не слышны. Рыбы не вскрикнут. Разгадывай их раздвоение. Все это есть то, что отделено от этого чем-то. Холодной пшеницей кормить петухов. Почему падающий в окне лист вызывает во мне грусть? Те означают не эти. Я действительно гляжу на свои руки, однако каково мое отношение или какова связь моего сознания с тем, что я вижу? Режет ветер лицо, изгибая верхние тени, срединные тени, нижние тени. Студеные зерна луны. Механизмы тайны в сказке целиком основываются на: «ведь я это, оказывается, уже знал!» По вечерам сердце вступало в обучение к ночи. Процессии, фосфор. Остров, изморось, бормотание, сети, металл, неосвязаемость, тепло, поворот, камень, споры, шипящая в стоках вода, черная синева трамвайного рельса, пунктир, фабричные

строения, пение, спирт, мокрая бумага. Отчего падающий в окне лист безразличен мне (или во мне) вполне или же вызывает то или иное чувство? Является ли чувством безразличие? Питающий безразличие, что испытывает он? Наслаждение. Плоды. Фигурки любви падают навзничь. Разветвление. Безумие не примета. В дыры и звезды, как в бездонную близорукость, падает косточка вишни. Если я не знаю ответа на вопрос, что побуждает меня спрашивать, какое право я имею полагать, утверждать, упорствовать, настаивать, поучать, предполагать, etc? Кровавое тельце взметнется. Быть может, рыбы угасли. В рощах сверчков, в духоте, среди башен пустыни, за порогом именования, за прозрачной отвесной траекторией капель, падающих из кухонного крана, оттуда знаков медовая тяжесть ложится покорно к губам, — губка горла смывает дыхание в предписании того же. Почему нельзя поставить знак равенства между «прошлым», о котором (так думается остальными, но не другими) я способен размышлять, и руками, на которые я смотрю в данный момент? Не являются ли руки таким же прошлым, как и рождение? Спасительная синонимия! Угасшие рыбы подождены в ночи, першит в горле. Копоти русло медлительно, как превращение. Где находится залог достоверности того, что принадлежит, например, рукам в моем воображении, в моем воспоминании, в моем полагании небывшего? Но что такое предполагать будущее? Еще раз. Еще раз. Остров, изморось, бормотание, сети, неосязаемость, йод, коричневый поворот, споры камня, шипящая в стоках вода, синева заплывшего влагою рельса, пунктир, пена, спирт, мокрое полотенце на шее. Давай, забирайся в халат, вот сухие носки. Вино. «Сейчас» — не что иное, как метонимия надежды. Вместе с тем, если я противлюсь такой собственности, — не есть ли я собственность некоего своего прошлого или, напротив, прошлое моя собственность, как мое имя. Как меня зовут? Как мне отзываться? Если президент издаст указ о нравственности, если президент запретит нам ебать-

ся или думать об этом? Вынужден ли я буду тем самым эмигрировать? Какое выражение лица следует мне избрать для приветствия произносящих мое имя? Как может идти речь о достоверности того, что здесь пишется/читается? Судья Ди объявляет судебное разбирательство законченным. «Сейчас» и «есть» — два отражения, растрачивающие себя в плоскости моего тела, Не говори. Но говори, что ощущаешь в данный момент! Ума не приложу, чем мы сейчас занимаемся. Прикосновение? Слишком мало. Удушающе, косвенно мало. Учись говорить... Достоверно, говорю, исчезновение, потому как, только переживая его, возможно приблизиться к ——. Ограничению словаря. В поминании. Далее — закат, какой-то всадник, кто-то у порога. Изменит ли изменение ряда прилагательных значение пишущегося? Какое различие между «ясным, светлым, прозрачным днем» и «мутным, темным, непроницаемым»? Итак, Автор есть. Он — это я. Он — это тот, кто с легкостью соглашается быть мной. С другой стороны, я есть тот, кто позволяет ему обращаться ко мне. Ну... различные там одолжения, мелочи. Отяжелевший дом небес. Зависит ли упомянутое (последнее) различие от моего физиологического или психологического состояния либо от погоды, оптических условий, типа местности, возможностей перевода или, опять-таки, от устойчивого впечатления, истоки которого темны, когда те или иные обстоятельства сомкнулись с иными и с чьей поры «темное и непроницаемое» воссоздает во мне благостное ощущение прозрачной ясности? Однако как возможно ощутить пульсацию такой модальности в строках, которые мной предлагались в разное время? Далее, если она ощутима, то есть прочитывается, — прочитывается ли она кем-то определенным? Чем определен кто-то? Пределами моего о нем знания? Зависит ли достоверность моего писания от предположения этого кого-то, не меня, однако кому в известной мере знакомы те же «сомнения», что и мне, и кто, являясь совершенно другим (однако и подобием моей на-

дежды), должен стать предполагаемым есть, сейчас меня самого? Мы покончили с читателем. Пора оставить все эти буржуазные басни о том, что написанное писалось якобы для некоего читателя. Человек, с которым я пью вино и с которым говорю о том, как достать сигарет или еще вина, не имеет никакого отношения к чтению, даже ежели ему и доводилось читать то, что мной когда-либо было написано. Читатель: последняя худосочная выдумка постро-мантизма, которую с ликованием подхватывает толпа, истово примеряя на себя лохмотья этого идиотского тряпья. Мне более по сердцу тупость «среднего американца», не сомневающегося в том, что поэзия — женское дело. Я влюблен в такую логику. Она неслыханно поэтична! В детстве килограмм железа всегда был тяжелее килограмм пуха. Что естественно. Однако ныне мое размышление претендует на более глубокую изощренность. Я ощущаю, как трудно подавить в себе желание высказать очередную сентенцию. Просто стать у окна, слегка откинуть назад голову. Не подавая виду. К тому же искренность моя не знает меры, что удручает не менее, чем обилие небесных алмазов. Что ни говори, но с этого места открывается изумительный вид на плавный косогор, на раскрашенную в три колера железную детскую площадку, два мусорных бака и вход в поликлинику. Полотна ржавчины развеваются по ветру, дующему с неослабеваемым постоянством со стороны залива. У меня скрипят зубы. Часть их из нержавеющей стали. Пожалуй, за исключением ногтей, это самая моя долговечная часть, частность, участь... Мойра. Then my actor says striping of her clothes circling Rilke's cage — or it's a train or a chamber of death. She searches for a man still alive to see her as a woman or one who will tell her she is a woman even if she is no longer. Or maybe she is just laughing throwing small pieces of bread at the dead haunting them with an image of her sex they no longer remember. Подобно тому, «как каждая часть находит свое объяснение в другой», или подобно тому, как мне казалось, что я умру,

если она уйдет от меня, когда мы лежали на старой деревянной кровати без спинок, насквозь проеденной древо-точцем. С ранней весны я перебирался ночевать во двор. Черная черешневая ветка пересекала холодный дым месячного света, падавшего в немоте над крышами, над сквозными недвижными кронами яблонь и груш, опрокинув до невероятия прозрачную чашу немотствования, терпнувшего на губах, где оно остывало, как если бы пережевать лист мяты или сельдерея. Каждую ночь с открытыми глазами я лежал на спине, вслушиваясь в паутинные знаки времени и тьмы, заливавшей невыносимым блеском неимоверно возраставший мир, претворявшей его в одно беспредметное и одновременное продолжение. Голубая известь стены, желтая днем, источала тончайший дурман марева — пар, тепло, впитанное за день. Молодость была узкой, как вдох непонятого и тайного восторга, как мелькнувшая в солнечной воде рыба. Без жалости, но с недоверием. Но тогда, когда она согласилась остаться, ты лежал рядом с ней, боясь не то чтобы побеспокоить ее, шелохнуться, но страшась выдать себя, плывущего в том неизменно увлекающем потоке таинственного, что лишает благочестия. Уверен, что ты задремал именно в том сне, где полдень, где слышно, как чей-то голос говорит: «если я люблю тебя... — следовательно, мы не должны расставаться», голос, который ты будешь слышать в этом же сне, которому суждено сниться более четверти века и превратиться со временем в порождение воображения, в призрак, не пропускающий сквозь себя в никому не принадлежащий монолог, который в конце концов обретет бессмертие вымысла. Между всеми возможными главами повествования. А когда спустя несколько минут открыл глаза, увидел снова ее волосы, как бы издали, почувствовал ее дыхание, в которое она была заключена без остатка, под стать тому, как все вокруг было заключено в сферу беззвучия, и все продолжалось, вместе с тем вынашивая требование, ниоткуда идущее настояние расторгнуть чарующую

сцепленность перетекающих друг в друга мгновений, так как иначе все утратило бы смысл или уже утрачивало, завися лишь от произвола или того, что «дано» ему или ей, обоим и не зависящего от них, смывающего в потоке все, что существовало до первого его (ее?.. не знаю) ощущения. К утру поднимался зябкий ветер. Шумел легко. Трепал верхи. Тускнел месяц. Иногда не был. Но что при всем своем желании она могла мне сказать? Равно в той же мере, что и я. Нагие лежали друг подле друга. Обыкновенная телесная усталость оседала искристым панцирем, раскрывавшимся солнцу каждой иглой кристалла, навстречу которому открывается пустыня зрачка: таково еще одно прощание с литературой.

Материнская материя памяти сокрывает ослепительный сумрак про-материи, в котором залегает оксюморонам возможность. У меня болит глаз. Но у меня болит также и большой палец правой ноги — следствие того, что, передвигая стул, я его отдал. Перелеты птиц. Возможен ли момент, когда «источник» боли исчезнет, то есть некое «возмущение» равновесия мышечных тканей утихнет, а сигнал, последняя дробь его остатка, которую это возмущение отослало, прибудет в мозг рябью описания, не описывающего ничего, но вызывая реакцию опознания, потому как того, о чем сигнал свидетельствует, более не существует, источника нет? 20 000 лье под водой.

Путь, который проходит этот сигнал, есть, возможно, путь памяти, или же: процесс достижения мозга этим сигналом есть собственно память. Конечно, все это происходит одновременно, но как тогда быть с шоковым поражением? «Возмущение» равновесия уже есть разрушение. Не так ли, друг мой, капитан Немо? Сила сигнала во много крат возрастает, однако мозг заблокирован, реакций нет, мозг не пропускает сигнала поражения. Разбитые стекла, колотые кирпичи, вечер. Симхес-Тойрэ. Буквы, закрепленные в гнездах исполнения времен и сроков: телесность. Чтение

начинает себя. Сознание «понимает», что произошла катастрофа, более того, сознание «понимает», что катастрофа настигнет его через какое-то время, и «понимает» всю неизбежность предстоящего. Память устремляется навстречу иной памяти. Память не происходит. Я теряюсь во внезапном нежелании рассуждать дальше, хотя такое рассуждение элементарно, потому что пытается найти простую последовательность развертывающих себя цепей элементов в предполагаемое правило, подобно тому, как это ищет искусство, намереваясь познать логику почти таких же бесчисленных переходов, наложений и трансформаций очевидно отличаемых элементов, которые в итоге становятся реальностью, порождающей такие же элементы, но уже на другом уровне или в другом месте. Мы с вами нигде больше не встретимся. Дом на склоне холма наращивает объемы его окружающего пейзажа. Возможность заключается в том, что воображение как бы омывает импульсы, одевая их в форму, как алфавит одевает движение руки на странице, преобразуя нескончаемо нестановящееся намеренье в нечто уже различаемое — в спрашивание. Память — поле (?), пространство (?), процесс (?), акт (?), где различенное явлено исчезновению, распаду и отдалению, однако обратному, — иными словами, возвращения не происходит. Технология изменения воспоминания. При приближении к нему мы обнаруживаем растровую структуру. «Издалека» пульсирующая подвижность воспоминания предстает неподвижной и неуязвимо сплошной в неизменности. Общепринято мнение, что так мы возвращаемся к одному и тому же воспоминанию... Дисконтинуальность памяти тогда определяется через несвязность воспоминаний как фрагментов между собой в ассоциативных рядах сознания. Что тогда «целое»? Фрагментом чего? Однако само «воспоминание», «образ», мысленно остановленный и воспринятый сознанием, остается непроницаемо-целостным в своем образе и эксгибиционизме. Но что означает приближение к воспоминанию? Желание ли испытать,

пережить мельчайшую его деталь отдельно? автономно? Понять, что каждая подробность означает и означает ли вообще? Так марля издала дается опыту цельным непроницаемым взору полотном, массивом, но у глаз она пропускает свет, и мир виден сквозь нее, как сквозь стекло. Мир при приближении открывает только следующий мир, как марля, как воспоминание, он открывает и то, что он проницаем, он сито, нескончаемая в однообразном торжестве симметрии сеть, ничего не улавливающая; он открывает, что и каждая нить, если ее расплести, — лишь только отдельные, тончащиеся до бесконечности волокна, не соотносящиеся ни с памятью, ни со временем, ни с пространством. Чистые модели.

Ах, милая моя девочка! Неужели ты думаешь, что вот эта старуха, да-да, вот эта самая, которая перед тобой, с которой ты говоришь, прости, деточка, вот она, старуха, которая сама говорит с тобой, — а ты подумай! — стала бы я распинаться на каждом углу, если даже ребенок, младенец знает, что уши — повсюду! Нет-нет, змея тут не виновата, но кто бы знал, что у нее есть самое настоящее чувство юмора и что она ни за что не стала бы вот так, ни с того ни с сего, нападать, прыгать мне на ногу, обвивать ее страшным холодом и жалить, жалить, жалить. Боже, сколько же раз она ужалила меня!.. Два. Во вторник, когда выносила к бакам ведро, еще один раз, два, три, потом еще два раза... масляная краска, конечно! Ведь никому невдомек, что масляная краска, — тут нужны мозги, и какие! Но главное тут время, чтобы понять, что к чему! Видишь ли, маляры — ну, они-то в чем виноваты? — красили подъезд, и вот этот запах, оказывается, намагничивал все вокруг, изменял, звал, он и ее бросил ко мне, а я ведь не догадывалась, куда там! — совсем не догадывалась. Хорошо, пускай — но, только между нами, моя девочка — кто, например, знает, что черепахи в дождь испускают смертоносный ультразвук? Ты знаешь?! К ним нельзя даже наклоняться.

Упаси Господь! Понимаешь, даже слегка нельзя наклоняться, надо идти прямо, как ни в чем не бывало, а так вот вроде обыкновенная черепаха, да? безобидная такая, уютно цокает по полу, да? но пойдут облака, поднимется западный ветер, понесет пыль по двору, голубей и мусор, зашумят липы и дубы, потускнеет мрамор в садах, защемит кручина душеньку, и лишь хлынет дождь — тут-то и конец. Если не знать, конечно... что очки, а все дело в диоптриях, в больших диоптриях! Кстати, ведь диоптрии изобрели русские, не правда ли? а потом забыли о них... обо всем забыли... все забыто... поругано, кончено, моя девочка, надо выходить, это, кажется, конечная. Кольцо. Спустя тридцать лет я снова увидел то, о чем, казалось, забыл — я увидел школьников на улице, обыкновенных школьников, в руках у каждого было по куску черного хлеба. Лакомство. Блаженство вечного возвращения. Феномен огня и мотылька — мемуары безумных старух: сладострастие слушающих, глядящих в шамкающие розовые рты: огни свечей, поэзия, мраморные плечи, шелк рассветов, острова. Не стоит труда вообразить, как выглядят их Эрот. Я повторяю, нам больше не доведется встретиться. Мемуары. Я повторяю. Все без исключения свободны. Дорога петляет между холмами. Путник в чесучовом костюме, под мышками темные круги пота. Осы и клевер. Коршун. Единственное, чего мне хочется в эту минуту, это поднять глаза и... Нет, я не хочу ничего видеть. Я не хочу поднимать глаз.

«Допустим, я неплохо осведомлен о предназначении окружающих меня вещей. Например, я уверен, что телефон существует для связи с другими людьми, для передачи информации, наконец для того, чтобы иногда попытаться услышать самого себя в нескончаемых бесцельно-глуповатых разговорах. Во что ты играешь? Я играю в Миг-29 Fulcrum, вылетающий на рассвете в кругосветное путешествие, когда свежий бриз поскрипывает в снастях, поло-

шет волна, бирюза архипелага глубока и неисчерпаема. Речь постоянно возвращается к понятию завершенной незавершенности, к созданию выражения вполне законченного в совлечении всех усилий и возможностей в произведение, которое невозможно исчерпать толкованием, чтением, пониманием, то есть к композиции абсолютно конкретных элементов и свойств языка, которые обнаруживают в итоге невозможность существования ни в едином смысле. Точно так же я знаю, для чего рядом со мной находится тетрадь, ручка. Я подозреваю, что, если не было бы стен, я был бы не защищен ни от холода, ни от присутствия других, с которыми мне тем не менее не хочется окончательно порывать». Можно продолжить и по прошествии времени подойти к метафизическим предпосылкам существования среди вещей, которые в свой черед превратились из вещей самодостаточно-сокровенных в своем бытии изделия, к его уникальности (сосредоточенной в фокусе неисчерпываемого настоящего, собирающем в себе прямые нескончаемого узнавания, под стать поверхности пола Платоновой пещеры, сцене, на которой человеку представала в представлении мистерия умирания в вещи, природа которой уже определяется ее функцией опосредования, передачи, прозрачности, наподобие нашей речи, в которой все явственней, очевидней новое стремление к власти «ясности», опять-таки к прозрачности, не затмевающей...) — во что превратились? Я хочу знать, о чем ты говоришь! Этот сад напоминал виденные как-то мельком фотографии развалин Персеполиса. Черное от недвижимого зноя небо, те же белые ночной белизной стволы колонн, служащих привычными декорациями монотонной драме, разыгрывающей с истовым постоянством свою фабулу на пороге черты, где небо и верхи стволов соприкасались, точнее, сводились способностью и волей зрения в единое значение, оставаясь разделены осязаемой и жесткой существенностью вторых и тяжелой до исступления материальной иллюзией первого.

«Хельсинки, 4 марта 91 <...> надеюсь, тебе это покажется достаточно интересным и ты выкроишь двадцать-тридцать минут, чтобы ответить в ближайшее время. Прости, кажется, объявили посадку. Обнимаю, жду». Подпись. Чернила черные. Вишни чернее и в полночь, и в полдень. Чернее извести, замершей в прыжке сквозь глаза к отражению ночи. Черное как природа повторения... Об этом позже или никогда.

Весной, когда сошел снег, мы все убедились, что живем в гряде мокрых развалин, оставшихся от города, — мы, превратившиеся из мечтательных и унылых горожан с зачитанными книжками в широких карманах в могучих, неуловимых крыс. Люди не вызывали у нас раздражения. Некоторые из нас оказались склонны к астрономии, иные к математике и музыке, требующих, как известно, недюжинного воображения и расчетливости. Оставшиеся люди еще кое-как умели извлекать достаточно стройные звуки из различных устройств, которые не требовали ничего, кроме них самих, то есть их тел: пальцев и особых легких, отличавшихся от наших объемом. Мы шли людям навстречу во многом. И они порой услаждали наш слух чарующими напевами, а иногда с достойным упорством занимались тем, что казнили перед нами друг друга. Музыка и казни, так шли дни, перемежаемые только регулярными занятиями строгими и прекрасными дисциплинами. Казни начинались на рассвете и заканчивались поздно ночью при свете факелов, сделанных из ветоши, пропитанной горючими материалами. Мы старались не вмешиваться понапрасну в их проблемы и не пугать их, поскольку после занятий и трудов нельзя было сыскать более прелестного и изысканного общества, нежели человеческое. Мы загадывали им загадки. Мы прятались, они нас искали. Потом мы искали их, а когда находили — загрызали... в противном случае, как утверждали люди, игра потеряла бы всякий смысл. Им трудно было отгадывать

наши загадки. Им трудно было играть в прятки... Но упорство их вызывало закономерное уважение. Если бы только не эта способность ужасно кричать. Однажды вечером, ближе, пожалуй, к полуночи... Да, но особый интерес вызывал у нас феномен, как мы условно его называли, «отрезанного языка» — стоило только лишить кого-нибудь из них языка (не надо спрашивать как), как оказывалось, что наутро лишенный языка забывал различие между собой и нами. Мы милосердно избавляли от мучений тех, кто утрачивал чувство истории. Впрочем, удивляла еще одна черта в людях — они страстно желали знать, что с ними будет завтра. Мы знали. Когда шел снег, улицы казались необыкновенно грустными.

Тягучий тополиный пух. Перелеты птиц, которым не удастся более встретиться. Он не хочет поднимать глаз. Горячий лабиринт набережной. Сухая труха Боннара. Письма капитана Немо в Колумбийском университете. Рябь драгоценна, растянута между пляжем Петропавловской крепости и глубокой тенью противоположного берега, позванивающей алебастровой резьбой. Идти. Куда идет дождь. Прохладна вода в повороте канала. Излучина блеска. Географический подход в перечислении предметов, в описании некоторых совпадающих с подобными им, иных в таком же описании, однако порой выявляющем на месте ожидаемого неожиданные несходства. Но как опишем его? В каком опыте надлежит черпать то, что неведомо опыту? Как мне произнести? Говорить ли мне о совершенно ином, с тем чтобы ты неведомо как, но приблизился к тому, что укрыто от зрения? Например, я произнес сейчас «уголь», а после непродолжительной паузы — «шелк». Чтобы облегчить поиск неизвестного, я могу добавить: «вычитание» или же — «подпись». Позвольте, я впишу это в ваш матрикул. Вы издатель? Предприниматель? Путешественник? Вор? Политик? Кто вы, доктор Зорге! Мне не известно. Кто здесь «действующее лицо»? Я получила от

тебя странное письмо насчет книги... И знаешь, вспомнилось совсем другое. Помнишь? Их было очень много, но на самом деле их было несколько человек, они, следовательно ... Я тогда ничего не видела, старалась найти объяснение причинам, и не причинам, конечно — другому, наверное. Но квадраты строги, уверенно устойчивы. Приближение к углу. Я хотела знать, что в тот момент двигало ими, что тогда владело их головами, мыслями, ощущениями; вероятно, я хотела не только вжиться в них, стать ими, но вернуться в них туда, в тот момент, когда это произошло, когда они решились это сделать. Уместно ли слово «решились»? Не знаю. Но я хотела знать, я вглядывалась в их лица, они были настолько обыкновенны, настолько заурядны, что у меня невольно закралось подозрение в том, что разгадка или загадка всего этого вовсе не в лицах и не за лицами, там, где слепило меня это огромное солнечное окно, — может быть, я хотела другого? ни в коем случае не думать о том, что должен был думать мальчик тогда, в тот миг — а теперь, видишь, я спокойно об этом говорю, думая между прочим о своих крашенных волосах, точнее о том, что их следовало бы опять покрасить, у корней светлеет. Неужели уже рождается такими? С самого начала они, мы — не те, но почему продолжаем думать о себе как о тех, кто может задаваться вопросами? Те же тела, те же слова, те же реакции, инстинкты, но все другое, совсем другое. Раковины и кусты.

В ранней юности столь поспешно-пылко, словно охваченная сладчайшим ужасом, двигалась твоя речь. Обрыв наследовал у обрыва власть изначального слова — сколь же дивно-невразумительна, точно, запутываясь, прекращала биенье. Сколько раз доводилось тебя осязать, как если бы по камням через поток бежать, как бежит маятник

(сон наступал безболезненно, не сулил встреч, был просторен, будто ребенок высоколоб, и его окна мерно жужжали, под стать крыльям ветряных мельниц на рыжих склонах). Драгоценным приношением мира летала над шляхом солома. И требовалось одно: сохранить равновесие. В беге, словно в стекле, — плавание. Однако теперь понимание заключено в отличном.

Прозрачное столпотворение осени. Семя. Ставить ногу, ощупывая в уме каждый шаг в последовательности продвижения очевидно бесцельного.

[Когда доводилось приезжать в Москву, мы с Парщикovým начинали день незатейливо и мирно. Музей палеонтологии дышал в тридцати минутах ходьбы. Огромный скелет Чарльза Олсона. К моей бабушке во сне явился дьявол, сказал Солих. Потом он учил летать. Все остальное выпало. Вместо истории — лица, бледное вино. Усталость, принявшая форму регулярно повторяющих себя геометрических форм, накладывавшихся одна на другую до тех пор, покуда все на заволакивалось пеленой. Гарь. Открыть глаза. Мы сдавали пустые бутылки, планировали вечер. Усаживались у окна на кухне (тогда еще продавали вино) и пили, что послал Бог. Он посылал разное. И такими же разными были безо всякой связи высказываемые мысли. Потом начался озноб ставшей по истечении времени хронической мечты, и я стал приезжать реже. Такой могла быть запись из дневника или последняя фраза главы, посвященной концу прекрасной эпохи, или похожее на вышеприведенное стихотворение. Разряженные (не разреженные!) голоса, когда спускаться.]

Я склоняюсь к мысли (и я склоняюсь к тебе, ты спишь, рассвет еще не тронул золотистой золой твои веки), что мне не миновать того, что кажется на первый взгляд ди-

ким, а если остановиться и не спешить с выводами, обыденным вполне. Поначалу я решил не писать тебе, однако вчера, наблюдая закат, странные розово-желтые, словно тисненные отсветы на шелке стены, понял, что ты никогда бы не простила мне моего молчания, посчитав это за мелкую уловку или за желание воспользоваться преимуществом во времени. Трудно, впрочем, сказать, о каком же именно преимуществе может идти речь. Да, я воображал твою смерть неоднократно, воображал, как и при каких обстоятельствах могло бы это случиться. Что, кстати, требует ясного и трезвого рассудка, как и любовные утхи. Страсть зряча, как Аргус. Эрос — роение зрачков. И то, что я пишу тебе, есть нечто вроде вывода или решения, которое я (как мне думается) принял. Однако надеюсь, ты никоим образом не посчитаешь мое письмо ни оправданием, ни чем-либо другим, ибо цель его проста — высказать то, чему пришла пора быть высказанным. Слишком много любви... Действительно, слишком сильную любовь или чрезмерное стремление к чему-то следует непременно обуздывать. Меж тем с тобой этого не произошло. И что дает мне право спросить — если не тебя, то по крайней мере самого себя: что или в чем заключалась моя любовь к тебе? Бесспорно, если бы перелеты птиц и острова, лежавшие... По ту сторону холма, откуда приближение.

Как вода, стекающая по ничего не отражающему зеркалу. Если сходство предполагает обоюдное подобие, то в таком случае ничто из сказанного нами не подобно нами сказанному — не это ли ад? или же рай либо побуждение думать о том и другом? Ветер шевелит обоюдоострое пламя у глаз, сияющие волосы Медузы — оцепенение, втягивающее взгляд в движение, непостижимое ни в одной опоре аналогии ли, мысли, вещи. Вот откуда возникает щит Персея — спасительное зеркало, возвращающее человека в мир. Песчаная отмель несется к лицу крылом темного золота, рассекая световую крупу. Потом мы обнаруживаем, что

научились обращаться с рядом магических вещей — числа, карта, часы, алфавит. Подобно многим другим (и все же список их не бесконечен) они напоминают зеркальные острова, плавающие в водах сновидения — в зрачках птиц, чьи гнезда замерзают в библиотеках. Их конкретность и реальность, перетекающая друг в друга, изменения друг друга изначально подобны мне самому, пишущему эти строки, реальность которого чаще и чаще теперь напоминает реальность *deja vu*. Ветер колеблет блики, отброшенные пламенем; привыкаешь к сумраку — дальняя граница леса подернута несложной рябью, как вода легким льдом, как тогда или как всегда. Будто крадучись, выбраться из некой собственной оболочки, шевелящей губами, наговаривающей вещь в ее пребывании, закрашивающей бреши пунктира, водящей руками — тихо шумящие, точно ветер на дальней границе леса, пружины страстей, желания расправляются, движутся мерно, сосредоточенно. Обойти вокруг, взглянуть спереди, снова войти в нее, найдя определенный, нужный миг (попасть руками в рукава, еще продолжающие взмах твоих рук...), совпав с ней, со своим собственным «существом» вновь, с его продолжающими себя движениями. Шевеленье губ, передвижение птичьих стай, понимание, отдаляющееся в тот же миг, когда сознание готово превратить его со всей последовательностью — поначалу в доверие, затем в веру. Я могу сравнить это с передвижением в битком набитом автобусе, точнее, с тем чувством, с которым ты делаешь шаг и оказываешься внутри темного, сырого, беспредельного тела, облагающего данью безусловного следования его медузообразному колебанию. Дремота. Возвращение в материнское чрево. Немота. Родина. Черви. Никей. И я готов продолжить сравнение, однако кто захочет последовать ему? Вполне возможно, что для других, не здесь, такое сравнение окажется недействительным, и меня упрекнул в излишнем стремлении к риторике. Точно так же возможно, что меня роднит с другим вовсе не «общая фи-

лософия грамматики», но всего-навсего совокупность результатов некоего атомарного анализа кровяных тел, но не глубже, не глубже, иначе и этого не найти... — впрочем, и таковой, не исключено, окажется не самым убедительным из аргументов нашего родства. Передвижной кукольный театр, в котором по традиции кукла вбита в другую куклу по горло, по гениталии. Игрушки детства, изумляющие туристов. Но разве не в любви? В глине? Письмах? Книге?

«Ленинград. 12 марта 91. Не скажу, чтобы твое письмо было как снег на голову. Не потому, что я ожидала его от тебя, — ты прекрасно понимаешь — с глаз долой и так далее. Все же любопытно, сколько лет тому ты исчез из поля зрения? Но не подумай чего-то там — это обычный в таких случаях риторический вопрос, на который, разумеется, я не надеюсь получить никакого ответа. К тому же я в нем не нуждаюсь. Что до твоей встречи в Нью-Йорке, то не нужно обладать сверхъестественным воображением, чтобы ее себе представить. К тому же то, что он осел в тех краях, не новость. Если не ошибаюсь, он живет в Квинс? Как ты понимаешь, желания переписываться с ним у меня нет, поэтому не совсем понимаю, зачем тебе вся эта затея? Ну, у него, верно, и подавно нет никакого желания. Насколько я помню, мы и простились тогда, в 74-м, как будто уже давно расстались. Так все тогда и было. Словно проживалось во второй, в третий раз. Одно и то же. До одурения одно и то же. Наверное, ты не забыл все эти проводы, последние пьянки перед отлетом, красные от недосыпа и лихорадочного (вот не верилось!) счастья глаза... Унизительные просторы аэропорта — Господи, словно Дантово чистилище, — каким он тогда казался огромным, пустым, ну, и так далее. Скажу сразу, меня вовсе не тронуло твое повествование о судьбе нашего... скажем так, приятеля. Ну, не стал знаменит, ну, влачит какое-то там скучное существование, ну, что-то еще. Какое мне дело? К слову, в нашем возрасте я не вижу никакой разницы

между Бронксом и Шувалово-Озерками. К тому же я лишь усилием воли заставляю себя говорить с тобой... и о нем. Знаешь, я счастлива. А знаешь почему? Потому что старею. До того мне все это осточертело! До того скучно! Кстати, если забыл, как мы живем, напомним: я вот пишу тебе, а мне надо бежать раздобывать продукты (интересно, где-нибудь еще говорят о еде в таком абстрактном тоне?), потому что завтра уходить на весь день, а мама уже не ходит. Совсем не ходит. Вон, радостно машет, передает привет. Как ты думаешь, а может быть, она прикидывается? И, когда меня нет, тайком бежит на канал Грибоедова жрать дармовой суп? Ну, для нее наступил просто рай — газеты, немцы суп бесплатный дают, пенсию увеличили. Опять-таки, 5-е колесо до утра смотрит и всякие прочие радости! Как бы с таких сладостей не испортить моей канарейке желудок. С каким удовольствием я взяла бы и расколола ее тихую розовую голову сахарницей, вот этой, с пастушками, да только — жалко. И не понять чего. Себя? Ее? Сахарницу? Дождалась. Поэтому попытаюсь коротко ответить на твои вопросы. Первое. Рукопись его исчезла вместе с ним. Не знаю как, но, вероятно, ее по традиции увез тогда кто-нибудь из журналистов, из приехавших тогда на процесс или — задолго до суда он сам отвез рукопись в Москву и с кем-нибудь переправил. Во всяком случае, о ней здесь ни слуху ни духу. Но я хотела бы тебя спросить вот что... Положа руку на сердце, скажи, веришь ли ты, что рукопись была? Была вообще? Не хочется говорить, но со стороны твои романтические поиски кажутся немного смешными. Хотя кто знает, может, ты решил на этот раз сыграть роль адвоката поколения перед, так сказать, лицом истории? Ну, а если никакой рукописи или книги в помине не было? Ты никогда не задавался таким вопросом? Нет? Спросишь, а что было? Ну, знаешь, милый, было разное. Могу напомнить. Но не нам и не сейчас вспоминать. Хотя ты, как погляжу, отнюдь не промах по части воспоминаний, если судить по твоему пос-

ледному фильму. Но что за натура! Ведь надо же! — ничего из того, что говорил сто лет назад, не забыл. И все-таки к памяти хорошо бы тебе поиметь еще кое-что. Ладно. О рукописи мы говорили. О твоём фильме тоже. Поздравляю. Осталось высказать умиление по поводу твоей ностальгии. Телефон наш изменился...» Подпись. Число уже было. Число было прежде. Прежде сломва было число, чистое, как зола. Ни одна тень не касалась его, пробегающая словно по водной глади.

Так неподвижна в движении. А понизу кровавым пером плавника по незримому мгновенному извиву, подобно наваждению, подводный лет красноперки в зыбкие зеленые глубины аркад моста, словно золотая фессалийская пластина, поведенная от жажды, подобная чешуе, в которой искрится резьбой соли еще одна, рассыпанная по струне утолнения.

И потому я хотел бы успеть сказать (невзирая на то, что, как ты понимаешь, времени высказать тебе это лично не остается вовсе, а письмо, ежели все произойдет близко к тому, как намечено сценарием, также читать будет некому — вряд ли глаза мертвых различают почерк живых), что ты была права, когда догадалась (или, если угодно, когда была уверена, когда знала) о не просто совпадении относительно твоей встречи со своим будущим (теперь почти бывшим) любовником, но о том, что он был избран мной, избран из многих, казалось бы, годившихся на эту немудреную роль. Нет, право, была в нем вмиг подкупившая меня его небесная глупость, годившаяся вполне на то, чтобы должным образом ограничить круг его функций в нашем (не пытайся уверить меня, будто ты находилась в неведении!), именно в нашем замысле. Я более чем уверен, что именно этот, сделанный мной выбор был тотчас угадан тобой как первый шаг по пути, который нам надлежало пройти всем вместе, что также являлось частью обще-

го сюжета, вплетавшего между тем в собственное развитие твою волю, твое решение, твое согласие — твой ход, иными словами, твое знание, о котором, вне сомнения, мне стало известно еще до того, как я увидел его, пораженного твоей красотой, великолепием, умом (возможно, чем-то другим, чего мне не удалось узнать за годы жизни с тобой), идущего тебе навстречу сквозь ливень в садах дона Гарсиа Толедо, сквозь мокрые кусты кизила, обрушивающие воду куртины — набрякшие поля широкой шляпы, усик телефонной антенны, разошедшиеся полы пальто, вода стекает за шиворот прилипшей рубахи, обувь также участвует в представлении пейзажа и погоды, испуская при каждом шаге фонтаны воды. Он проходит китайский мост. Зонты, преображая конфигурации писем, их покрывающих, срывались в небо, что напоминало погоню на каких-то поддельных гравюрах — твоя рука не сопротивлялась.

И без чего невозможно было бы двинуть всю эту в действительности простую до невообразимого машину. К сожалению, из-за своей недалекости, скажу даже тупости, он не смог рассчитывать на нечто более увлекательное, нежели роль свиньи, которую утром валят под нож. Он был, как бы это сказать, просто... обречен на эти вскинутые в горестном изумлении брови, на унижительное метание полуголым по комнате¹, наконец, на все эти слащавые описания в будущих баснях. И то сказать, как же-как же!.. Кровь хлещет по стенам. Бойня. Реками льется на улицу, вытекая из-под дверей... Кажется, так, смеженные веки... сумрак... ирисы. Много ирисов. Крыс. Спустия время и

¹ Из свидетельства членов судебного жюри, посетившего дом князя дона Карла Джезуальдо де Виноза: «...он (дон Фабрицио Карафа герцог Андрийский) был одет только в женскую шелковую ночную сорочку с рюшами черного шелка. Один рукав был красен от крови; и упомянутый герцог Андрийский был весь в крови и в колотых ранах. В той же комнате находилось ложе греха с зелеными занавесями, где, утопая в крови, лежала донна Мария, одетая в свою ночную сорочку».

время. Тем не менее кровь замечательный колер, которым так любит раскрашивать собственное однообразие история, любовно создавая иллюзии третьего измерения, не придавая особого значения факту, что лишь только благодаря ей история и добивается столь божественной монотонности, стирающей все попытки избежать участи пресловутого зерна в жерновах. И если для того, чтобы укрыться, необходимо обратить на себя внимание, то для того, чтобы обнаружить себя, надлежит в той же степени стереть какие бы то ни было различия с окружающим — стать таким, как все. И это тоже побег. Канистра с бензином. Свистящий, серебряный диск солнца струится. Маки.

Но меня зовут. Ах, как некстати, как не вовремя, восклицаю я! Сегодня охота... Сизый иней на камышах, над лагуной жемчужно-молочная поволока; сколь неуловимо тускнеют цвета... Помнишь, как в последнюю осень мечтал об охоте бедный клоун, Тассо? Уверен, кстати, был влюблен в тебя безумно. И все же я не могу отказать себе в наслаждении хотя бы на несколько минут продолжить нашу с тобой беседу, попутно позволяя себе задуматься над многим (и что возможно только с тобой... быть может, тебе даже не вообразить, чего мы лишаемся), но что, к прискорбию, не желает принимать определенной формы... Это единственное, что порой меня удручает. У меня пересохло во рту. Поэтому музыка. Для иных она лекарство для ушей. Другие открывают глаза, чтобы ничего не увидеть. Музыка беззвучна. Крысы и цветы это понимают. Поэтому ее можно слушать вечность, которой точно так же нет, как и музыки, но которые существуют бесспорно. Я слышу, ты спрашиваешь, размышления ли это? Вероятно, твоя смерть, которую мы обсуждаем с тобой здесь и сейчас, уже существует как непреложное намеренье (отчасти свершенное в моем желании), входящее в мою речь непреодолимой пропастью, — и ты будешь права, заметив с присущей тебе четкостью, что смехотворно разговаривать

с тенями, населяющими воображение, — лишаящей мою речь единственной возможности быть, ибо что преодолевать мне в ней?¹ что превзойти мне ею?.. конечно, если мы не ангелы и не сообщаемся друг с другом, минуя слова, входя в головы друг другу, как то утверждал Данте. А коль скоро так, то и возможность ее как таковой станет совершенно несущественной спустя несколько часов. Представляю, как ты будешь смеяться, узнав, что накануне я сменил в двери твоей спальни настоящий замок на деревянный! Поверь, я осознаю, до какой степени это глупо выглядит, но без подобных эффектов, согласишься, наше бурное свидание лишится очень важного элемента — пошлости. И все-таки. Вопреки всему. Продолжая. Поскольку рано или поздно речь заходит о том, что кому-то необходимо сравнить свою жизнь с чьей-то, наступает пора, когда от человека требуется только одно — рассказать правду о своей жизни, все остальное уже никого не интересует. Незримое проверяется зримым. Логика такова — я смертен, но смертен и ты, отсюда — твоя жизнь дает возможность избежать ряда ошибок, которые влекут за собой смерть, однако это — второй план. На первом плане иное. Свидетельство того, что нескончаемый и монотонный ряд поступков, действий и прочего есть не смерть, а ей обратное.

«Москва. 5 мая. Твое письмо терпеливо прождало меня с марта. Подумать только. Ума не приложу, ты, наверное, в Крыму? К телефону никто не подходит. А мама? Навеки поселилась в миске бесплатного супа? Боюсь, что мое письмо тебя не застанет. Хотя какой к черту сейчас Крым! И все-таки уверен, рукопись книги осталась где-то в Ленинграде. Ох, ты представить не можешь, как она мне нужна! Пойми, я тут рассказал одним итальянцам — Дже-

¹ «Все раны княгини находились в области живота, особенно в тех местах, которым более всего должно было блюсти непосредственно верность и чистоту» — из рукописи, находящейся в библиотеке Бранкассиа, Неаполь.

зуальдо ведь ихний! — про все его заморочки, и они вроде как стали чесаться, вроде готовы двинуть колеса, хотя, знаешь, я по привычке, наверное, присочинил многое сам, но даже не в этом дело, он мне нужен как не знаю кто! — даже не он, а его этот проклятый роман. Ты не представляешь, Гринуэй или Зельдович — те бы скисли на года два. Ну, и ему бы, конечно, отломилось. Сам Бог велел! Но мне нужна книга. То есть он уехал в надежде, что либо ты, к примеру (не волнуйся, я просто пытаюсь предположить ход его мысли), либо кто еще (вокруг него вечно крутились какие-то “писатели”) отправит ее вслед, и там он ее уж как пить дать опубликует. Как видишь, что-то все-таки случилось, то есть ничего не произошло... Потом он пропал, как в воду канул. В том письме я тебе говорил, кажется, что весной нашел его... Да, но только я не сказал тебе, каким я его нашел. Все — сплошная случайность. Меня привел к нему знакомый скрипач, который благодаря своему сносному английскому (дитя застоя) устроился в бруклинский собес — крутится с эмигрантами и черными, пособия и прочее. Впрочем, это другая история. Дело, конечно, совсем не в том, как я “имя выронил”, а скрипаччиновник отозвался. Как бы то ни было, вечером мы со всеми нужными пакетами аж с Астор-плаза добрались к нему на Брайтон — его дом находится у океана. Свежо!.. Но незачем все это описывать, ты и сама там бывала. Впустила нас какая-то толстуха из Кишинева. Да, они уже освоили, что такое настоящий замок... полицейский. Сели на кухне. Выпили по стакану. Скрипач выложил пиццу. С луком! Ненавижу. Потом во рту как фольгу жевал. Месяц изжоги. Ждали, когда вернется. Толстуха в дверях. Предложили ей вина. Отказалась. Сказала, дескать, не может пить “это кислое говно”. Слышала, Кьянти она не может пить! Мы спросили, где ее сосед. Она сказала, что сегодня точно не придет. Выпили еще и спусти некоторое время засобирались. Поднялись и попрощались. На всякий случай я решил заглянуть в комнату. Так

просто, на всякий случай. Я знал, что во второй раз меня сюда ни за какие пряники не заташат. Свет в комнате не был включен, а у окна что-то сидело. В кресле или качалке, кажется. Океан был совсем темный. Потому, наверное, шумел очень отчетливо. Я кашлянул. Нащупал выключатель и включил свет. Хотя и без света знал, что это он. Но когда зажегся свет, подумал, что ошибся. Знаешь эти редкие, мертвые волосы? Их особенно много в районе Гороховой и Садовой — в свое время портвейн лился рекой. Ну так вот, сквозь такие, значит, золотые кудри я увидел огромную сизую шею. Скажем, откровенно незнакомую шею. У шеи, должно быть, были глаза, потому что шея издала неприличный, какой-то хамский смешок. Как-то неудобно запрокинув голову, он повернулся ко мне, оставаясь неподвижен чудовищным, отечным телом, — и этот, значит, смешок. Надо сказать, что мне захотелось, действительно невыносимо захотелось подойти вплотную и пнуть его ногой так, чтобы из него на пол потекло. Может быть, я даже сделал шаг, но он снова принял прежнее положение и замер. Все-таки я подошел. Чтобы удостовериться. Так, на всякий случай. Глаза его были сосредоточены на чем-то, что, должно быть, находилось у самого горизонта и что другим, в том числе и мне, было недоступно. При всем том лицо его было спокойно, как если бы он меня не видел и не слышал, как если бы он находился один в комнате и смеялся окружающим его ангелам. Почему нет? Лицо его не выражало ни любопытства, ни недовольства. Оно вообще ничего не выражало. Оно, скорее всего, было не в состоянии ничего выражать вообще, кроме самого себя, — всяких там произвольных сокращений некоторых мышц и пр. Нитка слюны связывала угол его рта с плечом. Надо сказать, довольно хрупкая связь для сохранения единства тела и души. Он действительно находился в комнате один, впрочем, как и в своем теле. Судя по виду, он находился так уже давно. Как давно, никто сказать бы не рискнул. Пять, семь, десять лет? Мне не

представилось возможным проникнуть в его одиночество. Такое одиночество охраняют совсем другие сны. Я не по этой части. Через тридцать минут я уже шел по Лафайет домой. Теперь ты понимаешь, насколько бессмысленно было спрашивать его не только о книге, но о чем бы то ни было? В 74-м я простился с высокомерным, снедаемым “внутренним огнем” Художником, а в 91 году встретился с пускающим пузыри идиотом. Но меня волнует не он, меня волнует Джезуальдо, все, абсолютно все, что имеет к нему отношение! <...>»

Конечно, потом мы обнаруживаем, что научились обращаться с рядом магических вещей — числа, карта, часы, алфавит, воспоминания, гениталии, записная книжка, зимний день, сны сада, фотографии. Подобно многим другим (и все же список их не бесконечен) они напоминают зеркальные острова разлитой когда-то ртути, плавающие в водах сновидения амальгамой, подоплекой, затаенным отражением *per se*. Их конкретность и реальность, перетекающая друг в друга, изменения друг друга изначально подобны мне самому, пишущему, реальность которого чаще и чаще теперь напоминает реальность *deja vu*. И таким образом то, что сейчас всего более недоумевает уже даже по поводу собственно самой существенности своего недоумения, то, что по привычке и в силу целой сети договоренностей с другими называется моим «Я», с тем чтобы обрести дистанцию, и от имени которого я продолжаю вести речь — оно имеет, вероятно, все основания полагать, что родился я сейчас, здесь, в данный миг, и что все происшедшее со мной и предусмотрительно развернутое как бы во времени есть явление не ложной памяти, но чужой, той, которая меня вожделеет как некий пример и которой при всем том у меня нет никаких оснований не доверять, — но, с другой стороны, правомерен вопрос: какое различие в том, что я родился 3 февраля в дождливом Провансе, а не 44 сентября в лессовых горах Китая?

Раздраженность тона ранее принималась собеседующими как искренность (откровение крика, не столько физиологического, сколько риторического, жеста, особого пафоса) в отстаивании «позиций» или критике идеологии. 60-е и 70-е, насколько помнится, были преисполнены этой раздраженностью, обращавшейся к священным письмам с такой же верой, как позже к Витгенштейну, Фуко, Бахтину... Но дело в том, что и трактат Ту Шуня о созерцании дхарм, и размышление Деррида о Малларме, и прочее являются, по сути, иллюстрациями друг к другу. Проблема искренности исподволь перетекала в сопредельные проблемы истинности едва ли не с эсхатологической маниакальностью. Как ни странно, прилежно стирающая какие бы то ни было предпосылки «индивидуальности». Что в свой черед увлекало почти всех без исключения в область сомнительных аллегорий и не всегда правомочных аналогий: мир снова читался как Книга, в которой каждый знак имел свое сокровенное, таинственное, подвластное лишь интерпретации посвященных значение. Никогда этика не была столь притягательна для умов. Для чего, однако, требовалась известная лингвистическая определенность в отношении процессов, ускользавших или не подпадавших под власть удобных представляющих моделей. Удивительно, как много кричали¹ в ту пору, заметил он. Читая беллетристику (прогрессивную), написанные тогда или о той поре вещи, легко можно в том убедиться — зачастую прямая речь завершалась ремаркой: «закричали — он/она». И действительно, кричали много; по-разному, хотя, скорее всего, поводом служило опять-таки раздражение и какое-то трудно постижимое нетерпение. Чем ближе Тарпейская скала, чем ближе к личному отсутствию — отсутствие общее, общественное, мораль, тем громче звучат голоса. И это понятно, сказал он, преимущественно именно этому обстоятельству обязана московская словес-

¹ По желанию слово может быть замещено на «шептали».

ность, казалась бы, совершенно другого толка, но «кричащая» с таким же странным сладострастием (и поныне) даже в попытках описания собственного крика. Дело не в боли. Иное.

Меж тем, невзирая на кажущееся разнообразие манер, стилей, кричали как-то гладко-монотонно. Порой казалось, человек кричит и вот-вот изойдет, его вот-вот не станет, а присмотреться — видишь, что он погружен в тончайшую неземную грезу. Возможно, при определенных обстоятельствах крик кажется единственным способом «ускорения времени» но тогда, опять-таки, является, наверное, и проявлением раздраженности его «медлительностью». Я слушал, курил, мы двигались в сторону сада Академии художеств. Там было туманно, вечер серел явственной. Пали желуди. «Как же ты не понимаешь!» — закричал он. Нет, не понимаю.

И не понимал. Кому бы я ни писал, я всегда нахожу возможность (привычка) сказать несколько слов об идиоте, который упоительно кричит в соседнем доме, иногда срываясь чуть ли не на вершины каких-то очевидных оперных рулад. Кричит он обычно накануне перемены погоды. Соль разъедала обувь. Может быть, в преддверии магнитных ураганов. Мы создаем то, что в перспективе должно создать нас. Перемены ролей в неукоснительном сослагательном, управляющем повествовании. Прошедшее время в итоге становится декоративным, оно есть как бы настоящее повествования. Мы упустили время. Меня выпустило, наконец, из своей власти «зрение». Я также упоминаю и о мальчике (ничто не мешает мне предполагать, что это не мальчик, а девочка), играющем на скрипке. Многие теперь в письмах спрашивают об успехах того и другого, как бы напоминают мне, что, вероятно, в своей поспешности я забываю о них написать, о них, к которым уже привыкли, которые стали составными текста, речи,

моей реальности, образующейся там и возвращающейся ко мне объектом, одновременно обязанным существованием мне и воображению другого. И впрямь, подчас я о них забываю. Не кричат, не играют на скрипке — и забыл. Мне нравятся ранние групповые портреты Хокни. Полная разбалансированность жестов-интенций и «фальшивая» дискурсивная логика в поэзии Э. Дожь выравнивает средо опосредования, расправляя звучание электрички. Электричества или Электры. Лучеобразная лень. Коричнево-фиолетовое собрание сочинений И. Бунина на полках кафедры славистики. После разговора с Хьюзом Лин говорит, что когда мы с ним перешли на русский, наши лица страшно изменились. Точно так же был изумлен я на бруковском «Вишневом саде» в Нью-Йорке, когда с первой секунды, с первой реплики актеры стали театрально кричать, что вмиг подвинуло меня на предположение какого-то иного, «бруковского» хода в игре и что через несколько минут, когда я пришел в себя, рассеялось, оказавшись обыкновенной, даже несколько приниженной эмоциональностью английского языка. Шарлотта ела огненные шары. По мнению Синявского, «провинциальность» Гоголя, его неумение пользоваться-использовать свой язык (в привычном деле рассказывания историй!) в той мере, как использовали его жившие тогда в столице, и были импульсом его лингвистического личного опыта. Кажется, так. Вероятно, так. В самом деле, и языковая аномальность, бесконечное отклонение от узуса — есть Гоголь, его нескончаемое радение о памяти и постоянное забывание всего, наращивание забывания, разрушающего цензуру установления, инструкции, дня. Но — можно провести другую аналогию. Например, с индейцами племени хопи. Безусловно, это частное наблюдение. Но, возвращаясь, к предыдущему, к временам крика..., к временам «искренности» «откровенности». Нетрудно связать немногие внутренние побуждения, мотивы, действительные и по сию пору (к слову, здесь уместно лиотаровское meta-recite), в

обыкновенном, обыденном дискурсе. Например (из недавнего газетного опроса), около 70% — или что-то около того — опрошенных советских людей наибольшее счастье в своей жизни «находят в детях». В любом конкретном случае (за редкими исключениями) это утверждение — чистая ложь, поскольку нигде не существует такого жестокого и постыдного равнодушия к ребенку как таковому, к этому ребенку лично. Но в широком смысле, вероятно, это утверждение есть правда, так как, по-видимому, выражает пресловутое коллективное бессознательное, — опять-таки, нигде так много не уделяют внимания детям вообще, нигде так не отчетлив мотив архетипа младенца и вины «взрослых» искупаемой в его жертве. Расчлененный в воспитании. Литература, фольклор и так далее. Дневная жизнь. Кинотеатры. Вечер. Удивительна сегодня растерянность тех, кто свидетельствует о «разрушении культуры и ценностей». Книги перестали быть фетишем, всяческие театры и зрелища, бывшие чуть ли не мерилем сущности обще-жития и пр., также теперь не зависят от публичности. Посещение того или иного представления стало делом абсолютно частным, отсюда растерянность. Конструкция, архитектура этого архива рухнула вмиг. Вот и я уже с 1969 года не смотрю никаких спектаклей. Более всего мне претит посещение так называемых хеппенингов, actions, выставок, уже не напоминающих даже деревенские танцы. И мне безразлично — Достоевский ли то, Набоков, Беккет или XYZ. В темном зале неуклонно клонит в сон, невзирая на окружающий шум. Я проспал в Вишневом Бруклинском саду в общей сложности минут семь... На спектакле Crowbar я засек время и выяснил, что Чарльз Бернстайн проспал около шести минут. Если бы не Ван-Тинген с барабаном, возглавлявший хор ангелов (около пятидесяти хористов и хористок с пластиковыми крыльями!), Чарльз проспал бы до конца. С другой стороны, не следовало бы обедать перед представлением. Обед, вино, внезапный холод, потом тепло зала,

полумрак. Двойной кофе, пожалуйста! Два двойных и водку. И никаких «симулякров».

Подозреваю, что порядок таков. Потсдам. Ростов-на-Дону. Винница. Ленинград. Сквозь них, как сквозь сито, просеиваются бесчисленные города и населенные пункты. Втайне наслаждаясь безнаказанной гибкостью их именований. Доведенное до предела смысла, к черте мгновенной возвратясь бестенным и прямым, как возмездие: очередное согласование. Покуда вновь не достигал чумных курганов со стороны Херсона. Крым падал за горизонт погасшей морской звездой. Они сидели за столом с дыркой от выпавшего сучка, привалясь к рыжему ракушечнику стены. Верхами осокорей шумел ветер с Каховского водохранилища, напоминая привкус железной зелени городских садов. Лицо той, кто сидела рядом, отваясь на ноздреватую стену, было как банка молока, а затем все остальное, как будто подобного никогда не было, как будто впервые, как будто никогда широко открытых, остановленных глаз, когда голову сдвинула в сторону, чтобы подальше от луны, когда подняла колени. Не отходили от окон, тополя цвели. К утру фонарь прекратил свое существование. Ночь, утро. Но наряду с тем в каждом из мест уже тогда просматривалась завязь другого места, другого действия, другой со-общительности, со временем обретавших (кажется) определенность. До сих пор остается почти невозможным сказать, чему я учился в школе и далее, в других учебных заведениях. Лозы. Только то, что есть — есть то, что достается переходящему в область, где не упорствует больше сравнение.

«Ленинград. 18 мая 91. А почему, например, тебя не волнует тайна тунгусского метеорита? Ко всему прочему не ты, а я в мае 91 года удосужилась встретиться с заурядным идиотом в лице известного “художника”. Это — ты. И даже не заурядный, а буквальный идиот. Тебя провели,

как последнего сельского придурка. Ты не нашел ничего лучше, как тоном уставшего скитальца “поведать” мне повесть своих странствий? Что ж, тогда придется поведать то, чего ты так страстно жаждешь. А чего же вот так, впустую по свету рыскать? Все здесь. Здесь Аркадия, здесь прыгай. Ну, с самого начала, наберись терпения... потому что твой ум и сатанинская изобретательность явно не дадут тебе возможности понять все так, как это понимают обыкновенные люди, которые ходят на работу, стоят в очередях, слушают припадочных кандидатов во всевозможные президенты, которые давным-давно все знают. Которые уже успели забыть. Те, кому надо, конечно... Справедливо было бы спросить: а зачем? Зачем мне это рассказывать — ты так незыблемо устроился на художественных антресолях, там, где ищут пропавшие рукописи, сочиняют оратории и пропитанные тонкой иронией романы, за которые кое-что кое-кому иногда выпадает. Вот только не нужно ругани! Не надо. Еще успеешь. Обещаю. А там посмотрим, захочется ли. Ну, взял ли ты ручку, бумагу? Включил ли ты свой диктофон? Можешь сварить кофе, мне спешить некуда. А пока ты варишь кофе, я наблюдаю, как внизу трахаются коты. Русская сексуальная революция затронула, как видишь, не только пятиклассниц, но и зверей, птиц и, наверное, кирпичи. Гляди-ка, совсем как люди... Наверное, и вправду весна. <...>

Зависит ли сознание конечности, которое возникает и разрастается в человеке, покуда откровенно не совпадает с ним, от факта его рождения или же от сознания и веры в то, что был рожден он, но никто другой? В том, что при рождении не обменяли бирки? Моя мать, фотография которой лежит передо мной на столе, говорила, что, когда я родился, лил дождь. Но это в той же степени достоверно, как и то, что то, что было отделено от нее в какой-то миг, есть в настоящее время — я. На фотографии мама в прекрасном невесомом, белом, шелковистом плаще (та-

кие плащи назывались пыльниками), волосы высоко уложены, открывая особенные, как будто слегка припыленные, лучше — придымленные серые глаза. Да, это ее чудесный лоб, руки (что отделяет меня от них?); рядом, у колена, какое-то существо в коротких штанах, справа отец в белом кителе, верхний крючок ворота расстегнут, он опирается на прямую спинку деревянного кресла, в котором сидит мать. Составляющие всех воспоминаний, воспоминаний всех без исключения. Фотография может быть иной. Сзади них, нас жара, звон в висках, протуберанцы под веками, раскаленный булыжник площади, прозрачные тени прохожих. Потсдам, 49 год, Жмеринка, огромная груша в глубине сада. Грозовой гул поездов. Год рождения. Место все то же. Потом другие места. Ростов-на-Дону. Обломок стекла, сведший в радугу стрекозьего крыла август.

Явь я возникала, как я, уходящий в я, уходящее в такое же я когда-то, где-то. Вначале. В смысловых отклонениях и пересечениях, которые мнятся (чем?), но начало уже требует слова «мираж», в котором, несомненно (точнее, досомненно) сознание провидит удваивающее себя удвоение. И оно сладостно, равно как и вожаденно, поднимаясь из глубин реальности и географических фолиантов гелиографическим, бестенным свечением мира, стоящего на грани зрения, обращенного в себя, как подсказывает позднее значение латинского *mirage*, слабо брезжа в пристальном зеркале неизменного удивления восхищеньем «мираджа».

«Я понимаю» угрожает протяжением нескончаемой тавтологии. Следует не предупреждение, но перечисление: тренольник Пенроуза, бутылка Кляйна etc. Декорации спектакля, притязавшие на роль зеркал. Но, вероятно, где-то в самом начале зеркало было разбито. Затянувшаяся вспышка, постепенно пересекающая границу силы и продолжающая свое расширение во время. Становление и

исчезновение исключают пространство. В детстве экспансия бесконечности космоса поддавалась воображению намного легче, нежели нескончаемое свертывание точки во что-то, что должно было быть «бесконечно меньшим, нежели мыслимая малость». Спустя время суждение о том, что предела не происходит, уже не вызвало никаких эмоций. Ощущение доверчиво возвращается к вещи, вблизи которой или в которой впервые ощутило свое возникновение. Как я чувствую свое чувство? Относится ли это чувствование к чувственной сфере или к интеллигибельной? Медленно артикулируемый гул языка в шелесте клавиатуры. Засыпая, думать о чем-то, скользя и касаясь клавиш «взглядом». Мы возвращаемся к мысли о письме танца, о пустом языке, ничего никогда не отражавшем. Если к речи приложимо «количество», то какое количество речи необходимо для того, чтобы не выразить ничего? Однако если это «ничего» возникает как смыслы сказанного, написанного, не требует ли оно в свой черед, срок быть выраженным? В чем? Зачем это мне? Могу ли я созерцать дерево в окне точно таким же образом, как делал это пятнадцать лет назад? Вместо дерева можем поместить в это же предложение слово «книга». Что нужно мне в книге, которую я знаю наизусть? Будет ли это та же книга, которую я читал пятнадцать лет тому назад, если это будет другая такая же книга? Например, в библиотеке. Либо у моего друга в Беркли, где я открою ее на все той же привычной 67-й странице прямо на описании нескольких акварелей, стены и осеннего утра, свежести и запаха смолотого кофе, к которому примешивается дух только что согретого на плите молока. Птицы суть числа для расчета местоположения наблюдателя и его взаимоотношений с предметами и масштабами. Облако — совсем другое дело. На той книге было небольшое пятно, оставшееся от сигаретного пепла. На этой книге, у окна, в котором ярко блещет горячее солнце, пятна нет, но в ней, вопреки описанию комнаты, утра, обостренных осенью запахов, возникает, как черни-

лами вписанное, имя Джезуальдо, которого, естественно, на странице нет и которого не было в той книге с пятном пепла, а все остальное покуда совпадает — и автор, и количество страниц. Не звони мне, я занят, я размышляю о несчетном количестве разнящихся совершенно книг с одинаковыми переплетами и словами. Не исключено, что тогда же не произошло оседания распыленного «я» в некий узор, который впоследствии слепым пальцам предстояло читать как возможность пересечения «линии вымысла» или «черты реальности». Нельзя не учитывать, так сказать, резидентный вопрос: определяется ли территория того или другого чем-либо помимо их взаимоперехода? «Я понимаю я» либо «я учу я»,

действие чего разворачивает поле некой прозрачайшей оптики, которое в процессе наблюдения обретает глубину (объем — правильнее) в орнаменте известной топонимики Фрейда. Но даже в координатах этой системы числом три гуны входят в состав пракрити, не существуя, но обнаруживаясь во взаимоотношениях. Но даже в координатах этой оптической системы «я» оказывается не чем иным, как динамической переменной, наподобие брезжащего в становлении значения в фигуре эллипсиса, в нескончаемо перемещаемом пространстве отсутствия значения, в предста(но)влении некоего смысла.

Возможно, он, скорее всего, сопрягается с тем, что очерчивается понятием конечности, пунктом расхождения всех линий личностной перспективы. Независимо от расположения обернись — это уже всегда противоположная «точка».

И тем не менее все места и их сроки уменьшены (по-иному не назвать) в нечто подобное уколу шипом кизила в одно февральское утро сорок лет спустя. Они уменьшают-

ся на этом странном неосязаемом острие укола, под стать сонмам ангелов. Я полагаю, что некогда поставленный вопрос о возможном их количестве в подобном этому месте поставлен был правомочно. Но что не происходило с нами из того, чего не могло или не произошло с другими? Школа? Чтение книг? Скажем, прямо-таки безумное чтение книг... одержимость книгами, эротическое наслаждение их запахом, осязанием, нескончаемым предощущением того, что никак не происходило (и что входило в некоторое знание), но только должно было случиться, — позже узнавал это в отношениях с женщинами.

Удивительная заброшенность младенчества и детства в еще небольшом о ту пору украинском городке, где закончил свою карьеру начальником управления Юго-Западной железной дороги отец в звании полковника. Глиняная культура Триполья легко и естественно сомкнулась с культурой Крита, как охристые подкрылья жука. Что такое автобиография? Экономика раковины и эхо? Игра с пятнами, тенью и светом?

Клады, которые находил Рыжий, сливались подземным серебром изображений Фаустины чадородной, второй жены Аврелия, с холодным базальтовым сумраком пещер, где по стенам и ныне ноют клеймом иной эры Петух, Дерево, Буйвол, сочась подземным неиссякаемым потом. Много позже я слушал первую лекцию по литературоведению в аудитории, которая некогда была кабинетом отца: управление ЮЗЖД превратилось в институт, в котором стал учиться. Не закрывая глаз, совсем другие лица, другие голоса. К тому времени отца не было.

Школьные годы напоминают досадную соринку в глазу, медленно, но все же стекающую куда-то вовне, в странные промежутки действительно волшебных мгновений, слу-

чавшихся в сознании провалов и оцепенения, которые наиболее ярко вспыхивали в изломах солнечных дней, пустынные, осененные мельчайшей, искрящейся, повисшей в воздухе пылью. Курганы. К тому времени, прошлой весной в Нью-Йорке (воскресенье, резкие тени покинутого рая, расширенного, как детский карий зрачок), я уже разобрался, откуда родом это наваждение, — в каком-то фильме, случайной хронике: руины Берлина, солнце опять, опять ничего, паутина текущего шелеста, запустение. Да, пожалуй, на это стоит обратить внимание, сказал я себе, обращаясь к кому-то другому, кто, выискивая в моей жизни доказательства неизбежной моей смерти, на самом деле искал все те же щели бессмертия; у всех нас отцы полковники. И: «я помню, — но я старше тебя, — как выглядел разбитый вдребезги Дрезден». Именно так. Вот откуда, прищурясь на солнце, пришел путник. Вот зачем, взявшись за руки, поем. Вот что я тебе скажу.

Когда возникло то, что называется желанием писать? Записная книжка? Мать? Пишущая машинка? Странное и одновременно дикое чувство недостаточности того, что досталось в чтении? Но тогда чем было чтение? Оторопью? Россыпью? Провалом в действительном или же реальностью, пред которой меркло окружающее невыносимо медленное кружение, следующее поступательной, пошаговой логике? Что чтение теперь? Действие перехода в иную природу зрения? Или не зрения даже, а того, что ему внеположно? Ослепления? Сколько можно носить этот грязный свитер? Уверен ли ты, что тебе необходимо выходить из пункта А? Пишу ли я это, вслушиваясь или вглядываясь? Или же я следую по срединному пути, не имеющему определения, но не имеющему также отношения ни к зрению ни к слуху? Увижу ли я еще Нормана Фишера? Услышу ли звук гонга пробуждения? Договорю ли я с ним то, что не начато? Живет ли он там, как и раньше? Или же вновь: узнать, так ли это, то, о чем догадыва-

ешься? Крадучись. Конечно. Балансируя. По проволоке, трещине в воздухе, в ожидании, натянутой между крышами, когда сипло внизу играет тусклая труба керосинщика, зазывая в старые пустые кинотеатры, бывшие когда-то сараями, складами, но изменившими себя, впитав столько теней из свиты Персефоны. Что сейчас делает Парщиков? Получила ли письмо Маша? Когда? Хотя раньше, вероятно, возникло опять-таки ощущение бумаги, карандаша, их соприкосновения, единства и обоюдного острашения. В итоге неизъяснимое превращение и бумаги, и карандаша, и его движения, и движения глаз в иное, природа чего до сих пор непонятна и о чем просто и коротко сказал однажды Башляр, называя это «поэтическим образом», — возникновение чего есть явление внезапной тишины на поверхности человеческой *psyche*.

Я люблю подолгу — в окно. С той поры, как у меня появился письменный стол, я располагаю его таким образом, чтобы слева непременно находилось окно. Нет ничего прекрасней буквенных сетей, разворачивающих свое строгое мерцание. На юге небо выше, чем здесь. В Калифорнии небо до сих пор созидает землю и зрение, созидающее до сих пор звук. Двигаясь из Мексики. Поменяться местами. Также необходимо иметь свое дерево. Слова не существует. Есть только это неустанное скольжение в бормотании — «слова не существует», — и скорость, останавливающая мир, вернее — в которой он проявляется. В конце 60-х Ленинград был пуст. Летом, по утрам, над политыми мостовыми дрожал воздух, по ночам приходили голуби, за ними стлался сырой клетот и сияла известь. Я попрошу вас внимательно проследить траекторию той птицы. В данном случае неважно, как ее зовут. В дальнейшем это нам пригодится. Через несколько лет, к концу 70-х, многие из тех, кто понимал толк во многом, уехали. Если проследить траекторию этой безымянной птицы, возможно будет понять то, как возникает описание мерт-

вого времени. Не путать с мертвым озером, взором, хотя и в том и в другом смерть шествует задом наперед. Однако мертвое время никоим образом не является тем же, что пространственное время (то есть буквально такое, какое оно есть изначально, — завязь) — открывающее себя со всех сторон, как, допустим, открывает себя взгляду глыба стекла... Можешь назвать это ягодой, слюной, пером. Все возможно здесь, поскольку имена переливаются очертаниями распыленных желаньем вещей, вопрошающих, как мена имен преступает имение, не присваивающее, впрочем, ни волоса. Пузыри воздуха, пузыри земли. Во всех модальностях. Двери закрываются. После чего Ленинград неуклонно наполняется людьми, незатейливо и походя принимающимися разрушать то, что не находит места в их опыте. Тот, кто начинает пользоваться кокаином, должен знать, что, когда нюхаешь, периодически следует прикасаться языком к небу. Если ощущение соприкосновения исчезает, надлежит немедленно прекратить. Потому что спустя некоторое время возникает ни с чем не сравнимое равнодушие неодолимого любопытства к тому, что находится внутри у тебя. Больше, чем 1, в сто тысяч раз. Для исследования годится все. Нож, бритва... Городские крысы не склонны к кокаину, но охотно пьют спирт. В литературе происходит то же самое. Отсутствие открытого опыта разрушает будущее. Многие вещи меня сегодня не интересуют, как не интересовали вчера, и поэтому говорить о них нет попросту смысла. Тиха в покачивании дорога от госпиталя к остановке трамвая, полупустые поля, а позади — старый, разрушенный ботаникой парк. Вдоль дороги — цветущие вишни, песчинки, раскалывающие скорлупу безлюдья. Речь о любви. Прежде всего незаинтересованность тона и тела. Допустим, ты знаешь, что у Охотского моря живет племя (по всем признакам оно относится к алеутам), люди которого, достигнув 43 лет, занимаются выращиванием во рту изумрудов. Наподобие перловиц. Но только в миг смерти изумруд может быть

явлен на свет, и только шаману дозволено извлечь его из рта Дарящего. Изумруд же затем отдается женщинам племени на воспитание сроком на шесть лет. После чего в полнолуние на берегу в течение семи ночей происходит призывание духа того, кто подарил изумруд. На седьмой день обычно поднимается ветер, море отступает от берега, а на обнаженном дне, в камнях, среди которых черным поблескивают крабы, прячется смарагд, сопровождаемый простыми словами — «ныне снова ты пуповиной, отнятой солнцем, связуешь нас воедино; ныне ты весть, слово, возвращаемое дыханием в рот тому, кто подарил его на время нам, дабы исполнились надежды и упования памяти». Напоминай себе каждый день, каждое утро, как зовут их, тех, кто продолжает рассказывать истории об исхождении слов — из, продолжая списки зверей, рыб, облаков, минералов, того, из чего состоят ткани, клетки, изумруды, электроны, воспоминания, звуки, фессалийское золото, сны, дыхание Шивы, когда на перекрестке дорог он начинает письмо того же все танца, стопами прикасаясь к камням, подобно тебе, ведущей рукой по моему позвоночнику, — каждое утро начинай именно с этого, как начинают те, кто упражняет дыхание — ты начинаешь с упражнений в забвении, доводя его до состоянья кристалла; медленно, неотступно, упорно, просеивая по дхарме. А затем легко и беструдно: разбить. Это не смерть. Это лишь расстояние от буквы до буквы. К тому же я не знаю, какой материал необходим для написания автобиографии... Но мы, надеюсь, непременно к этому возвратимся. Еще и еще. Мы возвратимся непременно, и это возвращение вновь позволит предпринять те же наивные и трогательные попытки спрашивания-отыскания неких начал — тогда, когда окончательно окажемся вне их пределов, совпавшие с собой без остатка, ввергнутые в кружение высказывания: центр солнца — зрачок. Надо полагать, что лишь только такой предстает возможность некоторой ясности, позволяющей сно-

ва сочетать «факты», «даты» с различными «местами», не особо обольщаясь при том пустынным пением этих сирен.

«Москва. 16 мая 91. Саша, уверен, что ты не ожидал от меня этой записки. Честно сказать, я сам от себя не ожидал. Словом, я хотел бы отдать тебе весь материал про Джезуальдо. Точнее, я решил отказаться от него в твою пользу после того, как посмотрел какую-то довольно цветную костюмную картину и понял, что мой интерес к этой затее непонятным образом угасает. Вероятно, мои злаки колосятся на другой ниве. Но ты, очевидно, уже знаешь, переговоры прошли неожиданно успешно. Они в курсе, знают все, что нужно (кстати, мне кажется, что они хотели бы работать именно с тобой; во всяком случае, так показалось). Считай, что “договор” в кармане — хотя контуры этих блаженных берегов чрезмерно расплывчаты. Берлин я не люблю. Безо всякой причины. Главное заключается в другом... Но у меня в запасе еще один анекдот. Простой и незатейливый, наши 60—70-е, вся эта клюква с чаем, кухнями, разговорами, песнями, папиросной машинописью, водкой и пр. Москва или Ленинград. Сов. ИТР, причем как бедный, так и не очень бедный, но с такими большими надеждами, что они напоминают некую стоическую безнадежность — все то же самое, курсистки, экспедиции, песни, рука об руку, ключи в колодец и т.д. Коммуналки, белые ночи *ad hoc*. Романтическое ч/б (то, что ты хотел в “Преступлении и наказании”). Герой пишет книгу о Джезуальдо (это я тебе и отдаю). Ну, пишет там, не пишет, дело десятое. Важно, что его “подвиг”, его “труд” становится... тотемом, что ли, всей компании (да, непременно кого-то должны подозревать как осведомителя, без этого никуда; так сказать, ежедневная, будничная динамика). Опять-таки — традиционные служения Музе в лице Геня, жертвы и ожидания, но и Гордость причастности такой Судьбе, так как пишется не книга, но создается Система, должная объяснить все до последнего —

подвести черту подо всем. Компания надеется, возлагает и пр. Он (или она?)? Вероятно, все же ему достает понять, что он обыкновенное книжно-журнальное действующее лицо (в этом и претензии); ну, не понимает... — не наша беда. Учти, за охоту на священных коров дают не очень много, даже удачную. Мечты заразительны, равно как и отвратительны... Постепенно он начинает верить в то, в чем его убеждают окружающие, — в избранность. Одновременно обычное: “сейчас не время”, к тому же “для кого?” Там?.. А там им надо открыть глаза. Постепенно в его голове зреет смутный образ некой другой жизни успеха, возможно, и так далее, что одновременно является оправданием безделья. Но чтобы уехать, надо быть евреем или же сесть в лагерь, да и то еще вилами по воде писано. Словом, случайно (или не случайно?) он убивает приятельницу на даче, ну, а там дело, как говорится, техники и стечения обстоятельств. Друзья поднимают шум, госдеп колеблется, но в конце концов дает зеленый свет, процесс превращается в политический — и он благополучно отправляется в изгнание. Вот тут-то... <...>»

Даже у щедро залитых лазурью и киноварью фигур редко когда бьются на ветру промерзшие насквозь волосы. Бедным снегом поздней осени заносимые. Мириады солнц пылали, не заходя, пожирая луны. Хотя он был мертв, так ему представлялось в наблюдении из ставшего детским в какой-то из дней тела. Человек, подошедший к витрине, долго изучал собственное отражение, до которого ему не было никакого дела. Пригладить волосы рукой. Как уменьшение горы к вершине. Он пишет затем в письме о ветре, что его глаза заносит неприятным белым веществом. На ощупь сухое. Как уменьшение лезвия к исходу линий. Перспектива. Включает и выключает свет. Описывает и это, узнавая как бы между прочим о природных условиях местности. Ушло на то, чтобы припомнить, зачем. Любой знак памяти мог быть всем. И был. Длинное предложение,

что оно обещает пишущему? Что предлагает длинное предложение короткому? Непрерывность? Скольжение в теле времени, в трубе времени, по поверхности времени. Завораживающее скольжение вошенных листьев, соломы. Семантического однообразия. Эта тележка была сущим наказанием в моей жизни. Именно так, наказанием. Она была на железных огромных колесах, которые грохотали так, как если бы сто телег мчались по проселку, груженные пустыми бидонами. Но избежать ее не было возможности. Мы отправлялись на рынок. Тогда, когда это случилось, отца давно не было в живых, да и мне стало лет побольше. В то утро, как обычно, мы отправились на рынок, что происходило, сказать правду, не так уж и часто. Перед уходом, вернее, выездом бабушка попросила наломать каштанового цвета для настойки — ревматизм замучил напрочь, и я решил сделать это по дороге туда, потому что знал, что ко времени, когда поедем обратно, я уже оцепенею от стыда — поставьте себя на мое место за эту вот тележку! На углу мы остановились, я подошел к дереву, вытер о штаны руки и только-только собрался было запрыгивать на самый нижний сук, как из калитки дома вышли... о, тогда у меня даже слов не было, чтобы определить их... два фантастических создания! И каких! Боже мой, как они были одеты! Зачем? Откуда? Здесь! где тележки на железных колесах по окаменевшим от зноя рытвинам, где зеленобородые гицели носятся верхом на воющих, собачьих гробах? Белые, накрахмаленные тюльпанами и «почти» прозрачные юбки. В волосах, падавших на плечи, алые ленты, что встречалось мне только в замусоленных польских журналах... Так и оказалось. Быстрее льда и воды, цоканье, шипенье и шелканье речи меня пригвоздило к земле, кровь бросилась в лицо. В руке одной был кремовый мокрый пион, у другой — яблоко. Когда они увидели меня, стоявшего у каштана с воздетыми руками, когда они увидели меня и мою тележку, разговор их прервался, они опешили и замолчали, потом очень тихо ста-

ли прыскать, отворачиваясь друг от друга, а спустя минуту, не выдержав такого испытания, ринулись во двор, из которого только что вышли, и оттуда донеслись до меня, так и не опустившего руки, раскаты такого истерически-нежного хохота, что стало понятно — даже если я и убью мать, это уже ничего не изменит. Все кончено. Ну, спросила она, ломай же каштан! Не говоря ни слова, я отошел к тележке, поднял ее оглобли и, глядя строго перед собой, как слепой, покатил, загрохотал вовсю к рынку. И так далее. В отдалении прекрасен. Либо напоминают листья быстрым свежим строением. Тень Батая, заматающая то снегами, то смехом. На следующей странице идет описание зимы и прогулок на лыжах. Начало третьей части перекликается с концом стихотворения Веневитинова: «и молви: это сын богов, / любимец муз и вдохновенья».

Как пробуждение, как белые ступени, сквозь которые прорастают сумерки, сродни травам, мяте и барвинку, тянущимся из треснувших глаз ангела со слегка вывихнутыми ступнями. Не имеющие сил оторваться от очертаний губы — вчитываясь. Простота возникает, когда все теряет значение. Мы взываем к духу Дарителя-Вещи и возвращаем, во всяком случае, пытаемся всучить ему «изумруд». В обмен на что? Что тебе нужно здесь? Влажный ветер, дующий из трещин белых ступеней, слегка темнеющих к вечеру, темный блеск глаз, как звук моря; темнее, шире.

Серая пена, темный глянец широких, словно из воска, листьев.

Секунду назад.

Искра пространства, летящая вечность между прошедшим несовершенного вида и будущим инфинитивом. Фрагменты идей связываются тонкой позолотой боли — воспоминание. Только тогда, когда сможешь. Мы же были уверены

в том, что наше существование определяется, очевидно, иными законами, далекими от падшей материи вещей, выстроенных из взаимоотношений в системах стоимости и цен, вмещающих немыслимое — время. Другое не означает — новое.

Оно всегда другое, оно не имеет ни прошлого, ни настоящего. Другое — это всегда. Летящая искра пространства, остающаяся на месте, с которого нас смывает через мгновение искра, пробегающая уколom шиповника, расщепляющая раздором, молнией иглу или глыбу стекловидного времени, в которых видны танцующие пути его остывания. Оцепенение. Ладонь человека. Веко луны. Шерсть. Память, сканирующая «память» — таковой быть. Две секунды назад. В физическом пределе сексуального акта заключено отсутствие определения. Прежде всего научиться видеть. Чтобы осеннее солнце согревало голову. Прошлого не существует вне проекта этого прошлого, вне моего желания, чтобы это прошлое было именно этим, дающим мне необходимое «настоящее», то, что превращает мое воображение в «бывшее». Мы не сдвинемся ни на миллиметр, подобно искре, под стать уменьшению и увеличению. Мы — забывание. Вниз по улице бежали молча, пытаясь не сбить дыхания, потому что внизу уже ждали, покачивая переброшенными через руку велосипедными цепями. В окне было сине от отраженного неба. Белье на веревках, как полнолуние. После, после, не теперь, мой друг, где-то в иных местах, там, не здесь. You said that each person is looking for their solitude + I don't understand because it is opposite for me. My aloneness always exists. Always and I look continually for people to touch through its wall rip out the snotty layers + touch inside reminding me that we exist together. Yes, to be sure... I seek to join but remain apart it is not my right but still my desire. It is funny I do not remember our words and now I have so many. Can you touch my eyes again or have my eyes changed from your touch

already seeing a new... Strangeness is surrounding me. The strangeness of men and women touching and not vivid and muted at the same time. I know you and I know nothing at all. The yearning becomes gentle its hope is in my strong desire to return... its sadness is the aloneness separating the muted from the passion. Keep alive my friend inside of me inside of you on the narrow bridge — falling is sometimes our victory. I write again. Как темное, не превосходимое никем и ничем дерево.

Как память черной вишни во рту и горькой рассеянной пыли на дороге из Немирова в Умань, где в лещине, в сизых мхах и проволоочно-дикой землянике догорают обломки лазурного мрамора и мумии снов Потоцкого рассыпаются сладчайшим прахом в кипении сверкающих мух. Мы были, становясь неустанно, в нескончаемом изумлении собственной жизнью. Из чего состоим? На что рассыпаемся, какой состав рассеивает сырой теплый ветер затем, которому с такой легкостью и доверием подставляем лицо и чье пристанище темное дерево, гнездо, звезда в колодце, удвоение в удвоении, обволакивающие единицу — липа, бук, претворяющий тяжесть в смоле, смежившей вежды, ток чей тревожит траву, трение пестует жар звучания строгой последовательности восхождения и нисхождения, когда одни раковины, хруст поющ и свеж, как стебля срез, — бессонный яшень, вяз, чья хрупкость может соперничать лишь с тополиной, — не превосходимое ничем, ни облаком, ни собственными же корнями, ни шумом листвы, ни дымчатым голубем, ткущим стеклярусные кружева лесных отголосков, отсветов, эхо, ни молчанием, которым грезит речь, скатываясь, под стать шуршащей воде с песка или каплям с кожи, после того как ступаешь на топкий берег, и эхо над головой разрывает стон голубя, сокрытый и пепельный, а сзади цепенеет рябь от ужа, дрожащая скудость последних следов угасает. Поэтому говорят, что в Фессалии, в Македонии, в Виннице при восходе Арктура деревья распускаются особенно пышно.

В Египте по этой причине деревья, можно сказать, все время дают побеги, и если перерыв и наступает, то длится не очень долго. Мы, разумеется, не притязали на полное отречение от знания предшествующих нам, но кое-что становилось неуместным: например, даже не одежда, но мебель более всего резала глаз и еще, пожалуй, словечки, а более всего удручала их страшная неуклюжесть в следовании призракам собственных мыслей. При желании можно было бы набросать что-то вроде карты, графика, где были бы нанесены маркеры приоритетных позиций. Стрелки, указатели устремлены были бы в одном направлении, как иглы к магниту в школьном физическом опыте. Также янтарь, чтобы позже о нем. Все остальные предложения просим представить в письменной форме. В форме письма, пребывающего в нескончаемом поединке с собственной тенью. Эта дрожащая карта их мира, их сновидений отсюда кажется мне невыносимо тесной, — сколько было «загублено» оставлено в силу привычек. Главное состояло же в том, что даже ту странную, хрупкую, непреодолимую полосу, где угасало понимание одного и того же, заносила бесцветная пыль, та, которая по воскресениям в детстве переливалась стрекозым августейшим крылом, оседая, однако, черным налетом повсюду. Вокзалы. Хрустящие вафли микадо, диваны светлого дуба огромны, вензеля МПС, пустота, атриум, стеклянные крыши, шары аквариумов, лампы молчанья в руках херувимов — казалось, что там всегда царит воскресенье, тогда как у стен тонкой судорогой ледяного затмения сжимается зеленью море. Водоросли. Пузырьки. Укрупнение зерен, из которых составлено зренье, — стручок, — срезы которого (что теперь не вызывает сомнений) были само совершенство: плоскости мира входили в соприкосновение с идеальной поверхностью глаз: процессы диффузии. О которых известно было Плотину: сновидения синтаксиса. Платонический растр. И никто не мог даже в шутку представить, — нет, понятны были и войны, и казни, пре-

дательство, словом, старый тезаурус не вызывал подозрений, — что наступает эра великой бессонницы, что сны отказались от нас, так случилось с водой, когда она порой покидала колодцы, а там, бесспорно, если сверху глядеть, еще что-то мерцает, но вода вдруг оставила нас, вода покончила самоубийством или же кто-то ограбил ее, разрезал ее пополам, на две половины; вторая жаждой была, а первая ее отражением, но, вероятно, бессонница была только кодом ячеек сознания, которые тоже слагались в надпись прорех и излучин, в фигуру утомительной оды, — поскольку со всех сторон обступающего горизонта до неба поднимались свидетельства (и не надо быть весьма изощренным в чтении знаков подобных... по меньшей мере, мы тому научились... впрочем, когда? библиотеки? письма? короткие смешные рассказы? видеорепортажи? etc., а Моцарт! Торелли! «Введение в Т» Барретта Уоттена! Ипохондрия Жданова! Или чемпионат среди школ по легкой атлетике, когда гарь блаженно хрустит под шипами в секторе, где установлена планка на 2.04, сеется дождь, и трусы прилипают к ногам, волосы — нет; тогда, если помнишь, коротко стриглись, и в волосах ползли капля за каплей, как речь с неустановленного, блуждающего предмета — вещь? признак? — когда опять возвращаешься к берегу, а сзади затон, зигзагообразная черная молния, лилии, восходящие вниз, как будто к корням...) — того, что открывается эра отнюдь не бессонницы (она — это следствие) — Памяти, бесконечной, как очередь за водкой, сигаретами, рисом или же пламя, в которое смотрит ребенок, постигая то, что впоследствии станет вполне недоступно (в какой-то мере ненужно), то, как оно пожирает себя, не существуя, струясь. Пролив Флогестона. Блейк. Purgatorium. Центр. Однако было известно, что в архитектонике этой машины отсутствуют должны уравнивать «крылья». Симметрия, сведенная в точку. Яблоки все же оставались на вкус теми, что прежде. Солоноватая кровь. Точно так же несложно оптической пленкой, слегка

замутненной, комкался шепот. Все те же: «еще!...», «делай со мной все, что захочешь!...», «да, я буду... нет, только... да!» — касались воображения и скользили по склону часов, словно отсвет уже отраженного окнами заходящего солнца. Изучались пейзажи, подобно латыни. Падежи минералов, спряжения рек, окончания веток. Пристальная археология слой за слоем проникала в погоду, небо не утрачивало многозначительности. Хотя, как уже говорилось, стало больше крыс, сумевших завоевать автономию, астрологов, переметнувшихся к крысам, откуда, впрочем, в лагерь людей вернулись целители, игроки в кости, — поэты пока выжидали. Намного больше травы. Дети прекрасны. Головы их шелковисты. Я не приду к тебе, поскольку теперь адреса утратили смысл, мы пребываем повсюду и помним все то, что было и будет. Медлительный комментарий: либретто балета: тело ползет по направлению к югу. Герои просты, словно карты или же графики. Тело: архив, исключивший слоенье огня, эллипсис, где расправляется сила оператора смерти — союз. Стрелки указывали изменение поворотов дороги. Шумел дождь, точно шелк, брошенный вверх и летящий навстречу. Сад расцветал тетивой из пчел. Теперь я со странным вниманием размышляю о беленых стенах, о мальвах, ястребах, процарапанных на бересте и алмазе, теперь с уверенностью можно сказать — предвиденье стало достоянием всех, невзирая на то, что формула остается в секрете. Но тебя, что коснется тебя?

Пейзажи «чередуются» либо связаны между собой в партаксисе, либо как элементы, из которых состоит их ожиданье, прибытие. Нить, связующая ожерелье.

Безостановочная смена не заполняемых ничем видимостей, но разве мало того, что ты видишь? Кадры безостановочной ленты, активизирующей частицы сознания. Нередко я возвращаюсь к образу здания, расположенного на

пологом склоне холма, не деревенского, не коттеджа, но городского, четырех- или пятиэтажного дома. Который совершенно чужд пространству, его окружающему, точно так же, как и моему повседневному воображению, уставшему от выгорающих следов тех же лиц, тех же ситуаций, неряшливо и торопливо и даже как-то крикливо раскладывающих «передо мной» свой покорный скарб. Строение точки, утром утроение прикосновения. Чтение того, что еще не стало письмом — чтение предшествует написанию: «именно такие мгновения, когда события, не имевшие значения и существовавшие независимо от намерения, бывшие перфорацией памяти, обретали невероятные причины» — причин нет.

Следовательно, дом чужд дрожащему от летней жары воздуху, уходящим полям, повисшей над горизонтом сверкающей точке, омываемой моим зрением и танцующим эфиром, он чужд твоему и моему вопросу, детству, любви, как и тишине, удивляющей, по обыкновению, своей неестественностью. Но преткновения. Пейзаж и человек взаимоисключающи. Пейзаж — это линза, оптически-словесная система, превращающая безотчетное, бесцельное намеренье выйти из границ какой бы то ни было меры, масштаба, соотношения в нечто подобное неосязаемому лезвию, проникающему ткань за тканью, отражение за отражением, описание за описанием и плавящему во все возрастающей скорости различия между пейзажем, намереньем, проницанием — предметом, желанием, действием, становящемуся и тем, и другим, и третьим, и сто пятьдесят тысяч вторым. Вся русская словесность есть явное или неявное выпрашивание дачи у Бога или у Начальника. Отсюда поучительность, наставительность и откровенность. Бессмертие как дача. Дач не бывает много, что усвоено с детства. Русская лирика — письмо Даниила Заточника, не получившего дачи. Но дач дается определенное количество. Дачу нужно заслужить. Поэтому дачу

получают лучшие. Лучшие существуют лишь там, где есть худшие. Если худших нет, они создаются усилиями лучших или других, которые в итоге становятся лучшими и получают жетон на дачу, благосклонность, бессмертие. Страдание в этой схеме — забег утешения. Там также разыгрываются призы. Их, опять-таки, закономерно меньше (верней, они незначительней). *Aufhebung!* Петя Трофимов бросает ключи в колодец. Вероятность физического выживания. Порой служение длится жизнь. Меня тошнит сегодня даже от Розанова. Розанов, Пушкин, Достоевский, Бердяев и пр. не имеют никакого отношения к дому на отлогом склоне холма, за которым уходят, заваливаясь, поля, не имея никакого отношения к жаре и к коршуну, отточено мерцающему над горизонтом. К этому не имеют отношения ни Генри Торо, ни Томас Манн. К этому имею отношение только я, читавший Гоголя, Пушкина, Достоевского, Манна etc., видевший дотлевавший вечер в комарином роении над гниющей венецианской лагуной, Китай, лежавший на западе, знающий кипящий туман и то, как он растворяет глаза, мозг, соль, кости, жилы в скандинавских фьордах в шесть утра, когда гремит, перекатываясь по палубе, жестянка от пива, сдергивая полог тела с того, что остается телом, приоткрывая на миг то, к чему, наученный многому, я возвращаюсь, минуя выученное, под стать тому, как иногда возвращаюсь к этому зданию (так мысленно возвращается-восстанавливается читающим недостающая буква в месте, где отсутствие ее было упущено корректором), рядом с которым иногда можно обнаружить телефонную будку — вряд ли доводилось кому из нее звонить. Не помню. Если бы не было зеркал, они никогда бы не догадались, что я безобразна. Впрочем, полной уверенности в том у меня нет. Если бы не было зеркал, им ни за что было бы не догадаться, что я существую. Проблема не в этом. Тень дома широко ложится на землю, поросшую, кажется, подорожником, одуванчиками, осотом. Кое-где в неглубоких лощинах стоят в по-

блескивающей паутине репейники и чертополох, бузина налилась своим ядовитым молоком. Тень дома широко ложится на землю, достигая зарослей подсохшей акации. Солнце садится, как всегда, когда оно отражается в великом множестве окон и затем блекнет на коже плеча — в этот момент ты только слово, как и остальные слова, которые я отцеживаю так бережно, так осторожно, как если бы боялся упустить хотя бы каплю из того, что, как мнится мне, они содержат в себе, — но не моей ли слюной полны? Парадная дверь дома распахнута. Можешь прислушаться, обе (не крашенные вечность) половины ее, должно быть, поскрипывают, хотя, вероятно, это разыгралось воображение или ветер. А дальше сетчатая мгла коридора: в ней брезжит дверь лифта, снова круглая слезой резь — открытые настежь двери черного хода, хода во двор, которого нет и вместо которого подступает к искрошенным цементным ступеням поле, как есть, как без следа и уходит туда, где никогда никаких не должно быть следов. У меня ноет сердце, дело к дождю. Мы, а тут не о чем вроде толковать, приезжаем издалека. Панорама кисти Феллини.

Свет на лице мамы. Свет на воде, на укрупненных лиловых листьях инжира. Мокрый кирпич тропинки. Левкои. Небесный проем, пролет из двери в дверь, насквозь, вплывая: одно и то же, одно и то же: костры, дым и пролет сквозь сетчатую мглу всего-навсего к следующему порогу: мы с мамой в Venice за столом в ресторане, все вокруг с любовью смотрят на нас, все, кто пришел встретить нас, все, кому, как и нам, слегка опалает лицо жар рефлектора под потолком. Скорей всего, здесь нам не доведется увидаться.

Следующее место. Склоны. Тень давно прошла сквозь кустарник акаций, оставив ему подавание в виде нечеткости, зыбкости, брезжит. Однако больше не происходит никаких изменений.

Жил ли я в этом доме? Жил ли я в это время? Нет, жил ли я в таком доме? О чем разговор. Но хотел бы я жить в таком доме? Или в такое время? Тень крадется к акации. Скоро она накроет кусты, а когда достигнет столба ограждения, подъедет автобус. Мы должны спускаться. Внизу стемнело. Руки пахнут бензином. Внимательно и неспешно спускаться, что, как известно намного труднее самых головокружительных восхождений. Монотонный труд повторения, вхождения в давно известное. Все прохладней. Зрение путает масштабы, вновь люди внизу кажутся необыкновенно реальными в своих движениях. Поразительно глупая картина, неведомо как оставшаяся в мозгах: кованные башмаки, толстые суконные штаны, заправленные в непременно клетчатые гетры, джемперы, Шварцвальд, коллега, вакации. Однако рот не желает изводить из мерной мглы странную переводную картинку. Проплывающий мимо уха камень на долю секунды расцветает запредельным свистом падения.

Что порой приводит к нему? Можно построить вопрос по-иному — почему не библиотека, не кинотеатр, не- — — ? Между прочим, мы поспешили, никаких изменений здесь не предвидится. «Образ» оказывается лишенным не то чтобы движения, но жизни вообще, то есть он мне более не интересен. Так ли это? Одушевление ли покинуло его? Остался ли он лишь зрительным образом, четким, подробным, доступным описанию, предположению, догадке, фантазии? Либо он сейчас только подобие того, что несколько предложений выше было на этом же «месте», в этом же «времени», ничем не отличимый, другой, такой же, иной. Этот менее всего мне нужен. Кому. Тот не возвратится в ближайшее время, во всяком случае, неделю, несколько дней, пока отсутствие не вернется его отсутствием, которое он несет в себе, как парус несет в себе ветер. Теперь он — теперь. Теперь он вовлечен, узнан, помещен: неполный ряд слов, оттиск, слепок, который без

сожаления отправляется в груды таких же раскрошенных, раскрашенных черепков, в груды перекаленной глины... различающейся для кого-то чем-то. O voce di dolcezza e di diletto. Prendila tosto, Amore. Stampala nel mio core spiri solo per l'anima mia

Возможно.

<1990—1991; 2000>

Содержание

Александр Скидан. Отступление к истокам высказывания 5

КИТАЙСКОЕ СОЛНЦЕ 11

КРАТКОЕ ОСЯЗАНИЕ

Воссоединение потока 213

Формирование 224

Краткое осязание 234

Усиление беспорядка 240

Личная версия 254

Устранение неизвестного 256

Описание английского платья с открытой спиной 269

ФОСФОР 281

Аркадий Драгомощенко

УСТРАНЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО

Дизайнер

Т. Ларина

Редактор

А. Скидан

Корректор

О. Семченко

Компьютерная верстка

Л. Ланцова

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО Редакция журнала
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес редакции:

129626, Москва, а/я 55

Тел./факс: (495) 229-91-03

e-mail: real@nlo.magazine.ru

Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84×108¹/₃₂

Бумага офсетная № 1

Печ. л. 13. Тираж 1000. Заказ №5801

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14